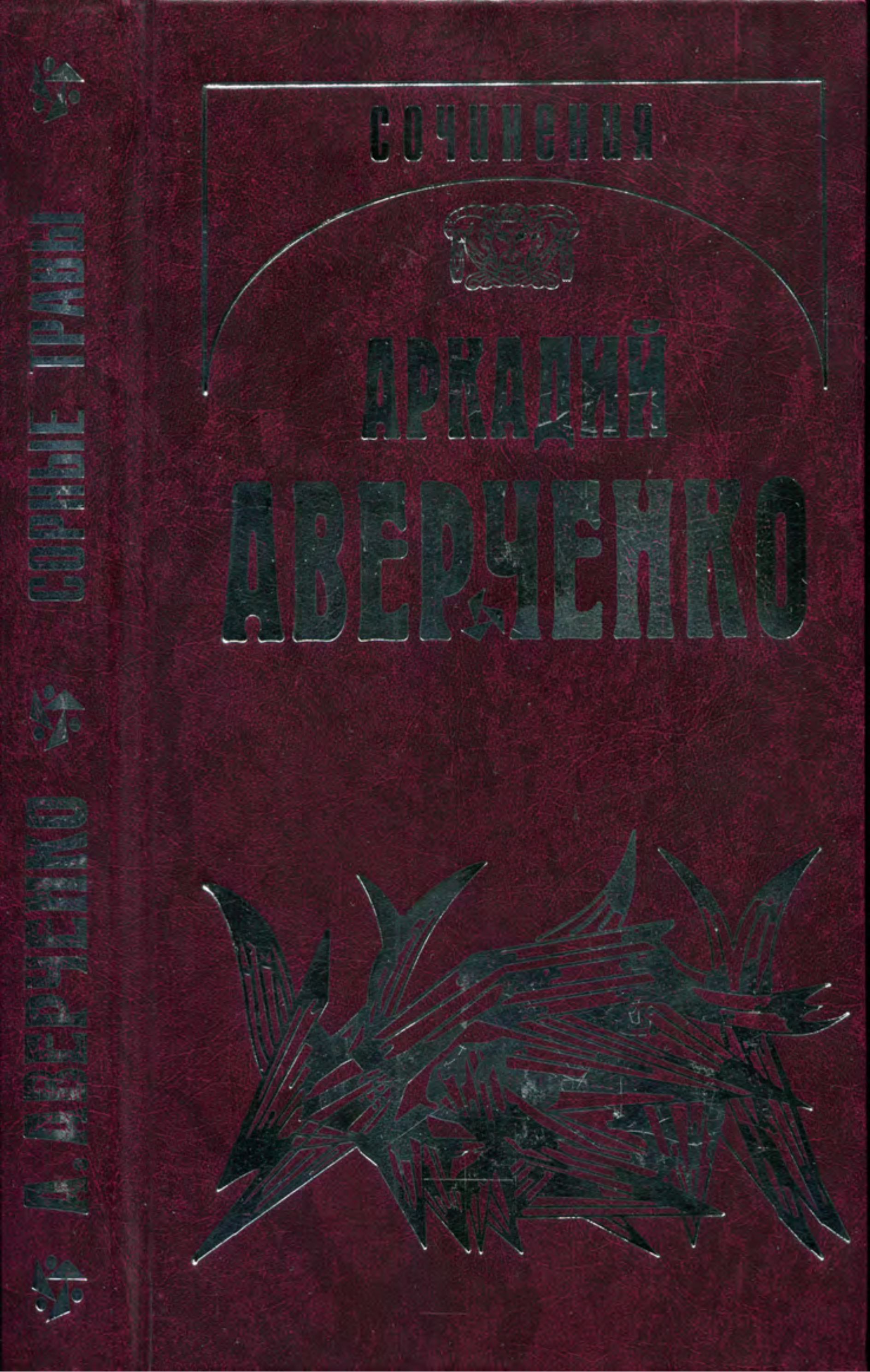

СОЧИНЕНИЯ
АРКАДИЙ
АВЕРЧЕНКО
А. АВЕРЧЕНКО
СОРНЫЕ ТРАВЫ



Ѳ. Опискинъ

АРКАДИЙ АВЕРЧЕНКО



собрание сочинений

СОРНЫЕ ТРАВЫ

издательство



МОСКВА 2012

УДК 882
ББК 84 (2Рос=Рус)1
А19

Составление, подготовка текста и комментарии
С.С. Никоненко

На фронтисписе воспроизведена фотография из издания
«Фома Опискин. Сорные травы». СПб., 1914 г.

Аверченко А.Т.

А19 Собрание сочинений: В 13 т. Т. 5. Сорные травы / Сост., подг. текста и комментарии С.С. Никоненко. — М.: Изд-во «Дмитрий Сечин», 2012. — 416 с.

ISBN 978-5-904962-21-0

В пятый том собрания сочинений наряду с хорошо известными книгами «О хороших, в сущности, людях» и «Сорные травы» входят сборники «О немцах и прочем таком» (1914), Выпуск 15 Дешёвой юмористической библиотеки «Нового Сатирикона» и рассказы из «Художественно-юмористического календаря-альманаха на 1914 год», неизвестные современному читателю.

ISBN 978-5-904962-11-1 (Общ.)
978-5-904962-21-0 (Т. 5)

УДК 882
ББК 84 (2Рос=Рус)1



ДЕШЁВАЯ ЮМОРИСТИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА "НОВОГО САТИРИКОНА" ВЫПУСК 15 (1914)

сорные травы



ТРИ СЛУЧАЯ

I

Тот самый ветер, который сейчас выл и бесновался за окном, — этот самый суровый ветер и согнал сюда, в угол большой теплой комнаты, компанию из трех человек.

Это были: гость Тарантасов, хозяйка усадьбы, заброшенной в снегах, Мария Дмитриевна, и ее муж — Вонзаев.

Праздничные дни тянулись в мирной усадьбе очень медленно и располагали всех к наливке, орехам и медленным, тягучим разговорам...

Ветер за двойными рамами окон выл таинственно, так зловеще, что всем хотелось прижаться друг к другу и так, чувствуя себя в безопасности, послушать что-нибудь холодящее душу и вызывающее мурашки по всему телу.

— Странные случаи бывают в жизни, — поощрительно заметил приезжий помещик Тарантасов.

— Такие случаи бывают, что с ума сойти можно, — подтвердил хозяин Вонзаев.

Мария Дмитриевна опасливо взглянула в неосвещенный угол, и мелкая дрожь пробежала по ее телу.

— Когда я была молода, со мной случился факт, о котором я и теперь не могу вспомнить без ужаса. Дело было в Москве...

Все придвинулись друг к другу.

— ...В Москве. Мы жили в одном из тех многочисленных переулков, в которых всякий не знакомый с Москвой ногу сломит. И вот стала я замечать, что на углу нашего переулка стоит старик нищий с одной ногой. Другой ноги

у него не было, а была только одна. Левая, что ли... Или правая... Стоит этот нищий себе и стоит. Чего стоит, почему стоит — неизвестно. Стоит он день, два дня, три — прямо я даже удивлялась.

— Да чего ж он стоял? — спросил муж.

— Как чего? Просил милостыню.

— Ну, в этом ничего страшного нет.

— Особенного, конечно, в этом ничего не было, а только я все время замечаю: стоит он на углу и милостыню просит. Стоит и просит.

— Что ж ему, с голоду умирать, что ли? — резонно возразил муж.

— Я об этом и не говорю. Только вдруг, однажды, — можете себе представить, — этот нищий исчез! День его нет, два дня нет, три... Мне сначала это показалось удивительным, а потом я постепенно забыла.

— Чем же все это кончилось? — нетерпеливо спросил гость.

— Чем? А вот чем: ровно через десять дней от тети получилась телеграмма: «Дядя Терентий волей Божией тихо скончался».

— Гм!.. так это что ж, — значит, этот одноногий старик и был ваш дядя Терентий?

— Ничего подобного! Это был просто неизвестный старик.

— Так что же вы находите в этом случае удивительного!

— Как что?! Стоял, стоял старик — вдруг исчез. И что же — через десять дней умирает дядя.

— И вы не знаете, куда делся этот старик?

— Совершенно не знаю.

— Может быть, он просто заболел или переменил стоянку.

— Тогда зачем было умирать дяде?

— Предположите, что он умер сам по себе.

— Тогда почему и куда исчез старик? Нет, тут, как ни верти, есть какая-то неразрешимая странная загадка.

II

— Ну, со мной была история пострашнее, — сказал гость Тарантасов.

— Ой, не надо! — капризно протянула хозяйка, подбирая ноги. — Или нет, расскажите! Я вас очень прошу!

— Как вам известно, господа, я всегда живу в своем имении «Пятереньки». Живу я там безвыездно и только изредка наезжаю в уездный город Чмыхов, вам известный.

Но однажды мне пришлось по делу о вводе меня во владение наследством, оставленным моим дядюшкой Ильей Никитичем, поехать в Петербург.

Город громадный, улиц целая гибель, и дома все если не шести-, то семиэтажные.

Как-то вечером зашел я к приятелю, что проживал в шестиэтажной махине на Гороховой улице.

Говорили о том о сем, а главное, о разной чертовщине.

— Вот, — говорит мой приятель, — ты живешь в деревне, бок о бок со всякой нечистью, с домовыми, а у нас, в городе, совершенно другая жизнь. Всю поэзию нечистой силы съели трамвай да электрическое освещение.

А другой — паренек такой белесый, с косматым цветком в сюртуке — говорит:

— Нет, знаете, в городе есть своя особая городская мистика, есть своя загадочная сущность, и я, — говорит, — утверждаю, что в городе та же нечистая сила осталась в полном объеме, только под влиянием культуры изменила она свои нравы и обычаи и надела другую личину.

— Так вы думаете, — спрашиваю я, — что и у вас тут, в этих домах, домовые водятся?

— А то как же?! Только, — говорит, — они потеряли свою дикость, некультурность — надели другие личины. — Я, — говорит, — уверен, что у них это дело поставлено на широкую городскую ногу.

— Это как же? — спрашиваю я.

— Да вот так: у вас, вон, небось, все занятие домовых сводится к тому, что лошадям хвосты заплетать да по ночам спящую публику душить; а у нас, в городе, это посложнее... Лошади не везде есть — их автомобили заменили. А автомобилю хвоста не заплетешь! Разве что из жестянок бензин можно высосать. Да и две-три сотни жильцов по ночам душить — не очень-то с ними кустарным способом справишься, — для этого нужно целую хорошо организованную контору иметь.

Ничего себе парнишка рассуждал. Очень здраво.

Когда я собирался уходить от приятеля, было уже 12 часов ночи. Вышел он меня провожать на площадку лестни-

цы, посветил лампой да еще и посмеялся: смотри, дескать, на домового не наткнись.

Жутковато мне стало, однако собрался я с духом — спускаюсь с лестницы.

И вдруг на одной из полуосвещенных слабой керосиновой лампочкой площадок я увидел...

Вы, вероятно, господа, думаете — увидел домового? Косматую фигуру с красными глазами, кривыми серыми руками и старческой морщинистой безволосой головой?

Нет, господа! Я увидел нечто худшее. На площадке в углу виднелась небольшая дверь, а на ней сверху я увидел ужасную, холодящую кровь надпись: «Домовая контора»!

Итак, юнец с лохматым белым цветком в петлице не врал: я воочию видел перед собой это ужасное логовище проклятой Богом нечисти.

Я простоял так много секунд, прижавшись к противоположному углу... Наконец мне пришло в голову: «Не галлюцинирую ли я? Не схожу ли я с ума?»

Как сумасшедший, сорвался я со своего места и ринулся вниз с диким криком:

— Дворник! Дворник!

Молодой парень в ситцевой рубахе выскочил откуда-то снизу и, закрывая глаза щитком от света, спросил:

— Чего надо-ть?

— Дворник! Кто... у вас... живет на третьей площадке?

С замирающим сердцем ждал я ответа.

— Там? Да там никто не живет. Там *домовая контора*.

Он это сказал так же просто, как другой сказал бы: «Там квартира чиновника Иванова»!

Я схватился за голову и выбежал на двор. Голова моя горела... Какая-то фигура в шубе попалась мне навстречу.

— Послушайте, — сказал я, останавливая его. — Послушайте... Правда ли, что здесь вот, на третьей площадке, домовая контора?

— Ну, да! Чего ж вы так удивляетесь? Вам, может быть, нужен кто-нибудь из домовой администрации?

— Домо... вой... администрации?!

У них есть даже администрация?!

О, город! Будь ты проклят!

Не помню, как я очутился дома и как провел ночь...

А на другой день утром я уже мчался в поезде в свои милые «Пятереньки».

III

— Ну, — сказал хозяин после долгого молчания. — Вы еще счастливо отделались, потому что не столкнулись ни с кем лицом к лицу. А вот, как вам нравится случай со мной? Я путешествовал целую ночь наедине с сумасшедшим.

— Какой ужас! — вскричала жена. — У меня сейчас мороз по коже пробежал. Расскажи!

— Дело было так: ехал я по делам в Харьков. Вечером в мое купе, в котором я был один, вошел неизвестный господин. Он был закутан в башлык и в руках держал желтый чемодан...

Тон у него был вежливый.

— Я вам не помешаю?

— Нет, пожалуйста.

— Вы тоже до Харькова?

— Да, до Харькова.

Разговорились.

Он предложил закусить, вынул из чемодана ветчину, хлеб, вино и сыр и стал все это резать большим острым ножом, который был у него в чемодане.

Когда мы закусили, он спрятал нож обратно, вынул револьвер да и спрашивает:

— Вы не боитесь, что к нам кто-нибудь заберется?

— Нет, не боюсь.

— А я боюсь. Положу револьвер под подушку на всякий случай.

Улеглись мы, погасили свет. Поезд идет, погромыхивая на скреплениях рельсов. Не помню уж как — только задремал я, а потом и заснул.

Только просыпаюсь от какого-то шума.

— Что такое?

Двери хлопают, носильщики по вагонам бегают, — оказывается, в Харьков уже приехали.

Мой спутник собрал вещи, пожал мне на прощанье руку и тоже ушел. Еле успел я одеться. Чуть было меня вместе с вагоном на запасной путь не отправили.

— Позвольте, — возразил гость Тарантасов. — Из всего этого я не вижу, что ваш спутник был сумасшедший... С чего вы это взяли?

— А как же не сумасшедший! Конечно, сумасшедший. Вы знаете, зачем он ехал в Харьков? Отыскивать сбежавшую с инженером-технологом жену!

— Бывает! — неопределенно вздохнул Тарантасов.

Вид у него был неудовлетворенный.

— А я думала, он будет в тебя стрелять...

— Это еще с какой радости?! Я у него жену увозил, что ли?

Все повернули головы и посмотрели лениво в окно, за которым прыгала серая метель.

И было уже не страшно, не жутко, а скучно.

Леденящий душу ужас таял...

МУХА

1. ЗАПИСКИ ЗАКЛЮЧЕННОГО

Итак — я в тюрьме! Боже, какая тоска... Ни одного звука не проникает ко мне; ни одного живого существа не вижу я.

О, Боже! Что это там?! На стене! Неужели? Какое счастье!

Действительно: на унылой тюремной стене моей камеры я увидел обыкновенную муху. Она сидела и терла передними лапками у себя над головкой.

Милая муха! Ты будешь моим товарищем... Ты скрасишь мое одиночество.

* * *

Я очень боюсь: как бы она, огорченная неприхотливостью пищи, не улетела от меня.

Устроим ей ужин.

Я беру кусочек сахару, смачиваю водой и, положив его рядом с крошками вареного мяса (не знаю, может быть, мухи едят и мясо), начинаю наблюдать за своим маленьким товарищем.

Муха летает по камере, садится на стены, на мою убогую койку, жужжит... Но она не замечает моих забот. Мушка, посмотри-ка сюда!

Я встаю с койки и начинаю осторожно размахивать руками, стараясь подогнать ее к столу. Не бойся, бедняжка! Я не сделаю тебе зла: мы оба одинаково несчастны и одиноки.

Ага! Наконец-то она села на стол.

Я не удержался, чтобы не крикнуть ей:

— Приятного аппетита!

* * *

В камере холодно.

Моя муха — мой дорогой товарищ — сидит на стене в каком-то странном оцепенении... Неужели она умрет?

Нет!

— Эй, вы, тюремщики! Когда я был один, вы могли меня морозить, но теперь... Дайте нам тепла! Дайте огня!

Никто не слышит моих воплей и стуков. Тюрьма безмолвствует.

Муха по-прежнему в оцепенении.

Какое счастье! Принесли чайник с горячим чаем.

Милый друг! Сейчас и тебе будет тепло.

Я подношу осторожно чайник к стене, на которой сидит муха, и долго держу его так около мухи; вокруг распространяется живительная теплота; муха зашевелилась... Вспорхнула... Наконец-то! Мы должны, дорогой товарищ, поддерживать друг друга, не правда ли, хе-хе!

* * *

Сегодня не мог уснуть всю ночь.

Всю ночь меня тревожила мысль, что муха, проснувшись, начнет в темноте летать, сядет на койку, и я неосторожным движением раздавлю ее, убью моего бедного доверчивого друга.

Нет! Мне кажется — смерти ее я бы не перенес.

На столе горит лампа... Я лежу с открытыми глазами.

Ничего! Днем можно выспаться.

* * *

Какой ужас! Моя муха чуть не погибла в паутине. Я и не заметил этих адских сетей. Правда, паука я нигде не нашел, но паутина!

Я немного задремал, когда до моего уха донеслось еле заметное жужжание.

Встревоженный предчувствием, я вскочил... Так и есть! Она бродит у самого края паутины.

— Милый товарищ! Я так же попался в расставленные мне сети, и я предостерегу тебя от повторения этого ужасного шага. Кш!.. Кш!..

Я размахиваю руками, кричу, однако не настолько громко, чтобы испугать муху.

Заметив меня, муха мечется в сторону — и, конечно, попадается в паутину.

Вот видишь, глупыш!

Я снимаю рукой всю паутину и осторожно выпутываю из нее муху. О, если бы кто-нибудь так же разрушил и мою тюрьму и так же освободил меня.

* * *

Сегодня я не могу ни есть, ни пить.

Лежу на койке и бессмысленно гляжу в одну точку...

Муха исчезла!

Улетела, покинула меня, эгоистичное, самодовольное создание!

Разве тебе было плохо? Разве не был я тебе преданным, верным другом, на чью сильную руку ты могла опереться?! Улетела!..

2. ЗАПИСКИ МУХИ

Залетела я сюда из простого любопытства. И сразу вижу, что сделала глупость. Тоска смертная! Только что уселась на стену — привести себя в порядок и немного подремать, — как вздрогнула, чувствуя на себе чей-то взгляд. Мужчина. Что ему нужно?

Глаза на меня так пялит, что даже стыдно. Не думает ли он меня укокошить? Вижу, что придется распроститься с отдыхом. Полетаю по камере. Эх!

* * *

Чего он ко мне пристает?

Намесил на столе какой-то сладкой дряни с вываренной говядиной — и гоняется за мной по камере, хлопая в ладоши.

Что за смешное, нелепое зрелище: человек, а прыгает, как теленок, потерявший всякое достоинство...

Придется усесться на стол, отведать его месива. Брр!..

Что он там кричит? Как не стыдно, право! А еще человек.

* * *

Ни минуты покоя!

Только что я завела глаза, задремала, как он стал кричать, колотить кулаком в дверь и доколотился до того, что ему принесли чайник с кипятком.

Что-то он предпримет?

Этого еще недоставало! Тычет горячим чайником прямо мне в бок... Осторожнее, черрт!

Так и есть: опалил крыло. Попробую полетать...

Прямо-таки смешно: я летаю, а он носится за мной с чайником.

Зрелище, от которого любая муха надорвет животики.

* * *

На дворе ночь, спать хочется невероятно, а он зажег лампу, лежит и смотрит на меня.

Все имеет свои границы! Я так истрепала нервы, так устала, что жду не дождусь, когда можно будет удрать от этого маньяка.

Ночью не выспишься, а завтра с утра, наверно, опять будет прыгать за мной с горячим чайником в руке...

Всему есть границы! Этот человек чуть не вогнал меня в гроб!..

Сегодня я подошла к паутине (паука давно нет, и мне хотелось рассмотреть это дурацкое сооружение...). И что же вы думаете! Этот человек уже тут как тут... Замахал руками, заорал что-то диким голосом и так испугал меня, что я метнулась в сторону и запуталась в паутине.

Постой! Оставь! Я сама! Я сама выпутаюсь... Да оставь же! Крыло сломал, медведь. Нога, нога! Осторожнее, ногу! Ф-фу!

* * *

Не-ет, миленький, довольно.

Что это? Сигнал на обед! Какое счастье! Открывается дверь, и я — адью!

Теперь уж не буду такой дурой. И сама хобота сюда не покажу, и товарищей остерегу:

— Товарищи-мухи! Держитесь подальше от тюремных камер!! Остерегайтесь инквизиции!

СОВРЕМЕННЫЙ РОМАН
(типа 1913 года)

Глава I

...Повенчавшись, молодые уехали за границу.

Глава II

Прошло шесть месяцев.

В уютной квартирке на Кирочной сидели за столом муж и молодая жена.

— Так ты меня любишь? — осведомился муж.

— О, больше жизни! Ты для меня прекраснее всех.

— И ты для меня, — восторженно подтвердил муж.

— Я сегодня иду к папе, — сказала жена. — Ты не будешь скучать без меня?

— И я пойду с тобой!

— О, нет. Он просил меня одну. Хочет сообщить что-то важное...

Глава III

Вернувшись от отца, жена разделась и, прижимая к глазам платок, вошла в кабинет мужа,

— Боже мой! Лили! Что с тобой?!

— Приготовься ко всему!.. — сказала жена, заглушая рыдания.

— О, ужас! Что такое?

— Мы должны расстаться.

Как тигр, прыгнул муж к письменному столу и схватил кинжал...

— О, проклятая! Ты, значит, полюбила другого?!

— Ничего подобного! Я обожаю тебя!

— Так ты... значит... подозреваешь в измене меня?!

— Нет, — сказала жена, всхлипывая. — Ты меня, я знаю, любишь.

— Так в чем же дело?!!!

— Будь тверд и мужественен. Вынеси удар, как подобает мужчине.

— Ну?

Супруги уселись перед камином, и жена начала свою грустную повесть:

— Как тебе известно, мой отец — чиновник государственной канцелярии. Тогда еще, раньше, он говорил: «Эй, Лили, не выходи замуж за журналиста — плохо будет!» Я не послушалась — и вот!..

— Что — вот!..

— Управляющий государственной канцелярией Крыжановский издал циркуляр, в котором запрещает своим чиновникам и их семьям общение с журналистами. Мой отец вызвал меня, показал циркуляр и потребовал...

Но несчастный уже не слушал ее.

Склонившись на спинку стула, он тихо, беззвучно рыдал.

— Прощай, моя молодость, мое лучезарное счастье. Не довелось нам пожить с тобой — не сулил Рок.

Слезы брызнули из глаз жены.

Дрова в камине зашипели и погасли.

Глава IV

— Итак, — спросил муж, утирая платком глаза, — я должен уехать. Сегодня? Сейчас? Может быть, мы эту последнюю ночь проведем вместе?

Опустив голову, жена молчала.

— Можно мне уехать завтра утром?

Жена молчала.

— Ответь же мне, мое счастье!...

Молчала.

— Или горе лишило тебя речи? — спросил со стоном несчастный. — Ответь же мне!

— Ах ты, Господи! Должен бы ты, кажется, понять, что я не могу с тобой разговаривать! Как не стыдно приставать!

— Ты? Не можешь? Со мной разговаривать?

— Ну да! Кажется, ясно сказано: «Воспрещается чиновникам государственной канцелярии, их родственникам и семьям иметь общение с журналистами!» Отвяжись! Ни одного сведения ты от меня не получишь!

Глава V

Муж вздохнул и позвонил.

— Глаша! Что, мой желтый чемодан в порядке?

Отвернувшись, Глаша перебирала пальцами концы передника.

— Глаша! Я вас спрашиваю!

— Меня барыня нанимала, а не вы. Нам запрещено давать сведения журналистам.

Тихо заплакал муж.

Глава VI

Выйдя по черной лестнице во двор с чемоданчиком в руках, муж огляделся и крикнул:

— Дворник!!

Из дворницкой показался дворник, из подворотни выскочил мальчишка-булочник.

— Гляди, — крикнул дворник. — Никак журналист во двор забег. Ату! Киш, проклятый!

Булочников мальчишка схватил кирпич и бросил его в ногу журналисту.

— Кишь, анафема! Гони его отсюда, загоняй с парадной, дядя Микита! Мало на них, подлых, циркуляров пишут! Кш!

Завизжав от боли и прихрамывая, побежал журналист на улицу.

Глава VII
(Эпилог)

Была весна, светило яркое солнышко.

Компания мальчишек весело шагала к реке, таща что-то в мешке.

К ним подошли другие ребятишки.

— Чего тащите?

— А топить тащим журналистова ребеночка. Сегодня родился, так дедушка ихний из государственной канцелярии велели утопить.

Мальчик из другой компании засвистал от избытка чувств и похвастался:

— А к нам вчера на огороды журналист забежал. Что смеху было! Никешка ему руку перебил, а Ванька Гайкин глаза выколол. Веревкой за ноги зацепили и по всему огороду таскали.

Глазенки мальчишки с мешком засверкали завистью.

— Ну? А где ж он?

— А в яму с водой бросили. Вы какие будете?

— А из государственной канцелярии! Сторожевы дети.

— Гайда к реке!

Молчало небо.

* * *

P.S. Такова схема бытового романа в 1913 году. Мы не сомневаемся, что П.Д. Боборыкин со свойственной его таланту отзывчивостью и сугубым вниманием к новым течениям — использует эту схему для большой вещи в «Вестнике Европы».

ТЕ, С КОТОРЫХ СПРАШИВАЮТ

— Нельзя, нельзя, с нас тоже спрашивают.

— Ну, чего там «спрашивают»... Скажи, что заболел, да и оставайся дома!

— Нет, нельзя. С нас тоже спрашивают, — снова сказал скучающим голосом околоточный, снимая со своего плеча руку жены.

— Во всяком случае, будь осторожнее: эти жиды такой отчаянный народ.

— Еще бы, — вздохнул околоточный. — Им-то хорошо, с них не спрашивают.

И, потрепав жену по крутому плечу, ушел.

* * *

Была темная морозная ночь. Маленький отряд быстрыми шагами приближался к цели странствования.

— Здесь? — спросил околоточный.

— Тут, ваше благородие. Так точно.

Околоточный хотел сострить, что ему тоже «тошно», но вспомнив, что дело нешуточное и что с них тоже спрашивают, сделал серьезное лицо.

— Стучи, Меловой.

Тук... тук... тук!

— Кто там?

— Еврей Мойша Савельев Коц здесь живет?

— Ну, здесь.

— Ему телеграмма. Отворите.

— Ой, какой вы смешной человек! Разве ему может быть телеграмма?

— А почему же не может?

— Ему? Мойше Савельеву Коцу?! Ха-ха!.. Вы меня окончательно смешите.

— А что ж он, не человек, что ли, что телеграммы не может получить?.. Отворяй, черт! Полиция пришла.

— Ну, так бы вы и сказали. А то — телеграмма, телеграмма! Я тоже, извините, не дурак. Пожалуйте.

— То-то, брат. Где же этот самый Коц?

— Ну, если он в той вон комнате — так вам не все равно?

— Э, нет, брат. Не все равно. С нас тоже спрашивают. Он там один? Спит?

— А что же ему ночью делать? Не кадриль же танцевать.

— Да знаем мы вас, жидов. Мало ли что вы можете делать... Меловой, Ковтун! Станьте у дверей. Ты, как тебя?.. Входи впереди меня. Ну... рраз.

Оба влетели в комнату и остановились недоумевающе.

— Сбежал, подлец! — пробормотал околоточный. — Гляди-ка, постель пустая.

Хозяин квартиры, вошедший вслед за ним, хмыкнул:

— Хм! Конечно же пустая. Раз я на ней спал, так она была полная, а когда я вышел — понятно, она пустая.

— Так это, значит, ты сам и есть Коц?

— Зачем я Коц! Больной я буду, если моя фамилия Рохмилович?!

— Где же Коц, черт тебя побери?!

— Очень вашему черту бедный иудей нужен. Шубу он себе с него сошьет. Вон ваш Коц — смотрите! Любуйтесь им.

— Где?!

— Да вон же, в углу, около окна.

— Там тряпки какие-то.

— Уж вы скажете: тряпки. Самое приличное одеяльце. Вон, видите. Спит и кулак показывает. Это он не вам, ваше благородие. У них уж такая паршивая привычка: спит и во сне кулак показывет.

— Это он и есть?

— Этот. Ему фамилия — Коц.

— Так он же совсем маленький!

— Подождите: вырастет — большой будет. Я, конечно, понимаю, что полиции большой еврей приятнее маленького, но сейчас все большие евреи без права жительства как раз израсходовались.

Околоточный, наклонив над мальчиком седеющую голову, молчал.

Душевное состояние было у него такое, как если бы человек со страшной энергией ринулся на запертую дверь, навалился на нее — а дверь вдруг оказалась незапертой. Влетел он в другую комнату, растянулся с размаху на полу, и все над ним смеются. И если бы организовал он грандиозную охоту на тигра. Сотни загонщиков, дрессированные слоны, ружья с разрывными пулями... Подкрались к страшному логовищу — и вдруг оттуда, зевая и потягиваясь, вышел на них маленький рыжий котенок.

— Вот дрянь какая, — бормотал околоточный, разглядывая мальчишку. — Я думал — он большой, а он... Сколько ему лет?

— Два года, ваше благородие. Ни копейки больше!

— А где же его родители?

— Они у меня спрашивают! Это я у вас должен спросить: где они? Выслали. Ваш же товарищ и выслал. Они

и сынка хотели забрать, но как был мороз, а оно кашляло, так они мне его и оставили.

— Положение! Что же мне с ним делать? С нас ведь тоже спрашивают.

— Это верно, что с вас спрашивают. А с нас даже ничего не спрашивают — просто высылают. А я скажу: что вам мальчишка вредного сделает, если поживет тут. Немножко подрастет — тогда вышлете. Вы сами видите, что он еще не готов.

— Много ты понимаешь. Как же так его оставить тут. С нас тоже спрашивают. У меня есть ясное распоряжение: отыскать Мойшу Савельева Коца, иудейского вероисповедания, и арестовать за проживательство без права на это — выслать. Понял?

— Хм! Это он, может быть, не поймет... А я-то понял.

Околоточный потоптался немного около кроватки и, вздохнув, громко сказал тоном профессора-оператора:

— Ну-с... Приступим. Эй, ты, как тебя... Вставай, брат!

Он протянул большую, покрытую рыжим пухом руку и деликатно обхватил двумя пальцами сжатый кулачок ребенка. Тот, недовольный, что ему не дают спать, выхватил руку и отпихнул оба пальца.

— Ишь ты, — удивился околоточный. — Жид полицию бьет. Ну, вставай, вставай, брат... нечего там! С нас тоже спрашивают.

Ребенок, вытащенный могучими руками из кроватки, щурился от света лампы, тер глаза кулачонками. Наконец, увидев себя на руках у незнакомого человека, рыжеусого, холодного, страшного, — заплакал.

— Тш! Тш! — зашипел околоточный, раскачивая мальчишку. — Молчи, молчи. Слышишь? Мы ж тебя не колотим, чего ж ты кричишь? Ну, помолчи же...

Хозяин квартиры стоял, склонив голову набок и искренне любуясь представившейся ему картиной.

Засмеялся:

— Смотрите-ка, какой успех у евреев. Русская полиция евреев прямо на руках носит.

— Ну, молчи, молчи... не надо плакать. Я тебе, брат, пряников дам. Когда-нибудь, после. Целый пуд, брат, дам. Мне не жалко.

— Смотрите-ка, — сказал хозяин квартиры, наклоняясь. — Что это на щеке у этого маленького негодяя. Ну, да же! Смотрите-ка! Государственный герб.

— Где? — удивился околоточный. — Действительно!.. А, это от моей пуговицы. Я ему, кажется, щеку слишком к груди прижал.

— Смотрите-ка, какая государственная личность!..

Государственная личность тихо хныкала... Потом сделала удивленные глаза и погладила блестящую пуговицу на шинели.

— Пуповица, — прошептала она.

— Да, брат, пуговица. Как тебя зовут?

— Мышя, — пропищал ребенок, от недавнего плача кривя еще губки.

— Миша? А по паспорту, брат, ты должен быть Мойша. Ишь ты! Маленький жиденок, а еще называет себя христианским именем!

И с шутливой грозностью спросил:

— Разве циркуляра об этом не читал, а?

Ребенок не понял скрытой шутки и снова громко заплакал.

— Тсс! Молчи! Ну, молчи же, черт тебя... молчи, миленький, я тебе куклу подарю... Прямо с быка величиной...

— А-а-а-э-э!..

— Ишь ты, разошелся.

Подошел угрюмый старший городовой. Взял темляк околоточного и ткнул ребенку в руку.

— Молчи, ты! Ишь!

Ребенок плакал.

Сыщик Иван Николаич раздувал щеки, барабанил по ним кулаками и прыгал на одной ноге.

Ребенок притих немного. Широко открытыми глазами глядел на пляшущего сыщика.

— Готово, — сказал околоточный. — Молчит. Укутайте его получше, а я пока напишу протокол.

— Забираете? — спросил хозяин квартиры.

— Забираем.

И с неожиданным раздражением докончил:

— А то как же ты бы думал?! С нас, брат, тоже спрашивают!

* * *

Обыкновенно эпиграф к рассказу автор ставит вначале. Позвольте мне сделать это же — в конце. По двум причинам: 1) я хотел сохранить обаяние художественного вымысла в своем рассказе; 2) и все-таки я не хотел бы, чтобы меня заподозрили в вымысле.

Эпиграф:

> Выселение 2-летнего ребенка, «не имеющего права жительства».
>
> По постановлению курского губернского правления на днях было выслано из Курска семейство зубного врача еврея Когана. Уезжая, ввиду морозов, семья оставила 2-летнего ребенка в знакомой семье. На другой день туда явилась полиция и потребовала, чтобы ребенок был отправлен из Курска как лицо, не имеющее права жительства. На объяснение, что ребенок оставлен ввиду морозов, полицейский чиновник заявил, что он дает отсрочку на три дня. Если через три дня ребенок не будет отправлен из города, его проводят по этапу.
>
> «Русское слово».

ДВЕ РУКИ

Сказано:

— Поэт мыслит образами...

Вероятно, я поэт.

Чем больше я живу на свете, тем больше убеждаюсь в этом.

Я не могу понять, осмыслить и усвоить ни одной газетной строки — без того, чтобы не облечь ее в плоть и кровь, нарядить ее, эту серую газетную строку.

Тогда она мне доступна, понятна — эта серая газетная строка.

Вчера читаю:

— «На днях в заседании педагогического совета частной женской гимназии С.П. Даль присутствовал известный черносотенец А.С. Шмаков. Один из преподавателей — Александров — отказался подать Шмакову руку. За это Александров уволен без прошения».

* * *

А я сразу представил себе, как это происходило в действительности.

* * *

— Все готово?

— Все.

— Сейчас, вероятно, приедет. Жидят спрятали?

— В каком смысле?

— Ну... учениц иудейского вероисповедания. А то приедет — сами знаете, — неудобно как-то. Тут Шмаков, а тут же и евреи. А? Не правда ли.

— Да уж... А, все-таки, как же их спрячешь?

— Да, Господи! Очень же просто. Гм! Идельсон, Упакович, Загрянская, Шорштейн! Идите-ка сюда. Здравствуйте, милые. Ну, как поживаете? Устали небось, заработались?

— Нет, ничего, спасибо, господин директор. Мы себя чувствуем хорошо.

— Ну, уж и хорошо... Разве еврейская девица может чувствовать себя хорошо. Ишь ты, какие вы бледненькие. Пошли бы вы погулять, что ли. У тебя, Загрянская, кроме того, кажется отец болен, а?

— Нет, это не у меня. Это у Плюхиной.

— Это все равно. Что ж Плюхина не человек, что ли. А, Идельсон, — я помню, — говорила, что переезжает на другую квартиру. Может, помочь что надо.

— Уже! Мы переехали в прошлом месяце.

— Ну, что квартирка... Не сырая?

— Сырая, господин директор.

— Так ты бы пошла домой, посушила ее. Пойди, милая. И ты бы, Упакович, сходила домой. Уроки, ведь, все равно, все знаешь?

— Нет, извините, не приготовила.

— А раз не приготовила — чего ж тебе тут болтаться! И шла бы домой, скверная девчонка. А у тебя, Шорштейн, такой вид, будто ты кушать хочешь. Пошла бы домой и покушала.

— Что вы, г. директор! Только что съела я две булки с ветчиной вовсе.

— А чтоб вас черти забрали, проклятых! Пошли вон, одним словом!!. А то я прикажу сторожу с лестницы вас! С ними разговариваешь, как с хорошими девочками, а они... П-шли!..

* * *

— Едет! Подъезжает.

— Поднимается по лестнице!

— Шубу снимает! Вход...

— Господи! Ваше высокородие! Господин Шмаков! Осчастливили, можно сказать. Позвольте в плечико.

— На-те. Только не заслюнявьте. Охо-хо! Жиды-то каковы, а?

— А что такое?

— Да как же: везет меня извозчик, говорю — держи правее, а он чуть автомобиль не зацепил, анафема. А сейчас давал сдачу — на гривенничек обсчитал.

— Вот изувер-то! Мы, ваше высокородие, в следующий ваш приездик ужо примем мерочки-с. Поставим у подъезда сторожа с револьвером. Если извозчик чуть что — он сейчас же бац в него! В лобик, между глазок. С этим народом нельзя иначе.

— Спасибо, спасибо. Это вот значит женская гимназия и есть?

— Так точно.

— Девочки тут учатся?

— Так точно. Изволили угадать.

— А эти, которые большие — они, значит, учат этих девочек?

— О, я вижу, что вам нечего и объяснять. Видно, что педагогическое дело знакомо вам в совершенстве!

— Да, да, спасибо. А это скамеечки-то... Ишь-ты какие!

— Парты, ваше высокородие.

— Смешные. Это все очень забавно. Учителя у вас хорошо учат?

— Стараются-с. Позвольте, я вам их представлю...

— Да... Э... гм! Одну минутку!

Шмаков отвел директора в сторону.

— С ними прилично будет поздороваться за руку?

— Я думаю — да. Они у нас все, большей частью, интеллигентные... С университетским образованием.

И тут же директор сказал вслух:

— А позвольте вам представить: Бурдасов — география.

— Очень, очень приятно... Осчастливили можно сказ...

— Сайгаков — история.

— Очень, очень, очень приятно, — воскликнул озаренный восторгом Сайгаков.

— Семирамидкин — чистописание.

— Очень! Очень! Чрезвычайно! Приятно! Я-с...

— Александров!.. Ш-што?! Господин Александров! Что же это вы!? Разве не видите, что наш дорогой гость протягивает вам руку. Ослепли?

Ясным прозрачным взором посмотрел Александров на Шмакова и ясным звонким голосом сказал:

— Господину Шмакову я руки не подам.

— Вероятно, болит она у вас, — участливо подскочил директор. — Ушибли?

— Нет, — звонко возразил учитель Александров. — Рука у меня не болит, но я руки Шмакову все-таки подать не могу.

— Что это он? Что он?.. — захныкал обиженный Шмаков. — Пусть он подаст мне руку! Я хочу, чтобы он подал мне руку!.. Я хочу его руку...

— Господин Александров! Подайте г. Шмакову руку!!

— Извините, не могу.

— Ах, так? Эй, кто там у вешалки!? Сторожа! Хватай его, Падалка! Держи руку ему, Евстигней! Нет, ты у нас подашь руку. Вали на пол!

— Есть!

— Крепко держите? Смотрите, чтобы ногой г. Шмакова не лягнул. Навались на ноги, Падалка. А теперь разжимай пальцы! Да не на левой, дурак, а на правой. Кто ж левой рукой здоровается... Есть! Позвольте вашу руку, ваше высокородие. Жмите ему... так, так... Покрепче! Поздоровались?

— Поздоровался! Здравствуйте, господин Александров, как поживаете?

— Меррз...

— Совершенно верно изволили заметить: мёрзнет. К обеду-то подмораживать стало. Ну-с, до свидания. Поеду уж.

* * *

Директор сказал:

— Ну-с, господин Александров. Надеюсь, вы сами понимаете...

— Понимаю. Подать прошение?

— Что вы! Какое там прошение. Зачем беспокоиться. Мы вас безо всякого прошения... хе-хе!

— Так-с. Значит, на улицу?

— На нее, матушку. Она прокормит. Руки жать надо, г. Александров, руки жать. Кому следует. А без жатвенных работ, вы сами понимаете, народ всякий голодает-с.

* * *

Вскоре после этого на окраинных столичных улицах прохожие заметили двух, стоявших на противоположных углах, нищих: оба нищих протягивали руку.

Один бормотал, протягивая руку:

— Подайте что-нибудь бывшему учителю.

У другого, протягивающего руку, требования были скромнее:

— Пожмите, добрые прохожие, руку бывшему гражданскому истцу в деле Бейлиса... Три месяца никто не пожимал! Маковой росинки в руке не было.

И первый нищий к концу дня набирал кое-какую мелочь.

А второй — так и стоял целыми днями с жадными взорами, с вечно-протянутой и вечно-пустой рукой...

РУМЫНСКИЙ ФЛОТ

I

Никогда еще румынский совет министров (или, как говорят румыны — «румынский оркестр министров») не был в таком приподнятом настроении, как на текущем заседании.

— Господа румыны! — сказал председатель совета министров, нервно вертя в руках вынутый из кармана кусок канифоли. — Мы должны дать отпор России, должны дать внушительный щелчок этому зазнавшемуся северному медведю! Мы им покажем славянство!..

— Господин капельмейстер («капельмейстер» по-румынски — председатель совета министров), — перебил его кто-то. — Значит, война решена?

— Без сомнения!! Но это ничего! Мы почти готовы. Я говорю «почти» потому, что, хотя армия и стоит под ружьями...

— Надо говорить: «под ружьем», — поправил сидевший за вторым пультом министр.

— Извинитесь-с! Я знаю, что говорю. Если бы у нас было одно ружье — армия стояла бы «под ружьем», а так как у нас их больше — армия (я это подчеркиваю!) стоит «под ружьями». Но, кроме армии, важен и флот, и о флоте-то мы должны позаботиться! Нам нужен сильный, могущественный флот, который бы навел ужас на врага!

— Где же он?

— Он?..

Пауза была торжественная.

— Он?!

Пауза была еще более торжественная.

Председатель взял канифоль, машинально потер ручку кресла, на котором сидел, и раздельно отчеканил:

— Он? Флот? Он почти готов! Знаете ли вы, господа, сколько дала патриотическая национальная румынская всеобщая подписка на флот? *Двадцать тысяч франков*!!!

Все остолбенели.

— Это не может быть! Такой и цифры не бывает — двадцать тысяч!!

— Это неслыханно!

— Колоссально!

Один министр, призадумавшись, спросил:

— А что, если все эти деньги собрать и внести в эту комнату — они войдут?

— Едва ли! Тысяч семь войдет. Но дело не в этом. Ведь флот больше же этой комнаты!

— Господин капельмейстер!.. Хорошо ли охраняется это национальное сокровище?

— Я позаботился об этом! Вся армия охраняет его в одном из казнохранилищ.

— Прямо не понимаю: откуда румыны могли набрать столько денег?

— О! Вы забываете взрыв патриотического чувства.

II

— Итак, многоуважаемый оркестр министров! Мы на эти деньги должны завести небольшой, но грозный флот... Я думаю, пара дредноутов, штук пять крейсеров, десяток-другой миноносцев... Все это, конечно, должно быть основательно вооружено пушками...

— Смету! Составим смету!

— Вот, извольте: прейскурант фирмы Виккерс!

— Сколько стоит дредноут?

— От пятидесяти до семидесяти миллионов франков.

— Боже ты мой! Вот дерут-то!

— Креста на них нет!

— Вы подумайте: самый лучший контрабас стоит не более тысячи франков.

— Контрабас! А возьмите тромбон...

— Тссс! Господа! От дредноутов придется отказаться. Почем нынче крейсера?

— Крейсера? К крейсерам, милые, приступу нет: от двадцати пяти до пятнадцати миллионов! Миноносцы дешевле, но... нам нужно сто таких патриотических подписок для одного миноносца.

— Ужасно все вздорожало! А сделаем мы так: закажем хорошую яхту, поставим на нее двенадцатидюймовое орудие и начнем палить так, что небу станет жарко.

— Почем яхты?

— Сейчас... Средняя яхта — двести тысяч франков.

— С ума они посходили! Купим, господа, просто пушку без яхты. Хоть какой-нибудь, а все-таки флот.

— Верно! Суда только связывают. Одни расходы: топливо, матросы, бинокли... Почем пушка?

— Пушка? Вот тут есть морские пушки: от ста тысяч франков до миллиона четырехсот... Нет! Это грабители на большой дороге!

— Позвольте, — перебил мудрый седой старик. — Что же там, в этом прейскуранте есть такое, что стоило бы не дороже 20.000 франков?

— Что? Гм... Такелаж... нет, это не то... приборы для измерения широты... складные ботики... тоже не то... гм...

— Да нет! Вы посмотрите такое, что стреляло бы.

— Чтоб стреляло? А! Есть: заряд для двенадцатидюймовой пушки — двадцать тысяч франков.

— Вот! сегодня же посылайте заказ. Таким образом, мы будем иметь небольшой, но вооруженный с головы до ног флот.

— Да ведь он потонет?

— Кто?

— Заряд-то. Ежели без броненосца.

— А зачем нам его на воду пускать? Спрячем его тут и будем ждать, пока враг войдет в Бухарест.

— Ну, а если войдет?

— Наткнется и взлетит.

— Уррра! верно! Пусть попробует это русское мужичьё сунуться!..

— Телеграмма на орудийный завод послана! Теперь что мы должны делать?

— Ясно что: сочинить румынский морской марш!

— Ну, это любой румын сделает.

РОЖДЕСТВО В ПЕТЕРБУРГЕ

Бедным малюткам-витмеровцам посвящаю...

Нет ничего лучше и радостнее тех минут, когда учеников распускают на рождественские каникулы.

Веселые, как котята, розовощекие, быстроглазые, с ручонками, измазанными чуть не до локтей чернилами и мелом, с радостным предвкушением грядущей радости и вереницы удовольствий — они напоминают стаю быстрых воробьев, которых кто-то спугнул с одного места, и они, беззаботно шелестя крыльями, перепархивают на другое место.

Дети — это наш праздник!

Господин в мундире положил локти на стол и проницательно взглянул на стоящего перед ним Колю Четыркина.

Два рослых усача, стоявших по бокам Коли, тоже взглянули на Колю, нагнувшись к нему и поощрительно подмигивая:

— Отвечайте, господин.

Господин выставил голову с блестящими глазенками из-за края стола и смущенно посмотрел на другого господина, сидящего за столом.

— Я польше не пуду, — прошептал он.

— Ага! Больше не будете... Это хорошо, молодой человек. Чего же вы больше не будете?

— Ничего...

— Нет, как же так — ничего! Выходит так: что вы делали что-то такое, чего вы уже впредь не будете делать. Что же вы делали?

— Над... сона читали.

— Огарки?

— Чего?

— Я говорю: огарки?! Вы! — огарки?!

— Нет, лампы.

— Чего, лампы?

— При лампах. А если днем, так без лампов. Читали... Мы больше никогда не будем.

Господин, сидевший за столом, взял книгу и стал ее перелистывать.

— Гм!.. «Стихотворения С.Я. Надсона с портретом факсимиле»... Это что такое «факсимиле»? А?

— Я не знаю. Издание.

— Какое издание?! Почему?

— Не знаю.

— Тут написано «собственность литературного фонда». Книга ваша?

— Н... наша.

— Значит, в фонде состоите?

— Больше никогда не будем... Это Голубков 3-й на меня свалил.

— Голубков третий будет допрошен особо. Значит, вы занимались революцией и порнографией?

— Нет... я не знаю. Мы Надсона больше в красненьком таком переплете... С гвоздичкой.

— С гвоздичкой? Недурно!! А революцией зачем занимались?

— Это не мы.

— Как не вы! А Надсона-то, небось, читали? (Он перелистывает книгу). Вот:

Мне душен этот мир разврата
С его блестящей мишурой!
Здесь брат рыдающего брата
Готов убить своей рукой.

— Это как по-вашему называется — не революция? Не призыв к ниспровержению? Или это:

С каждым шагом вперед
все черней и грозней
Рать суровых врагов надвигается,
С каждым шагом все меньше
надежд и друзей,
Все мучительней сердце сжимается...

— Ведь это что же? «Вы жертвою пали в борьбе роковой»? Что за цинизм?

— Польше не путу.

— Знаем мы, как вы не будете... А это:

Я молился сегодня о ней,
Утро тихим покоем дыш...

— Ну, это, впрочем, не то. А это:

С тех пор, как я прозрел,
разбуженный грозою,
С тех пор, как детских грез
проникнул я обман...

— Это разве можно?

— Действительно...— вздохнули с огорчением два бравых усача...

— Вон видите — даже им неловко. Однако, вы, кроме этих митинговых стихов, занимались еще порнографией. Правда это?

— Я... ее... учил. Старался...

— Что учили?

— Географию.

— Я вас не про географию спрашиваю. Порнографией занимались, говорят.

— Мы... немножко.

— Что же вы делали?

— Надсона читали.

— Нечего сказать — красиво!

Он снова нервно схватил книгу со стола и перелистал ее.

— Действительно... Стишки тут. Прямо как будто специально для лиги свободной любви... Вот эта штука, к примеру:

О любви твоей, друг мой, я часто мечтал —
И от грез этих сердце так радостно билось.
Но едва я приветливый взор твой встречал,
И тревожно, и смутно в груди становилось...

Как это вам покажется?

Бравые усачи вспыхнули до корней волос и застенчиво отвернулись.

— Видите, даже они покраснели. А это:

Постой, говорил он, моя дорогая,
Постой, не целуй, не ласкай...
Измучился ум мой, в потемках блуждая...

«В потемках»?! Очень мило, нечего сказать. Вот что вы читаете! А это! Мне сорок пять лет, а я краснею:

Здравствуй, ночь, молодая вакханка! Взгляни:
Мир заждался объятий твоих.

Усачи покраснели и потупились.

— Однако!

— Женатые мы, вашбродь, а все стыдно.

— Стыдно? А вот ему не стыдно. Вы знаете, что такое вакханка?

Коля промолчал. Он был уверен, что вакханка — ошибка. Что правильнее было бы что-нибудь вроде лоханки, что такого слова «вакханка» совсем и нет. Но боялся это сказать. Молчал.

— Молчите? А «обуреваем знойной страстью» — это знаете, что такое?

— Это когда... жених ее целует.

— Кого?

— Невесту.

— Какая пошлость, — болезненно поморщились усачи. — Сейчас рождественский пост, а мы слушаем.

— Уведите его.

II

Что может быть лучше и радостнее Рождества? Что может быть ближе молодому любопытному сердечку, которое бьется восторженно и задорно-весело при виде зажженной елки, сверкающей тысячью огней, и игрушек, соблазнительно разложенных на столе в углу... Вот рыжий лохматый медведь; вот каска и сабля; вот заманчивая обложка «Приключений капитана Гаттераса». Вот...

— Господин надзиратель! В камере номер семь арестант буйствует.

— Как буйствует? Пьян, что ли?

— Никак нет. К маме просится. Я, говорит, к маме хочу.

— Эх, Господи! Чистое с ними наказание! Скажите ему, что свидание по пятницам; пусть подождет.

— Я говорил. А воны орут: к маме. Буйствуют.

— Как же он там буйствует?

— Плачет. Хлеб по камере разбросал, в воду наплевал.

— Гм... скверно. Дай ему лист бумаги и карандаш.

— Для прошения, котора бумага?

— Все равно. Пусть нарисует что-нибудь. Авось успокоится. Скажи — надзиратель просили дом с садиком нарисовать... И чтобы из трубы дым шел.

— Слушаю-с...

. . . .

— Господин надзиратель! Из шашнадцатого номера арестант буйствует.

— О, Господи! Чего там еще? Что ему надо?

— Боится.

— Чего еще?

— Спать один боится. Так, что, говорят, в углу домовой сидит.

— Скажи ему, что никакого домового нет.

— Та я им говорил, а оны кричат: «домовой сидыть и пальцами сестрицу Аленушку ухватили за волосья».

— Эй, эй, ты, Корнеенко! Ты опять, каналья, я вижу, арестанту сказки рассказывал? Опять напугал арестанта так, что он спать не может.

— Та я, вашбродь, им только про бабу-ягу и казав. А шо касательно домового, так то им из пьятнадцатого номера товарищ выстукали.

— Сколько раз я говорил, чтобы не перестукивались!! Ты еще чего хочешь? Тебе чего надо?

— Примочки нет ли, ваше благородие? Для девьятаго номера.

— Что с ним? Болен?

— Губу расшибли, прыгамши. Я им говорю: не нужно, паныч, через стул прыгать. У тюрьме не полагается. А оны прыгнули и расшиблись.

— Скажи ему, что я его на хлеб и на воду за это посажу!

— Оны уже посажены! За то, что на стене што-с написалы.

— «Что-с написали». Что он написал?

— Який-с стих:

Ходыть по коридору часовой.
С очень рыжей головой,
С огромадными усами –
Поглядыть его вы сами.

— Какие глупости. Что за мальчишество!

— Именно, что мальчишество, вашбродь. Двенадцатый год, а совсем, как дитё, ведут себя.

— А ты чего? Что это у тебя в руках?

— Петухи яки-с.

— Что за петухи?

— Арестант з двадцатого просили вам передать. Говорят: «кланяйся, передай петухов в подарок, с бумаги сробленных — и скажи господину надзирателю от арестанта собственная работа Николая Четыркина».

— Куда они мне?.. Положи их там в угол. Вот что... Снеси-ка ему эти какрамельки... Пять штучек. Да чего ты все с барбарисом берешь?

— Они кисленькие любят.

— А ты откуда знаешь?

— Говорили... Как о елке ихней рассказывали, то говорили.

— А ты опять с арестантами в разговоры вступаешь? Ты разве не знаешь — уставом это запрещено.

— Да оны, ваше благородие, такие чудные... Я к ним в камеру захожу за чаем, а они мне: «здравствуйте» — да и поцалували. Прямо, что с ними делать — ума непостижимо.

— Я тебе дам «ума непостижимо». Какая тут будет, к черту, дисциплина, когда конвойная команда с арестантами целуется. Кто там еще?

— Елку привезли.

— Ну, тащите ее в пустую камеру в двадцать девятый.

— Нельзя, не влезет. Потолки низкие.

— «Потолки, потолки». Что ж мне, черти, из-за вас елку резать? И так разрываться надо!

— ...Для девятого номера примочку пожалуйте и для одиннадцатого пластырь.

— С ума они там посходили! Опять расшиблись? Шалят?!!

— Да они не шалят. А только в халатах им неспособно ходить. Сами посудите — халаты-то у нас — во, а они — во.

— Так я же говорил: перешейте халаты! Отошлите их в швальню.

— Эконом говорит — нельзя. Этак, говорит, мы перешьем, а потом их выпустят — куда халаты девать? И матерьял и работа к черту пропадут.

— Э, заболтался я с вами! Поверка была?

— Сейчас делают. Кончают...

....

— Ваше благородие! Беда!! Арестант сбежал!

— Как сбежал?! Ах, черти вы анафемские!! Хорошее Рождество мне устраиваете! Какой арестант?!

— Четыркин Николай! Был все время в камере и на прогулку ходил, а как вечернюю проверку стали делать — ичез.

— В камере нет?

— Нет. И в коридоре нет, и на дворе.

— Эх, вы! Растяпы. Самый важный был, а вы упустили. Гайда в камеру!

Камера Коли Четыркина была пуста.

Осмотрели окно — оно было цело. Осмотрели стены — ни одного кирпича не было вынуто.

Арестант — как сквозь землю провалился.

Когда стали перетряхивать койку — оттуда что-то вывалилось.

— Что это упало?

— Эх, вы! Да это он же... арестант! Заснул на койке да и завалился за край.

— Как же вы его не заметили?

— Заметь-ка его сразу, коли в ем не больше аршина длины.

— Чудасия!

— Прямо-таки рождественска история...



ИЗ "ХУДОЖЕСТВЕННО-ЮМОРИСТИЧЕСКОГО КАЛЕНДАРЯ-АЛЬМАНАХА на 1914 год"





ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ СОВЕТЫ

(Как составлять смесь)

Всякому из вас, друзья мои, приходилось встречать в журналах и газетах такой отдел, который носит название:

«Смесь».

В этом глубоко интересном отделе вы встречали, вероятно, помимо научных сведений, — много разных полезных советов: «как вскипятить в игральной карте воду», «как лечиться от укуса гремучей змеи», «лучшее средство против тайфуна» — одним словом, на все случаи жизни человеческой в отделе «Смесь» предусмотрительно даются советы.

Всякий читатель наизусть знает: «как склеивать разбитый фарфор», «способ изготовить самому себе карманные часы», «приготовление молока из вишневых косточек» и прочее...

И, тем не менее, в «Смеси», в отделе полезных советов — я наблюдаю колоссальный пробел...

Нигде не сказано:

— Как изготовить самому себе «Смесь»!

Иногда семья ваша или ваши знакомые хотят почитать отдел «Смесь», а под рукой нет журналов или газет, а если есть, то без отдела «Смесь» или с отделом, но неинтересным или затасканным.

Вот в этом случае мои советы «Как самому себе изготовить “Смесь”» — могут быть прямо-таки драгоценны.

Все, что я приведу ниже — основано на собственном опыте (первые шаги моей литературной деятельности были, — именно, составление «Смеси» для еженедельных журналов и газет), а также на многочисленных наблюдениях...

Вот оно, значит, как.

* * *

«Смесь» можно разделить на следующие отделы: 1) Вообще, научные сведения; 2) Этнографические штришки; 3) Удивительные курьезы природы; 4) Статистика; 5) Успехи техники; 6) Об американских миллиардерах; 7) Еще об уме животных; 8) Странности великих людей и, наконец, 9) Полезные советы.

ВООБЩЕ, НАУЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Если вы хотите надолго приковать внимание читателя к вашей скромной заметке, вы просто пишете:

«Один ученый в штате Миссури (Арканзас), по имени Пайкрафт, открыл удивительное свойство серебра: терять вес, если его покрыть особым составом из двухлористого гелия (h4Г — 7Д0) и цинковой обманки (% обманки в цинке — пока секрет ученого).

Обмазанная этим составом, серебряная монета настолько теряет свой вес, что может быть помещена в воздухе на любой высоте.

Этим любопытным открытием заинтересовались многие ученые авторитеты штата Иллинойс.

Нечего и говорить, что новооткрытое свойство этого металла произведет целый переворот в текстильной промышленности».

Перед вами — заметка, составленная вполне скромно, научно (химическая формула, ссылка на авторитеты и указание на переворот в текстильной промышленности).

Конечно, всякий, кто прочтет заметку, призадумается... Открытие, действительно, интересное, полное заманчивых перспектив.

Вы мне возразите, что читатель, прочтя заметку, может попробовать проверить на опыте это открытие? Это невозможно!

Во-первых, в заметке предусмотрительно скрыт % цинковой обманки, а, во-вторых, его сразу испугает такая сухая научная формула — (h4Г — 7Д0).

Вообще, эта заметка, если в нее вчитаться, составлена очень предусмотрительно: ученый живет в штате Миссури, и, если бы кто-нибудь даже заинтересовался открытием, то ехать для этого в Америку, отыскивать ученого Пай-

крафта, лишь на основании пустякового сообщения в отделе «Смесь» — было бы безумием.

Если такой сорт заметки все-таки вам почему-либо не нравится — можете изготовить другую... Например: «свойство некоторых пород ясеня растворяться в воде, насыщенной азотнокислыми соединениями аммиака, открыто профессором Бруком — лауреатом Кентуккийской высшей школы (штат Кентукки)».

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ ШТРИШКИ

Тут вам дается полный простор.

Вы можете описать свадебным обычаи на островах Спасения или на острове Тристан д'Акунья. Можете привести даже самые нелепые обычаи: в день свадьбы, например, жениха обваривают кипятком, после чего он, по туземному поверью, будто бы горячее любит жену, а невесте вырывают передние зубы и вставляют их на место глаз (символ верности. Отметить полный контраст дикарской психологии с культурным русским поверьем: «возьми глаза в зубы»). Можете добавить, что празднование свадьбы продолжается пять месяцев и на свадьбе все приглашенные с аппетитом едят белую глину, смешанную с листьями араукарии (туземное лакомство).

Эта заметка тоже совершенно безопасна в смысле достоверности. Ни один из ваших читателей не устроит себе такой свадьбы, а дикари островов Спасения или Тристан д'Акунья, не будут писать писем в редакцию с опровержением, потому что ваше издание едва ли попадет к ним в руки.

Дело кончится тем, что читатель, прочтя заметку, вздохнет и скажет жене:

— Смотри, Маруся, какие есть ужасные обычаи! И чего только на свете не делается. Как все премудро устроено Создателем.

Вы его заставили призадуматься. Он уже философствует! В этом ваша заслуга.

Боже вас сохрани, сообщить сведения о каких-нибудь мюнхенских или кавказских свадебных обычаях. Легко может случиться, что читатель там был и поэтому обругает вас лгуном и мошенником.

Этого — избегать.

УДИВИТЕЛЬНЫЕ КУРЬЕЗЫ ПРИРОДЫ

Здесь вы можете не заезжать в Американские штаты. Опытные составители «Смеси» ограничиваются обыкновенно Венгрией.

Почему Венгрией — мне доподлинно неизвестно. Но это любопытный штрих в психологии составителей «Смеси».

Именно в деревушках Венгрии рождаются все младенцы с тремя головами, все одноглазые телята и зебровидные жеребята, а на венгерских огородах произрастают картофелины, формой напоминающие группу детей, идущих в воскресную школу, или памятник Виктору-Эммануилу в Риме, или просто машинку для стрижки волос.

Если же вы, из-за совершенно неуместной добросовестности, не захотите выдумывать — то и тут можете сообщить факты, хотя и достоверные, но для поверхностного взгляда, кажущиеся ошеломляющими.

Например:

«В одной из деревень Восточной Венгрии у крестьянки родился удивительный ребенок: он имеет две головы, четыре ноги, четыре руки, два туловища и два сердца. Любопытно, что туловища эти несросшиеся, равно, как и другие части тела».

Кажется, любопытно? А ведь тут говорится о самых обыкновенных двойнях.

Или:

«Игра природы. Один венгерский крестьянин (Западная Венгрия) нашел на огороде картофелину, очень напоминающую по форме лошадь с всадником, только без ног, без рук и без головы. Заметна только шпора на ноге всадника».

Согласитесь — курьезно! А ведь самая обыкновенная картофелина может подойти под это определение.

Вообще, с Венгрией стесняться нечего... Я своими глазами читал заметку (кажется, в приложении к «Ниве») об одном венгерском мальчике, у которого на лбу из прыщика вырастало каждые шесть месяцев перо — не сказано, птичье или стальное, — которое потом отпадало на радость родителям. В заметке, конечно, было сказано, что многие ученые заинтересовались этим феноменом (еще бы!).

В заключение, замечу, что в Венгрии иногда рождаются дети, форма головы которых напоминает кирпич, в графстве

Сюррей (Англия) изредка появляется девочка, которая может говорить ухом (редкий случай перемещения голосовых связок), а в штате Небраска (Америка) любопытствующие могли бы найти доктора, под названием «человек-термометр», или человек-зебра, или просто «обжора Дик».

Все это приковывает внимание читателя.

СТАТИСТИКА

Статистика — наука точная, и поэтому здесь нужно с фактами обращаться особенно осторожно. Остерегайтесь придумывать статистику вооружений европейских стран, или сравнительную таблицу ввоза и вывоза.

Это все уже известно и без нас.

Если вы все-таки соблазнились отделом статистики, — сообщайте следующие безобидные сведения:

1) «По статистике, потребление Норвегией соли, равняется 3/5 потребления этого же продукта Персией».

Или:

2) «Количество раздавленных автолюбителями на парижских бульварах в текущем году, превысило на 20% таковых же — за прошлый год. Вот он современный Вавилон, Молох, пожирающий жертвы!».

3) В Австралийских колониях в 1891 году насчитывалось слепых 1327 человек.

Это, правда, читателя не увлекает, не будоражит, но статистика ведь вообще скучная, сухая вещь.

УСПЕХИ ТЕХНИКИ

«Один ливерпульский механик изобрел машину, которая сама сеет лен, поливает его, выращивает, снимает с поля, очищает, сучит нитки, ткет льняную материю и сама же снашивает ее; льняное же масло, добываемое машиной из семян, идет на смазку частей машины».

Ясно, что этот ливерпульский механик — просто дурак. Кому нужна такая машина? Но читатель не будет задаваться таким вопросом. Его внимание привлекает просто сложность такой удивительной машины.

Если хотите быть вполне научным, напишите что-нибудь об Х-тории или радии (броненосец в 18 000 тонн, можно,

по словам ученых, приводить в движение одним миллиметром радия; или: радий, как средство от бессонницы).

Остерегайтесь писать что-нибудь о рентгеновских Х-лучах. Они вышли из моды. Потому что «Смесь» имеет свою моду, свою этику, свои законы.

ОБ АМЕРИКАНСКИХ МИЛЛИАРДЕРАХ

Этот отдел распадается на такие ясно очерченные подотделы:

а) Карьера миллиардера (Миллиардер Джон Гуд был сапожным подмастерьем; или продавцом сигар в разнос; или угольщиком... Но скопив немного денег, он открыл небольшое дело; его ум предприимчивость сделали то, что и т.д.).

б) Пожертвование миллиардера Карнеджи на... (можно писать на что угодно — в зависимости от вкусов и наклонностей пишущего).

в) Причуды миллиардеров. — Главным образом — устройство специальных обедов...

Например — «тигровый обед».

Пишется так: «На днях Пятое Авеню было позабавлено оригинальным «тигровым обедом», устроенным королевой пуговиц, мистрис Адью Скобс. Обед происходил в громадной тигровой клетке, устроенной из железных прутьев... Все обедающие лежали на тигровых шкурах, а лакеями были настоящие индусы-шикарри (охотники за тиграми); ели сырое мясо, терзая его зубами. Одеты все обедающие были в полосатые костюмы; из драгоценных камней допускался только тигровый глаз. На стене висела карта реки Тигр».

Конечно, то, что вы выдумали — очень глупо, но ведь и выдумки американских миллиардеров особым остроумием, вероятно, не отличаются.

В крайнем случае, обругают, и то не вас, а американцев. И поделом.

Можете писать, если хотите: «Людоедский обед», «Жемчужный обед», «Обед убийц» и «Собачий ужин».

ЕЩЕ ОБ УМЕ ЖИВОТНЫХ

«Еще» — значит, уже многое об уме животных писалось; таким образом, нужно что-нибудь экстравагантное.

Никто вам не мешает рассказать о диковинной собаке, живущей в бассейне реки Ориноко (пойди-ка, поищи!). Собака эта очень недурно пишет масляными красками и недавно написала такой схожий портрет хозяина, что многие ученые заинтересовались ею (ученые обязательно должны интересоваться такими вещами); эта же собака поворачивает зубами электрические осветительные кнопки, когда ее сажают в темную комнату, и недавно исправила даже испортившийся электрический звонок.

Скажете — невероятно! Самый простодушный читатель не поверит... Пове-е-ерит!

Вот что написал я однажды, в отделе «Смесь» (в одной харьковской газете): «Еще об уме слонов. В гамбургском зоологическом саду содержался слон Джипои — общий любимец... Недавно он заметил, что несколько дней подряд к нему подходил грустный бедно одетый симпатичного вида незнакомец и, лаская его, кормил вкусными булками. Но однажды он пришел еще более грустный и похудевший; пошарив по карманам, он вздохнул и отвернулся. Сердце слона разрывалось от жалости. Но в это время к друзьям приблизился какой-то незнакомец жестокого вида и стал кричать на печального господина, показывая ему какую-то бумагу; нужно ли говорить, что это был вексель симпатичного господина, которому (векселю) наступил срок. Бедняк печально смотрел на вексель, предвидя разорение, но — слон мигом сообразил, в чем дело... Протянул хобот, выхватил из рук заимодавца вексель, и в один миг... съел его! Нужно ли говорить, что все окончилось ко всеобщему благополучию, и обезумевший от радости должник долго ласкал своего спасителя».

Кажется — невероятно? А я даю честное слово, что восемь провинциальных газет напечатали этот вздор с самым серьезным видом; одна даже поместила «Случай со слоном» в отделе телеграмм от собственного корреспондента.

В заключение, позволю себе рассказать следующий характерный случай: «У одного акцизного чиновника (штат Калифорния) была собака — пудель Тобби. Собака все время слышала, как хозяин плакался на бедность и говорил:

— О, если бы у меня были деньги в банке!

И что же! Однажды, когда ее послали в мелочную лавочку за сигарами (она часто это проделывала), собака прибежала

в лавочку, прыгнула на прилавок, схватила какой-то предмет и помчалась к хозяину.

Каково же было всеобщее удивление, когда она принесла к ногам хозяина стеклянную банку из-под леденцов, в которой лежали данные ей хозяином на сигары деньги!

Умная собака, слыша разговоры людей, устроила так, чтобы у хозяина были деньги в банке!».

СТРАННОСТИ ВЕЛИКИХ ЛЮДЕЙ

Пишите:

«У всех великих людей были свои странности: Россини мог творить только, держа ноги в холодной воде. Вольтер писал, нюхая испорченные яблоки, Веласкес надевал тесные ботинки, а Наполеон все письма писал на барабане, держа правую руку за бортом сюртука, а левой размахивая в такт».

Ничего, если вы Россини заставите нюхать испорченные яблоки, а Вольтеру наденете тесные ботинки — мертвые не говорят.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Давайте только радикальные советы, и вы заслужите внимание читателей. Умный человек может дать совет на всякий случай жизни. Например — пятно на скатерти.

«Нужно взять скатерть и слегка помочить запятнанное место рисовой водкой; потом, присыпав тальком, вынести скатерть на улицу, и положить около дома на тротуарной тумбе. Не пройдет и получаса, как пятно исчезнет».

Составленные по этому образцу хозяйственные советы обратят внимание читателя и вызовут в нем интерес к печатному слову.

* * *

Вот и все.

Читатель видит, что с помощью этих деловых практических советов всякий может у себя на дому приготовлять какую угодно «Смесь» для своих домашних и знакомых, — не прибегая к дорогостоящей выписке журналов и газет, где все это может быть подано точно так же, если не хуже.

А я за это не хочу себе никакой награды, никакого памятника.

Несколько десятков тысяч рублей, собранных почитателями по подписке, или скромная бронзовая статуя на Невском проспекте, изображающая меня, — будут мне лучшими памятниками.

С почтением — бывший заведующий отделом «Смеси» в разных газетах и журналах.

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ О РОССИИ

В настоящее время мы стоим на таком уровне культуры, что только самые невежественные, косные люди могут отрицать пользу и значение статистики.

Статистика — все.

Ни один более или менее научный труд не может иметь значения без той солидной опоры, которую даст статистический материал.

Все научные выводы, наблюдения, все объективные данные покоятся на статистике и только на ней.

Огюст Конт сказал:

— «Статистика — это все».

У Прудона есть такое место:

— «Дайте мне статистические данные, и я скажу вам спасибо».

Миклуха-Маклай говаривал своим друзьям:

— Не знаю, что бы мы и делали без статистики.

Статистика — это воздух, без которого жить нельзя.

Амели Балларжо, когда ее муж взял на содержание четвертую певичку из шантана, произнесла знаменательную фразу:

— Ого! это уже статистика.

Существует тривиальное выражение: жизнь — это театр. Люди — актеры.

Да! Это верно. И как на театральной сцене нельзя обойтись без статистов, так и жизнь без статистики мертва.

Вот что такое статистика.

Поэтому наши читатели, вероятно, заинтересуются теми статистическими данными о России, которые автору настоящей статьи удалось собрать путем долгих трудов и усилий.

———

Народонаселение. Как известно, народонаселение России состоит из мужчин и женщин... Кого же больше: тех или других?

Больше — других.

Именно, приведем для наглядности следующий расчет: если из количества женщин вычесть количество мужчин, то в остатке будет такое количество женщин, что если каждая женщина даст только гривенник, получится сумма, на которую можно выстроить эскадренный миноносец и двухэтажный дом в нагорной части города со всеми службами, ледником и конюшней!

Иными словами: если бы каждой женщине, состоящей в остатке, вырвать только по три зуба, то гора этих зубов (конечно, в закрытом помещении) покрыла бы с головой лошадь, пролетку и кучера.

Климат России. В общем климат России выражается солидной цифрой — 5.342.011.

Эта цифра получится, если мы сложим температуру (в градусах), взятую из разных местностей России. Достаточно сказать, что одни университетские города дали на 8 Декабря 1912 г. общую температуру в 87 градусов мороза (Петербург — 14, Москва — 12, Рига (политехникум) — 13, Одесса — 7, Киев — 17, Харьков — 10, Саратов — 14).

А просто уездные города! А губернские!

Статистика говорит, что если человека подвергнуть действию общей температуры, суммирующей частные температуры только пяти из этих городов, то вышеуказанный человек, брошенный с высоты крыши здания Азовско-Донского банка на Морской, разобьется о тротуар, как стекло.

Вот она, матушка Россия!

Лесоводство. Все мы знаем, что Россия страна лесов, но как-то никому неизвестно, какие громадные пространства, в действительности, заняты деревьями разных пород.

Чтобы дать читателю наглядное представление об этом, скажем только, что гербовая бумага, истраченная при покупке всех лесов России какой-либо из американских акционерных компаний, — дала бы цифру, при помощи которой вся Китайская Империя (а она громадная!) могла два дня бесплатно пить чай, считая по 2 таэля за тысячу чашек.

Или — еще нагляднее если бы из одних только лиственных и хвойных пород построить мост, то по этому мосту можно было бы идти только туда... Вернуться не хватило бы жизни человеческой. Другими словами — на гигантскую трость, сделанную из всех деревьев России, мог бы опереться человек, который доставал бы плечом до луны. Или, иными словами, лунное затмение тогда совсем бы не зависело от положения земли по отношению к луне и солнцу.

Рогатый скот. Если бы мы писали не серьезную статью, а юмористическую заметку, то в этом месте не удержались бы, чтобы не коснуться рогатых мужей. Однако в серьезной статье это неуместно.

Количество рогатого скота в России точно не вычислено, но приблизительные данные таковы: поставленные плечо к плечу по обеим берегам реки Оки коровы и олени — если бы по команде стали пить воду, то Ока обмелела бы настолько, что во время навигации до 60-ти пароходов сразу село бы на мель. Принимая во внимание стоимость скоропортящегося груза и снятие с мели и починку судов — стоимость всего этого превысила бы сумму, необходимую для покупки 1.500 двадцатичетырехсильных автомобилей.

Только знакомясь с этими цифрами, постигаешь необъятность нашей родины и ее пушные богатства.

Производство бензина. Сколько Россия могла производить бензина? Если бы поднять из-под земли все исчезнувшие народы, восстановить стертые с лица земли цивилизации, собрать всех ныне существующих на земном шаре мужчин, то бензина, вырабатываемого за год, не только бы хватило на чистку всех брюк, но остатком можно было бы наполнить здание Колизея в Риме, если бы его реставрировать и плотно законопатить.

И все это, принимая в соображение, что русская бензинная промышленность вся в будущем!

Потребление алкоголя. Количество синяков и кровоподтеков, получаемых от опьянившегося алкоголем, а также тех синяков, коими изукрашены лица опьянившихся — могли бы изумить даже не особенного поборника трезвости.

Именно — если бы можно было поместить плотно синяк к синяку, и всю эту плоскость раскинуть в виде небесного свода над головой, то получилась бы полная иллюзия синего южного неба.

И акцизное ведомство имело бы полное право быть взятым на это небо живым за свои питейные заслуги.

Да... устаревшее «море водки», читатель, конечно, менее говорит вашему сердцу, чем «небо синяков».

Оказывается, и в статистике можно создавать новые образы.

Потребление чернил. Чернил тратится такое колоссальное количество, что, не желая увеличивать их непроизводительный расход, я на этом прекращаю свою статью, прося только разрешения истратить последнюю каплю на краткую подпись.

ОБ АНЕКДОТАХ

— Приходите, обязательно приходите! Вы увидите редкое зрелище: состязание десятка лучших анекдотистов России. Это что-то колоссальное!

Я скромно возразил:

— Да при чем же я тут? Если там соберутся все такие светила — что делать мне, — кроткому, тихому юмористу, который и анекдотов-то знает не более десятка. Я им буду только мешать.

— Ничего подобного! Это все очень милые веселые люди, которые в худшем случае будут только немного вас презирать в душе, как плохого анекдотиста. Но зато вам представится ценный материал для наблюдений...

— Да кто они такие?

— Четыре актера, два присяжных, один доктор, два журналиста, биржевик... В общем, их ценность невелика, конечно... За исключением того, что все они в общей сложности знают свыше тысячи анекдотов.

— Ну, уж и свыше тысячи!..

— Уверяю вас... Да и то это не проверено. Может быть — больше!

— А куда ж мне приехать?

— Сегодня в 12 часов ночи, в кабинет ресторана «Медведь».

— Гм... Ну, попробую.

* * *

Еще будучи в десяти шагах от дверей кабинета, я уже услышал страшный грохот — будто льдины сталкивались,

обрушиваясь одна на другую, будто морской прибой ревел и крутился между суровых скал.

Это девять здоровых глоток смеялись над какой-то замысловатой историей, рассказываемой десятой глоткой.

Когда я вошел, все притихли и осмотрели меня крайне критически.

— А! Юмористы! Вы знаете анекдот о вегетарианстве?

— Не знаю.

— Еще бы! «Один еврей говорит другому: — Слушайте! Вы знаете, — Абрам Моисеевич перешел в вегетарианство. — Зачем ему, — удивился другой: — Ведь он же, все равно, имеет право жительства».

Смеялись.

— А вы знаете анекдот о греке с бочкой маслин?

— Нет, не знаю.

— А об ответе барабанщика на смотру?

— Не знаю.

— Боже! — удивился толстый бритый человек. — Да он совсем дитя.

— А вы знаете анекдот о человеке, которого соблазнила жена яблоком, сорванным с древа познания добра и зла? — спросил меня, ехидно улыбаясь, журналист.

Это была уже насмешка, а я терпеть не могу, когда надо мной смеются... Я того мнения, что пусть лучше смеются над кем-нибудь другим, только не надо мной.

— Этот анекдот я знаю, и, кроме того, знаю еще такие, которых вы не знаете, — сказал я как можно суше.

— Ой-ли!?. А давайте держать пари, что какой бы анекдот вы нам не рассказали — мы его на половине доскажем!

Все десять смотрели на меня с нескрываемой насмешкой и иронией.

Я вспыхнул и, не помня себя, крикнул:

— Принимаю! Полдюжины шампанского и наличными сто. Хотите?

Конечно, они приняли пари, потому что каждый рисковал только одной десятой целого заклада.

Шумели, хохотали, острили, как мальчишки.

Я сел верхом на стул, положил локти на спинку и, поглядывая на всех, — начал:

* * *

— Анекдот об еврее: К одному бедному еврею переплетчику, у которого заболел сын, пригласили доктора. Осмотрев его, доктор...

И сразу все зашумели, замахали руками:

— Знаем, знаем! Старо! Он спрашивает еврея: «бредил?» и так далее. Стара штука.

— Позвольте, господа, — солидно возразил я, скрывая свое разочарование. — Какое там «бредил?» С чего вы взяли? Это совершенно другой анекдот.

— Ну, продолжайте!

— Да... так вот доктор и говорит: «ему нужно дать хины, у него лихорадка!» Хины — так хины. Дали хины, ребенок и выздоровел. Однажды он пристал к отцу, чтобы тот дал ему карандаш... Отец и говорит...

— Старо, старо! У этого анекдота седая борода! Знаем! Отец все посылал его за карадашом в буфет, а потом ударил его и так далее!.. Знаем!

— Ничего вы не знаете, — сжался я, стараясь не потерять самоуверенности. — Какой там буфет? Кого ударил? Ничего подобного!

— Ну, ладно, извините. Тогда слушаем дальше.

— Да-с... Так вот. Отец и говорит: «пора уж мальчика отдавать в училище... Вы ведь знаете, господа, что еврейские дети развиваются очень рано? Ну, вот. Отдали его в училище. Учится он. Однажды учитель спрашивает его: «В котором году умер Александр Македонск...»

— Старо! Знаем, — загрохотали десять глоток. — Мальчик ему ответил: «Неужели, умер? Я даже не знал, что он был болен».

— Ах, господа, — поморщился я. — Как вы спешите! Откуда вы все это берете? Ничего подобного!

— Ну, хорошо! Дальше, дальше.

— Значит, спрашивает учитель: «в котором году умер Александр Македонский?» Сын переплетчика ответил точно, в котором голу, — получил пятерку. Вообще, учился хорошо... Однажды, когда ему было уже лет 16, он, держа в зубах папиросу, встретил товарища. «Ой, — удивился товарищ, — сегодня суббота, а ты куришь? Разве можно?» А тот отвечает...

— Довольно! Стоп! Этот анекдот ребенку известен!.. Тот отвечает: «да я спрашивался у раввина», и когда товарищ, удивленный, вскричал: «И он тебе позволил?!.» — Курильщик отвечает: «Положим, не позволил. Так плевать я хотел на него, что он не позволил».

— Ничего подобного, холодно пожал я поечами. — Какой там раввин? Просто товарищ спрашивает: «Разве можно?» — А тот отвечает: «Можно». Выкурил папироску и поехал в Белосток. В поезде один купец его и спрашивает...

— Позвольте! — раздались возмущенные голоса. Это же издевательство!! Какой же это анекдот? Это целая биография в пятьсот страниц! Разве такие анекдоты бывают?..

— Виноват, — перебил я. — Но ведь мы о размере анекдота не уславливались. Потрудитесь дослушать.

Они перебивали меня на каждом шагу. Не было ни одного анекдота, который был бы им неизвестен. Это была какая-то живая энциклопедия о десяти головах.

Я разворачивал перед ними целую повесть жизни злосчастного сына переплетчика, который уже вырос, женился, изменил жене, жена ему изменила — состарился, одряхлел, — а компания, слушавшая меня, методически отсекала вторую половину каждого анекдота из жизни сына переплетчика...

У меня расчет был простой: из того ряда анекдотов, которые я пытался рассказать, мог же встретиться хотя бы один такой, которого эти десять человек не знали бы.

А они все кричали:

— Знаем, знаем.

— Позвольте! Ничего вы не знаете... И вот значит этот старик еврей, сын переплетчика, приезжает в Одессу. А там как раз была всероссийская выставка. Один знакомый и спрашивает его: «Видели, как на выставке бьют фонтаны?» А он испугался: «Кого? Евреев?»

Наконец-то я наткнулся на то, что мне было нужно. *Этого последнего анекдота не знал ни один из десяти.*

* * *

Председатель кисло сказал:

— Предположим, конечно, что вы выиграли... Но прием ваш — не знаю, как и назвать его.

— Прием хороший, — торжествующе засмеялся я, прихлебывая выигранное шампанское. — И мораль для вас есть:

лучше быть одним юмористом, чем десятью специалистами по анекдотам...

ПАСХАЛЬНЫЕ СНЫ

Вероятно, многие наблюдательные люди, мимо носа которых жизнь не проскальзывает незамеченной, обратили внимание на то, что праздничные сны не похожи на сны будничные.

Почему?

Мое мнение таково, что между содержанием сна и меню обеда или ужина, проглоченного перед сном, существует больше связи, чем думают.

Заметьте: на праздниках мы видим совсем не такие сны, как в будничные дни и на праздниках же мы совершенно искажаем свое меню, по сравнению с будничными.

Всякий здравомыслящий русский человек на Пасху считает долгом ошеломить, изумить и поразить свой желудок самыми странными неподходящими сочетаниями: жареного барашка есть с куличом, после пары красных или синих яиц проглатывает солидный кусок творожной пасхи, запивает все это ликером, а через десять минут в другом доме, он, как ни в чем не бывало, поглощает розовую, нежную ветчину, фаршированного цыпленка, кулич, рюмку рябиновой, сардинку и, наконец, сахарный розан с верхушки осиротелого кулича...

И всякому, умеющему логически мыслить, ясно, что после таких шагов — человек совершенно соскакивает с рельс.

Может быть, если бы какой-нибудь ученый нашел лабораторию в тихой аристократической части города, оборудовал ее достойным образом и потом погрузился в опыты на свежих доставляемых ему ежедневно организмах — он установил и проверил бы научным образом мою гипотетическую теорию.

Более того: работы в этом направлении могли бы выяснить даже совершенно определенное взаимоотношение между сортом потребляемой пищи и содержанием сна. Так что человек, которому пришла бы охота пережить во сне нападение на него шакалов в зловейшей африканской пустыне, залитой прозрачным лунным светом — знал бы, что для

этого ему нужно просто съесть кусок абрикосового торта, семь яиц вкрутую, два всмятку, кусок кулича, намазанного маслом, стаканчик вермуту и кусочек ливерной колбасы.

Может быть, любители амурных похождений легко могли бы прочувствовать их, лежа в безопасной, в смысле ревнивого мужа или серной кислоты, постели — стоило только перед сном проглотить стакан кофе с лимоном, головку чесноку, рюмку крем-де-ваниль и пару слоеных пирожков с сыром.

Если бы наука заинтересовалась этим — треть нашей жизни мы могли бы просмаковать по своему выбору и вкусу.

Эх! Да разве кто-нибудь займется этим! Теперь все пошли карьеристы, выскочки или напыщенные, набитые по горло схоластикой глупцы, предпочитающие идти лучше по проторенному пути, чем заглянуть в сладкую, манящую область широкой неизвестности. Эх! Где Мечников? Где доктор Ру? Где Маркони?

Не помню, в каком порядке я уничтожил в течение этого достопамятного пасхального дня: десяток яиц вкрутую, ногу каплуна, три ломтя кулича, половину сырной пасхи, шесть рюмок наливок, водок и полторы бутылки разного вина. Не помню, съел ли я вначале, средине или в конце пару молоденьких огурцов и четверть барашка, искусно сделанного из сливочного масла. А ветчина — была она или нет? А, может быть, в ней-то и вся суть.

Помню только, что я лег, когда в окно глядели теплые весенние сумерки. Лег и заснул.

Я бы сказал, что в это время радостно гудели и заливались радостные пасхальные колокола. Это было бы чистейшей правдой, но дело в том, что я, по справедливому замечанию одного критика, всегда стараюсь избегать тривиальных образов и выражений.

Проснулся я уже вечером, когда свеча, забытая мною, сгорела наполовину, а за стеной часы отчетливо пробили 10 раз.

Мне захотелось промочить пересохшее горло, и я позвонил.

К моему удивлению, вместо горничной, вошла бонна и, опершись о притолоку, принялась созерцать меня своими белыми рыбьими глазами.

Ее молчание привело меня в беспокойство.

— Я звонил горничной, — заявил я. — Почему пришли вы? Разве в доме никого нет?

Она сделала шаг ко мне, упала вдруг на колени и, схватив мою руку, осыпала ее поцелуями.

— Фрейлен, что вы делаете?!.. Бросьте, оставьте! — встревожено закричал я. — Не надо! Что такое, в самом деле?

Дальнейшее поведение фрейлен совсем испугало меня. Она подскочила к стене, сняла картину, изображавшую известный эпизод со Стенькой Разиным и персидской княжной, закрылась картиной и вдруг... лицо ее выглянуло из-за верхнего края рамы... Страшное, неузнаваемое лицо: черная борода, красные, как у вампира губы и лихо сдвинутая набекрень шапка. Решив, что больше скрываться и притворяться незачем, она отбросила картину в сторону и предстала передо мной во весь рост в алом, шитом позументом кафтане, сафьянных сапогах и с зловещим бердышом в руках.

«Не может быть, — подумал я. — Тут что-нибудь да не так!..»

Она шагнула ко мне и, хищно улыбаясь, схватила меня на свои сильные мускулистые руки.

«Оставьте! — крикнул я. — Это совершенно лишнее... Здесь даже воды нет... Поставьте меня на пол».

Она тихо засмеялась, размахнувшись, ударила меня головой о стенку ...

Я закричал, открыл глаза и увидел себя лежащим, по-прежнему, на постели. Картина, изображающая эпизод Стеньки Разина с персидской княжной, мирно висела на стене.

«Черт знает, что, — подумал я недовольно. — Лучше встать...»

Однако пить хотелось по-прежнему, как во сне. «Очевидно, — подумал я, — жажда, томившая меня, имела тесную связь с Волгой, по которой плыли струги Разина, на картине».

Я закурил папироску, пошел в столовую, с жадностью выпил воды и вернулся к себе в спальню.

Подняв шторы, я увидел залитую светом луны улицы и много праздничного народа, сновавшего взад и вперед. Это было красивое зрелище из окна четвертого этажа — черные пятна на прозрачном фоне.

Почему-то мне сделалось грустно. Вы заметили, что в праздник перед вечером, когда внизу шныряет веселая толпа, раздаются отдаленные голоса и крики, когда откуда-то доносится звук хриплого граммофона — особенно бывает

грустно. Будто ничего не было впереди, ничего не будет потом, и время остановилось и не хочется пошевелиться в этом углу без времени и пространства, без прошлого и будущего, с одним мертвым настоящим, с печальной нирваной остановившегося человека, замурованного в стеклянном гробу.

Очнулся я от громких криков на улице...

— Стой, оставь! Не трогай! Я тебе говорю — оставь!

Потом раздалось несколько глухих ударов и подавленный крик.

— Держи его, стой! Ах, мерзавец!

Из толпы, сгрудившейся около трамвайной остановки, вырвалась человеческая фигура и побежала по мостовой.

«Пьяная праздничная история», — с отвращением подумал я.

Человек бежал, подпрыгивая, как серна, молчаливый, с опущенной головой. Так должен бежать убийца от жертвы.

Он добежал до моего дома и вдруг с энергией отчаяния стал карабкаться по водосточной трубе.

— Не убежит!.. — орали снизу злобные разъяренные голоса. — Все равно поймаем голубчика!..

Человек, однако, молча, продолжал свое рискованное упражнение. Я уже слышал его тяжелое дыхание на расстоянии одного этажа от меня...

«Наверное, собирается вскочить в открытое окно третьего этажа», — подумал я.

Но он полз и полз по водосточной трубе...

И вдруг... Я вскрикнул от ужаса... В уровень с подоконником показалась лысая голова, без единого волоска, обильно забрызганная кровью. Кровью налились и страшные вампирьи глаза и шея, красная неизвестно от чего, — от напряжения или чужой крови.

Его скрюченные пальцы уцепились за мой подоконник, и он, глядя на меня упорным пронзительным взглядом, вдруг стал медленно вползать в мою комнату...

Секунда нечеловеческого ужаса, и я с отчаянным криком бросился к нему, стараясь отделить его пальцы от подоконника, толкая его вниз, пачкая руки о его кровавую лысую голову.

Но он, изловчившись, схватил меня за руку и вдруг, весь осунувшись вниз, — медленно потащил меня за собою.

Тоска близкой смерти, холод отчаянного ужаса заморозил мое сердце.

Я дико закричал и... проснулся на постели, держась судорожно сжатыми пальцами за спинку кровати.

«Какой вздор», — сердито подумал я — сон во сне». Это напоминает мне деревянные пасхальные яйца, вложенные одно в другое: откроешь синее — внутри красное, откроешь красное — дальше зеленое.

И, энергично вскочив с постели, решил:

— Самое лучшее — пойти на воздух.

Позвонил, приказал горничной дать холодной воды, освежился и, одевшись, вышел на улицу.

Никакой луны не было, и темные улицы опустели; только издали доносился отголосок погасающего шума.

«Странно», подумал я. «Кажется, ведь сон был, а как здраво и ясно рассуждал я, стоя около окна, о праздничной грусти и щемящем одиночестве»...

И вдруг мне пришла в голову безумная жуткая мысль: а что, если я и теперь сплю, а эта улица, этот извозчик, дремлющий на углу, эта горничная, глазеющая у ворот на редких прохожих — все это сон?

Конечно, есть тривиальнейшее испытание для таких случаев — ущипнуть себя, но я ничего не знаю нелепее этого опыта: сонный щипать себя не будет, а бодрствующий слишком ясно сознает, что он бодрствует, чтобы щипать себя.

Успокоившись на этом, я бодро зашагал дальше... Из переулка вышла прихрамывавшая старуха и, заметив меня, привязалась ко мне, требуя, чтобы я успокоил «ее старые кости каким-нибудь пятачком».

Я пошарил по карманам. Мелочи не было.

— Бог подаст, бабушка. Нет мелких.

Она залилась вдруг ядовитым смешком, прыгнула с несвойственной ее возрасту резвостью ко мне и, ухватив меня костлявыми руками за шею, стала пригибать к земле.

Удивительная вещь: я нисколько не испугался.

Я уже знал, что это сон.

И тут же, будто пораженная этим моим сознанием, старушка сразу свалилась с меня, а я побежал дальше, свободный, вольный и восхищенный сознанием, что все это сон и бояться мне нечего.

Действительно, добежав до какой-то реки, я прыгнул в воду и, нырнув, попал в ярко освещенную комнату; какие-то люди толпились в ней, громко разговаривая и смеясь.

Очень красивая дама подошла ко мне и положила обнаженные руки ко мне на плечи... Сладостное чувство охватило меня: я прижался щекой к ее гладкой голой руке, обвил рукой ее гибкую талию, припал к полуобнаженной груди и... проснулся, конечно, проснулся! Проснулся, когда не надо!..

Злость охватила меня... Я оказался в каком-то другом дурацком мире, я шел по какой-то неведомой дороге, которая неизвестно было — когда окончится.

В комнате было темно, а за стеной пробило десять часов.

Сплю я, или не сплю?..

Я вскочил с постели, умылся, оделся и выбежал с тяжелой головой на улицу.

Признаться ли: то, что красавица такая близкая, такая доступная, ускользнула из моих рук — страшно взбесило меня.

Когда я хотел прервать сон, он не прервался; когда я хотел его продолжить — проснулся.

И опять я шагал по улице, и опять с недоумением спрашивал себя: сплю я или не сплю.

Улица была почти пустынна. Только издали доносился топот чьих-то тяжелых ног и гортанный крик.

...В темноте показалось что-то громадное, массивное... Оно шло, издавая странный трубный звук. Я приостановился... Три слона цугом шагали ко мне, с какими-то странными попонами на спине. Человек в чалме прыгал и суетился около.

А сзади меня раздался серебристый голос:

— Вот они, наконец-то!

Я оглянулся: сзади меня стояла красавица в полном смысле слова: высокая, стройная с бледным очаровательным лицом и блестящими глазами.

Я потянулся к ней руками, обнял, и стал крепко целовать в губы и глаза. Полное чувство безответственности, безнаказанности пьянило меня странным сладким образом...

Но она закричала и вырвалась от меня... Я бросился к ней и побежал, как на крыльях, настигая беглянку, которая, как раненная птица, издавала отчаянные крики.

Я настигал, я настиг ее... Но грубые руки городового схватили меня и крепко встряхнули...

«Эх, — весело подумал я. — Хоть раз в жизни»...

И крепко ударил городового по лицу.

Тут случилось нечто, до такой степени реальное, что я был потрясен: городовой дал свисток, прибежали четыре дворника... Все толкали меня, хватали за руки, а красавица, плача, объясняла в это время сурово-настроенному после пощечины городовому, что она жена директора цирка, что она мирно стояла, ожидая своих слонов с вокзала, что я набросился на нее с явной целью лишить ее чести и что она требует отвести «этого мерзавца» в участок и дать делу дальнейший ход.

Когда нас вели в участок, я шел и думал, что пристав, увидев меня, станет на голову или превратится в старуху, набросится на меня и начнет душить, я по шаблону «вскрикну и проснусь».

Ничего подобного... Пристав был, как пристав, и он составил протокол и потом удостоверяли мою личность и, когда меня отпустили, я вернулся домой, опозоренный, вернулся преступником, над которым висит обвинение в «покушении на лишение чести женщины и в оскорблении городового при исполнении сим последним служебных обязанностей».

И теперь, хотя уже прошло с тех пор три дня, и я уже являлся на допрос — у меня в самой глубине души теплилась маленькая надежда: а вдруг я проснусь еще раз. Вдруг случится что-нибудь такое, от чего я «вскрикну и проснусь».

Дай Бог.

О НЕМЦАХ И ПРОЧЕМ ТАКОМ (1914)





САЛОПНИЦА

Существуют такие старушонки-салопницы, которых можно встретить на окраине маленького тихого городка, обязательно где-нибудь в гостях, и обязательно за чашкой бурого кофе, с жидкими, вероятно, специально для салопниц изготовленными, сливками...

Являются они в гости, со смиренно поджатыми дряблыми губами, искательным взглядом и крайне ласковыми благочинными повадками.

— Какой ваш Петенька-то стал, — медовым голосом замечают они, — большой-большой — совсем мужчина.

— Да, — улыбается довольная хозяйка. — Еще чашечку, Арина Ильинишна?

— Выпью, — соглашается Арина Ильинишна, жадными глазами впиваясь в вишневое варенье. — Это, что у вас... новые гардины?

— Да. Недавно купила. Нравятся?

— То есть, так бы весь век и глядела на эти гардины! Так бы и глядела!.. Глазу от них не отведешь. А супруг ваш — все на службе?

— На службе.

— Очень даже он замечательный человек! Редкий мужчина. Скромный, непьющий. Истинно, что вам Господь Бог счастие послал за вашу добрую душу и золотое сердце...

Пауза.

— А что я у вас матушка-хозяйка попрошу, — прерывает вдруг гостья молчание — не можете ли вы дать мне на недельку швейной машинки?.. А то мой Гришка совсем обтрепался... Обшить бы его...

— Что вы, Арина Ильинишна! Как же я могу дать, если она у нас каждый день в ходу: Семья-то — слава Богу... То то, то сё. С утра до ночи она у нас занята.

— Ну, на недельку могли бы!

— На три дня не могу, милая Арина Ильинишна. Верьте совести!

— Ах, так? Понимаю, понимаю...

— Что вы понимаете?

— Нет, уж... что там! Насквозь вижу вас. Это вы мне за то не хотите дать, что я вашему Петьке давеча, когда вы присылали, утюгов не дала. И не дам! Потому, я знаю вашего Петьку... Возьмет этот дылда утюги, да вместо того, чтобы вам снести — пропьет их...

— Не смейте так говорить о моем сыне!!

— А плевать я, матушка, хотела на твоего сына! Тоже он не очень важная птица! Если бы еще в отца был, а то — так... в проезжего молодца! Ты-то, милая моя (всему городу известно!), был грех — целый год с землемером хвосты трепала! Да и муженек твой тоже — сквозь пальцы смотрел, а? Тоже птица хорошая! Ему бы только в картишки играть... Да еще как он там и играет? Я, чай, больше из рукава карты таскает. А тебе я скажу вот что: ноги моей у тебя не будет, вот что! Чтоб вас тут всех громом побило, паршивцев!! Ты у меня давеча сковородку брала из кухни — отдай, пока я тебе бельма-то не выцарапала... Небось уже сбыла ее татарину, мошенница разнесчастная!! И чего, спрашивается, я таскалась в это гнилое семейство... Тьфу!!!

* * *

Это — салопница в обыденной жизни.

А вот — салопница мировая.

Когда у Германии с Англией произошел разрыв дипломатических сношений, император Вильгельм II (император же, все-таки!) написал в письме английскому послу:

«... Отныне буду считать для себя позором когда-нибудь надеть английский мундир»!

А совсем недавно эта вздорная немецкая салопница написала:

«Берлинское правительство доводит до сведения германского общества, что отныне Япония перестала сущест-

вовать для Германии, как страна, с которой следует поддерживать сношения, установившиеся между европейскими странами».

— И страна ваша жульническая, — кричал разгоряченный Вильгельм, запахивая полы своего поношенного халата, — и ноги моей у вас не будет, и всегда-то вы были продувным народишком... И носы-то у вас плоские, и скулы нехорошие. И все-то вы дрянь противоестественная!.. Тьфу на вас!!

Бедная растерявшаяся салопница.

СОЮЗНИК

Немецкий посланник при итальянском дворе пришел к итальянскому дипломату и сказал:

— А вам письмецо есть. Из Берлина.

— Мне? — удивился дипломат. — От кого бы это?

— Не вам лично, а вашему королю. От нашего короля.

Итальянский дипломат положил письмо на подоконник и сказал:

— Хорошо. Передам при случае.

— Нет, при случае нельзя. Это срочное письмо. Вы уж его сейчас прочтите.

— Как же я его прочту, — уклончиво заметил хозяин, — если оно адресовано не ко мне.

— Это все равно... Тут секретов нет от вас. Читайте, читайте!

Итальянский дипломат пожал плечами и распечатал письмо. Прочел:

— «Дорогой старина!»... Однако, — заметил он, отрываясь от письма, — как Вильгельм меня любит! Так прямо и называет: «Дорогой, говорит, старина»!

— Это он не вас, — забеспокоился немецкий посланник, — а вашего короля.

— Ах, да! Верно... Ну-с... чего он там дальше нацарапал? «У нас все благополучно, чего и тебе желаем»... Гм... да! Действительно. «Жена тебе кланяется. Все вспоминает о тебе:

какой, говорит, симпатичный, этот итальянский король... Красивый, говорит, такой. Детишки все здоровы, только кронпринц покашливает. У нас все благополучно. Вчера говорил речь народу. Ничего, речишка хорошая вышла. Последнее время дожди идут. В общем, все благополучно. Поехал я было в Ахен, потом вернулся. Скучновато там. У нас вообще, все благополучно. Как поживают твои итальянцы? Чудесный народ! Очень люблю их. Кланяйся там. У нас вообще все по-прежнему, благополучно. А что, было у вас затмение солнца? У нас было. Ты испугался или нет? Смешно как-то: день, а темно и звезды на небе. Но если не считать затмения, то, в общем, все благополучно. Ну, пока всего хорошего. Пиши, если будет время... Целую тебя несчетное число раз. Жена кланяется. Твой дружище Вилли.

P.S. Да! Чуть не забыл... Не можешь ли ты оказать мне маленькую услугу? Тут у нас завязалось нечто вроде войны с Францией, так я бы очень просил, чтобы ты двинул войска на французскую границу... Так себе, маленькая военная прогулка. Пожалуйста, сделай это. Очень обяжешь. Твой Вилли.

P.P.S. Ах, да! Кроме того, Россия, кажется, объявила нам войну. Ну, это пустяки.

P.P.S.S. Забыл сказать, что Англия тоже объявила войну. Ну, там, конечно, Бельгия, Япония — всякая мелочь, как водится. Целую. Твой В.

P.P.P.S.S. Моя жена кланяется твоей и говорит, что вышлет какие-то интересные выкройки. Жду».

Во время чтения письма немецкий посланник следил за итальянцем с затаенным беспокойством, а когда тот кончил, то спросил:

— Ну, что вы на это скажете?

— Да что скажу... Это нехорошо, что кронпринц кашляет. Молоко нужно с эмсом пить. Оно смягчает.

— Нет, я насчет этого вот... посылки ваших войск на границу.

— Каких войск?

— Да ваших же!

— Что вы! У нас и войск никаких нет.

— Как нет? Как же так без войск?

— Так вот и живем. Оно, конечно, неудобно, да что ж делать... Приходится мириться.

— Ну, я не понимаю: как же так, чтобы такая страна, как Италия, не имела войск?

— Представьте! Мне и самому странно. Даже, если хотите, обидно.

— И артиллерии нет?

— Какой артиллерии?

— Ну, пушки там, мортиры разные, гаубицы.

— Была одна пушка, да куда-то закатилась — искали-искали, так и махнули рукой.

— И кавалерии нет?!

— Это, которые на лошадях ездят?

— Да!!

— Таких нет. Да оно, по-моему, и страшно на лошадь садиться. На нее сядешь, а она и сбросит. Еще голову себе расквасишь.

— А вот я давеча, едучи к вам, видел двух солдат с перьями на голове... Шли по улице. А вы говорите... нет солдат...

— Ах, вы об этих говорите? Это чудаки какие-то. Надели на голову перья и ходят. Извольте, мы их пошлем на границу.

— А сколько их?

— Да ведь вы же двух видели? Два и есть.

— Это все, что вы можете сказать?

— Как все! — ахнул итальянец. — Я еще много могу сказать: передайте Вильгельму поклон, поцелуйте от меня кронпринца... Супруге ихней привет... Уходите? Что ж так? Посидели бы. Ну, всего вам наилучшего. Виноват, не сюда... Это камин. Левее дверь. Да нет, то окно!!! Отсюда неудобно. Ну, вот дверь. Джузеппе, пальто его светлости.

* * *

У румынского дипломата сидел немецкий посланник и говорил ему:

— А я, знаете, прогуливался по улице, — дай, думаю, зайду.

— И очень мило сделали, — кивнул головой румын. — Сигарку не желаете ли? Что слышно новенького?

— Да так... Ничего особенного. Впрочем, есть маленькая новость: у нас война.

— Слышал. С кем?

— Черт их знает, я уж и спутался. Франция, Англия, Россия, Бельгия...

— Все?
— Все.
— А Сербия?
— Разве и Сербия? — удивился немец. — Я и не знал даже.
— И Япония.
— И Япония?! Смотрите-ка! Первый раз слышу. Я, впрочем, за последнее время не читаю газет. Ничего интересного.
Немецкий посланник закурил сигару и спросил, сделав равнодушное лицо:
— Ну, а вы как живете?
— Ничего. Живем, хлеб жуем.
— Небось, о Бессарабии все мечтаете, плутишки?
— Нет, больше о Трансильвании.
— Трансильванию нельзя, что вы! Она наша. А Бессарабию можно. А? Как вы думаете?
— Ну, как сигарка? — спросил румынский дипломат.
— Ничего, спасибо. Хорошая страна Бессарабия. Богатая.
— Да.
— Ну, так как же вы?
— Ничего, спасибо. Живем, хлеб, как говорится, жуем.
— Нет, я не о том. Присоединяетесь к нам? Ей-Богу, правое дело защищаем.
Румын курил.
— Бессарабию получите. А?
— Нынче-то сигарки хорошие трудно доставать, — заметил румын. — Эта не суховата.
— Суховата. Так как же?
— Настоящие знатоки не любят особенно сухих сигар.
— Нет, я говорю насчет вашего выступления. Присоединяетесь?
— А то иногда бывает и так, — заметил румын. — Принесут тебе ящик сигарок... как будто контрабанда, продадут из-под полы, а потом глядишь: дрянь совершеннейшая.
— Кое-что могли бы мы вам и из славянских земель предложить. Поддержите, а?
— Впрочем, некоторые сигарам предпочитают папиросы. Вы как?
— Как я? Я говорю, что кончайте вашу мобилизацию, да и переходите с Богом границу. Ей-Богу, не раскаетесь. А?
— Вам не дует? — засуетился румын.
— Нет. Так как же, а?

— А то здесь как будто сквозняком тянет.

Повесив голову, долго молчал немецкий посланник.

Встал, вздохнул:

— Ну, пойду я.

— Что ж вы. Посидели бы. Всего хорошего. Нет, нет, это не шапка. Это диванная подушка. Шапка в передней. Ну, стоит ли так расстраиваться — плюньте, ей-Богу! Может быть, обойдется.

* * *

У болгарского дипломата сидел немецкий посланник и говорил:

— Что захотите, то вам и дадим. От Сербии кусок отщипнем — вам дадим; от Турции отщипнем — вам дадим. От Болгарии отщипнем — вам да...

— Как от Болгарии отщипнете?! — испугался болгарин. — Болгария-то, ведь, наша!

— Ах, да... верно. Ну, от Румынии отщипнем, от Италии.

— Мы бы и от Греции хотели, — заметил болгарин.

— И от Греции можно. Как только война кончится, сейчас же вам и прирежем.

— Как, когда кончится? Вы нам сейчас дайте.

— Да как же сейчас, когда еще ничего неизвестно. Вы только начните войну, а там уж видно будет...

— Нет, так нельзя. Мы, болгары, так не можем. Сначала дайте от Сербии кусок.

— Да поймите ж вы, чудак вы человек, что мы еще воюем с Сербией!.. Какой кусок мы можем вам отдать. Ну, берите ее всю. Хотите?

— Это незавоеванную-то?! Нет, вы раньше завоюйте.

— А на что вы нам тогда, когда мы все завоюем. Тогда вы нам не нужны.

— Ну, и не надо. Иначе мы не согласны.

— Я не понимаю: как же вы можете авансом просить то, что мы должны завоевать с вашей помощью?!

— Мало что вы не понимаете. А мы понимаем.

— Значит, — это отказ?

— Что вы! Это согласие, только на определенных условиях.

С тоской в глазах поднялся немец с кресла.

— Собираетесь уходить? Прощайте. Нет, нет — ему не надо подавать руки, это слуга. Да вы не расстраиваетесь.

* * *

Немецкий посланник сидел у турецкого дипломата и говорил ему:

— Ну, Турция-то, я надеюсь, нас поддержит?

— Сколько угодно! — горячо сказал турок.

— Нет, серьезно?

— Конечно! Мы любим Германию и все для нее сделаем!! Hoch!

— Спасибо. Сердечное спасибо. Мы уж вас не оставим, и если что понадобится...

— Понадобится! — торопливо подтвердил турок. — Прежде всего, деньги понадобятся.

— Маловато их у нас теперь, — поморщился немец, — ну, да ладно. Дадим.

— Съестных припасов тоже, — сказал турок.

— Так вот мы вам денег дадим, а вы себе на них и купите съестных припасов.

— Нет, деньги нужно отдельно, а припасы отдельно...

— Хорошо, — вздохнул немец. — Делать нечего!

— Оружие потом надо. Артиллерию.

— Неужели у вас нет?

— Милый, откуда?! Все младотурки раскрали. Броненосцы потом надо.

— Флота тоже нет?

— Милый, откуда?

— Ну, вы броненосцы можете у нас купить.

— Можно. Дадите денег, так мы купим.

— Странно это как то выходит. На наши же деньги... Ну, хорошо. Теперь все?

— Почти все. Да! Солдат еще нужно.

— А ваши солдаты?

— Какие там наши солдаты. Одна грусть.

— Позвольте, — задумчиво заметил немец. — Если мы даем вам деньги, вооружение, флот и солдат — какой от вас толк?

— А моральное удовлетворение, что хоть Турция да с вами?! Этого мало? Впрочем, если не хотите...

— Хотим! — испугался немец. — Ей-Богу, хотим!

И тут же от избытка чувства заплакал на плече турецкого дипломата.

Новый союзник одной рукой любовно обнял немца за талию, а другой деликатно вытащил из галстука плачущего немца бриллиантовую булавку...

ЛУЧ СВЕТА ВО ТЬМЕ

...Когда Вильгельм II вышел к министрам, лицо его сияло торжеством.

Вышел он, *немного сгорбившись и заложив большой палец правой руки за пуговицу жилета.* Стал *быстро* ходить по комнате, отчего полы его *серого сюртука* развевались.

Говорил быстро, отрывисто...

— А? Что? Министры? Хорошо! А? Да! Что? Большая радость! А? Да. Что? Прекрасное известие! Чудесное! А? Что? Вот, получил письмо!

Он вынул из-за борта своего серого сюртука большой пакет и, *откинув со лба прядь волос,* стал читать:

— Дорогой друг и брат! Знаю, что ты сейчас испытываешь затруднительное положение, и поэтому иду к тебе на помощь со всем своим войском... Надеюсь, что две мощных армии — твоя и моя — соединившись, отразят дерзких врагов с востока и запада! Два таких короля, как мы с тобой, не могут не победить!

Довольная улыбка заиграла на лице его.

— А? Что? Каково? Нет, я им еще устрою Аустерлиц!..

— От кого же это письмо? — спросил заинтересованный военный министр.

— А? Что? Я, признаться, не разобрал! Подпись неразборчива... Очевидно, от какого-то короля!

— Позвольте-ка мне... Тут подписано немного странно: «твой тетка В.».

— Не может быть, что бы «твой тетка», — усумнился морской министр. — Наверное — «твоя тетка»... Кто бы это мог быть? «В.»... «В.»...

— Может быть, Виктория? — робко спросил министр колоний.

— Какая там еще Виктория?!

— А эта вот... Английская королева Виктория...

— Какая же она ему тетка? И потом она ведь покойница?

— Да, положим, верно. Покойница.

— Ну, вот, значит, и не суйтесь со своими догадками. Безработный, а туда же!..

Министр колоний заморгал глазами и свесил печально голову.

— Кто бы это мог быть: «твой тетка В.»? Немножко татарский или турецкий оборот речи...

— Может быть, это турецкий султан пишет?

— Какая же он тетка нашему императору?! Все-то вы вздор говорите. Молчали бы лучше, безработный!..

— Ваше величество, — обиженно сказал министр колоний, — что они меня все дразнят... Скажите им!

— Ну, ну, господа, потише тут. Так вы думаете, что это письмо от турецкого султана?

— Не иначе.

— А почему же, действительно, подписано: «твой тетка»?

— Ну, турок — мало ли. Взял и написал. Может быть, он хотел этим просто подчеркнуть, что относится к вам, как любящая тетя к племяннику.

— А почему ж инициал стоит: «В.». Ведь турецкий султан вовсе не «В.».

— И то верно. А знаете что? Давайте, возьмем карту обеих полушарий и посмотрим — из какой страны могли это написать? Берите красный карандаш, зачеркивайте те страны, которые не могли написать. Ну, конечно, — Германия и Австро-Венгрия — зачеркнули?

— Есть.

— Теперь зачеркните всех, кто с ними воюет: Россия, Франция, Англия, Бельгия, Сербия, Япония... Уф! Диктуйте вы, секретарь, я устал.

— ...Есть? Теперь зачеркивайте страны, объявившие нейтралитет.

— Есть. Зачеркнуто.

— Ну, какие страны остались?

— Соединенные Штаты, Турция, Сиам и Абиссиния...

— Так-с... Ну, Сиам и Абиссиния, конечно, вздор... А вот Северная Америка... Позвольте! Как там зовут президента?

— Вильсон.

— Ну, вот! Он, значит, и написал.

— Предположим, — критически заметил морской министр. — Но опять-таки: какая же он тетка нашему императору?

— Да... Соображение правильное. Ваше величество! Вы не в родстве с Вильсоном?

— Именно?

— Ну... не приходится ли он вам, гм!.. Теткой. Эти династические родственники так перепутались...

— Мм... не думаю. Впрочем, можно навести справку.

— Да нет, господа, это вздор! Не может же президент Соединенных Штатов, интеллигентный человек, и вдруг написать, как торговец рахат-лукумом: «Твой тетка».

— И то верно.

— Да позвольте!! — вскричал вдруг министр колоний. — Откуда вы взяли, что тут написано: «тетка»? По-моему, тут стоит «тезка»!

— Ну, конечно!

— Эх, ты, голова с мозгами: «тетка»... Конечно, — тезка. «Твой тезка В.».

— Значит, Вильгельм? Кто же из королей носит еще имя Вильгельм?

— Вильсона-то как зовут?

— Что вы пристаете с вашим Вильсоном? Вудро его зовут!

— Ну, вот. Может быть, по нашему — Вильгельм, а по ихнему, по-американскому — Вудро.

— Очень возможно, по-нашему, по-немецки, министр колоний, а по-ихнему, по-американски — лошадь.

— Ваше величество! Прошу меня оградить... Я не намерен вовсе...

— Господа! Прошу тише!.. Это невыносимо!! Прошу исполнить то, что я вам скажу! Хотя мы и не можем пока выяснить имени короля и название страны, которая благородно и великодушно идет нам на помощь, но, тем не менее, факт посылки нам вооруженной помощи и обещание содействия — налицо. Я, конечно, пока воздержусь от опубликования моему народу этого письма полностью, но в общих чертах мы обязаны ознакомить немцев с этой радостной вестью. Заведующий прессой — распорядитесь!

* * *

В тот же вечер по всем берлинским улицам носились тучи мальчишек, у которых нарасхват раскупались следующие телеграммы:

«Доводим до сведения нации, что одна мужественная и великодушная держава идет к нам на помощь. Название этой державы, а равно и имя ее благородного короля — пока по тактическим соображениям опубликовать невозможно. Подписано: Вильгельм II, император Германский, курфюрст Бельгийский, владетельный князь Либавский».

Ясный теплый закат окрашивал печальным светом неубранные поля и пустынную дорогу, по которой ехали на ослах два всадника.

Один был высок, длинноног и тощ, другой широк в плечах, толст и ростом ниже первого.

Высокий, худой — с виду казался начальником, толстый же по наружному виду больше походил на подчиненного, оруженосца длинного.

Ослы медленно брели по пыльной дороге, а всадники тихо беседовали между собой, изредка приподымаясь на стременах и вглядываясь вдаль.

— Теперь, вероятно, уже недалеко до Берлина?

— Да. Я думаю, близко.

— То-то, вероятно, Вильгельм мне обрадуется.

— А еще бы. Ему, я полагаю, сейчас, ой-ой, как круто приходится.

— Да... Уж такова наша королевская участь! — вздохнул длинный, подбирая ноги в сапогах, подошвы которых шаркали об укатанную дорогу...

— Приятный сюрприз вы ему устроите, — заметил толстый.

— Это мой долг. Короли должны в беде помогать друг другу.

— Я думаю, что и он вам поможет, а? Как вы думаете?

— Надеюсь.

— И тогда вы мне заплатите жалованье за два месяца.

— Ой, Додо, смотри, — пригрозил длинный всадник. — Будут на том свете черти за твое корыстолюбие жарить тебя на серебряной сковородке.

— Там еще видно будет. А сейчас мне без жалованья никак невозможно.

Желая замять разговор, длинный всадник приподнялся на стременах и спросил:

— Что это за кирпичные дома там виднеются?

— А это уже городские дома. К Берлину подъезжаем.

Подъехали...

* * *

У королевского дворца толстый первым спрыгнул с осла и взбежал по ступенькам.

— Доложи, — сказал он слуге, — что к его величеству король приехал!

Услышав голоса, Вильгельм выглянул из дверей и с любопытсом спросил:

— Кто приехал?

— Я, — сказал толстяк. — Мое имя Пренк-Биб-Дода. А со мной король. Приехал к вашему величеству, как союзник...

— Какой король?

— Обыкновенный албанский король, ваше величество... Мбрет Вид.

— Тьфу! — плюнул Вильгельм. — Вот не было печали... Где же он?

— Да вот, из окна можете видеть. На осле.

— Вот этот?

— Ну, да. Тот, что наверху, тот Мбрет Вид, а что внизу, под ним — тот осел, — пояснил обстоятельный Пренк-Биб-Дода. — Прикажете пригласить его величество?

Взор Вильгельма померк.

— Э, да уж все равно... Зови.

* * *

В передней собрались все министры.

— Его величество Мбред Вид, — доложил церемониймейстер.

— Свидание двух королей, а? Это не фунт изюму, — подтолкнул локтем общительный Пренк-Биб-Дода одного из министров. — Историческая минутка, а? Дозвольте папироску — смерть курить хочется.

— Что вы! Как же можно при королях курить, — возразил укоризненно министр.

— Э, видали мы их!.. За два месяца жалованье не плачено... Прямо хоть с моста, да в воду!

— Ваше величество! — сказал Вид, приближаясь к Вильгельму. — Две могущественные нации — немецкая и албанская, — протягивают друг другу руки. В союзе с нами вы победите весь мир, хотя бы он состоял из дьяволов! Вся Албания, как один человек, встала на защиту Германии.

— Врет и не краснеет, — шепнул непосредственный Пренк своему соседу, министру.

— Почему?

— Да ведь нас с ним еще на прошлой неделе из Албании выставили... Насилу мы ноги унесли.

— Как же он говорит, что вся Албания «как один человек», встанет за Германию?

— Как один человек? Это — он обо мне говорит.

Растроганный Вид продолжал:

— Ваше величество! Албанский король (он указал на себя), албанское войско (указал на Пренка-Биб-Доду), албанская артиллерия (хлопнул себя по поясу, за которым был заткнут пистолет), албанская кавалерия (подошел к окну и указал на двух понурившихся ослов) — все это, ваше величество, к услугам Германии!!

— Только чтоб жалованье за два месяца заплатили, — напомнил деловой Биб-Дода.

Но голос его был заглушен десятком глоток, из которых вырвалось могучее, как лесной ураган:

— Hoch!!

Растроганный Вильгельм утер слезу и сделал знак, что хочет говорить.

— Господа! — сказал он. — Благодарю мужественный албанский народ за то, что... за то... Ну, одним словом, как говорится — с паршивой собаки хоть шерсти клок!..

И, махнув рукой, император удалился во внутренние апартаменты...

....

СТРАНА ПРОСТОФИЛЬ

— Это что же эт-то такое, а? — угрюмо спросил русский, упершись кулаками в боки.

— Да, действительно! Как назвать этот поступок? — подхватил француз, подозрительно поглядывая на болгарина.

— Нечего сказать, — хороши, — покачал головой огорченный, в свою очередь, англичанин. — Разве можно так поступать?

— А еще славяне! — упрекнул серб.

— Немцы вы, — болгары, — а не славяне, — съязвил черногорец.

Болгарин замахал руками.

— Тише, господа, тише! Не все сразу... В чем дело?

— Нечего прикидываться, — с горечью сказал русский. — Будто не знаете...

— А вот же, ей-Богу, не знаю, — воскликнул болгарин, ударив себя в грудь кулаком. — Да в чем дело, господа? На что вы обижены? Кажется, нейтралитет я держу...

— Держите?! Нечего сказать, хорошо держите... А зачем шестьсот немецких солдат через свою страну в Турцию пропустили?

— Это не мы пропустили, — сказал болгарин. — Это, наверное, какая-нибудь другая страна пропустила. Это Норвегия пропустила.

— Не говорите вздора! Где Норвегия, а где Турция! Мы имеем сведения, что это вы пропустили их через свою страну.

— Во-первых, мы их через свою страну не пропускали, — внушительно заявил болгарин. — Во-вторых, их было не шестьсот, а пятьсот девяносто восемь! А в-третьих, когда они проезжали, мы не знали, что это немцы.

— Кто же они такие были, по-вашему? Едут из Германии в Турцию, взяли целый поезд, говорят по-немецки.

— А мы думали, что это — американцы!

— Да, ведь, по-немецки же они говорили?!

— Ну, да. Мы думали, что это — образованные американцы, которые на разных языках говорят.

— Почему же вы у них никаких документов не спросили? Ведь, теперь время тревожное!

— Мы забыли. Захлопотались, знаете. До того ли.

— Ну, отговариваться вы можете, как угодно, а нейтралитет вы все-таки в пользу Германии нарушили!

Болгарин заплакал.

— Грех вам нас обижать. Мы — народ маленький, все нас угнетают... А тут вы еще нас ругаете. Грех вам!

— А зачем немцев пропустили?

— Что вы пристали — зачем, да зачем? Вот мы сейчас дипломатическое объяснение вам напишем — вы и узнаете, зачем.

Через несколько часов союзникам был представлен следующий официальный документ болгарского правительства:

«Болгарское правительство самым категорическим образом утверждает, что оно не имело никаких сведений о предполагавшемся проезде немцев или иностранцев в специальном поезде».

«Болгарское правительство считает необходимым протестовать против подозрений, которые могли бы быть вы-

сказаны относительно искренности его решения соблюдать строжайший нейтралитет»*.

— Врут, наверное, шепнул француз русскому. — Белыми нитками шито.

— Ну, ладно, — сказал русский. — Но только, чтобы это было последний раз.

— Господи! Да разве ж мы, что же! Нешто ж мы! Куда же это!.. Да не доведи Господи! Да если что, так уж что же это будет!.. Уж будьте покойны! Маковой росинки во рту не будет.

— До маковых росинок и до вашего рта нам нет дела... Маковых росинок может быть во рту сколько угодно. А немцев пропускать не имеете права. Слышите?

Болгарин поклонился и ударил себя кулаком в грудь так, что внутри что-то зазвенело.

Он покраснел и подумал про себя:

— Эки черти эти немцы! Платят золотом — не могли чеком заплатить!

— Что это у вас звенит?

— В груди что-то неладно. Годы мои уж не те.

Русский, француз, англичанин, серб и черногорец пожевали губами и, ничего не сказав, ушли.

На пограничной болгарской станции происходила страшная суматоха: немецкие драгуны загоняли в товарные вагоны своих лошадей, грузили на платформы пушки, садились сами в вагоны и вообще шумели невыносимо.

Шумели так, что подошел даже начальник станции в сопровождении двух болгарских офицеров.

— Что это вы, братцы? — спросил он, почесывая затылок.

— В Турцию едем, — отвечал командир.

— А вы кто же... турки?

— Нет, мы так... вообще.

— Кто же вы по национальности?

— Мы оптимисты.

— А-а. Не был там. Не знаю. Сколько же вас?

— Нас-то? А полторы тысячи.

— Зачем же вы едете все вместе?

— Да так компанией, знаете, веселее.

— Это и верно. Вы извините, что я вас так подробно допрашиваю, но время сейчас тревожное, мы держим ней-

---

* Дословное объяснение болгарского правительства.

тралитет, и нам нельзя допускать, чтобы немцы проезжали в Турцию. Вы, значит, не немцы?

— Мы драгуны.

— Не был, не знаю. А что это за странная у вас одежда? У всех одинаковая.

— Мода у нас такая.

— Красивая мода. Красные штаны, голубые куртки... Очень мило! А что это у вас на плечах такие штучки с номером? Для чего это?

— А это номер дома, где живет каждый.

— А это, знаете, не так глупо! Скажем, человек напился пьяный, ни «папа», ни «мама» не говорит... Где он живет? Куда его отвезти? Неизвестно! А тут — поглядел на плечо — вот он где! А знаете?.. Меня удивляет только одна вещь...

— Что именно?

— Зачем это у вас сбоку такие длинные кривые ножики висят?..

— Это для разрезания книг. Читаешь, скажем, книгу, а она неразрезанная. Возьмешь и разрежешь.

— Образованные, — восторженно шепнул начальник станции болгарскому офицеру. — Слышали?

— Да! — с уважением качнул головой болгарский офицер. — Если у них такой длины ножи для разрезания книг — какой же величины должны быть книги!..

Начальник станции в это время хозяйским оком заглядывал во все вагоны...

Остановился. Удивился.

— Господи, Ты Боже мой! Это ваше?

— Наше.

— Что это такое?

— Это? Позвоночное, однокопытное.

— А совсем, как лошадь.

— Что вы! Как можно... Разве мы допустим.

— Для чего ж вы их везете?

— Просто привыкли к ним. Будем по улице на ленточке водить.

— Чудеса в решете! Если бы вы не сказали, что это позвоночное однокопытное, — прямо бы можно подумать, что лошадь.

— Да, ведь, на лошади ездят? — спросил командир драгун.

— Ну, да. Ездят.

— А это само сейчас ехать будет. Какое же оно — лошадь?

— И то верно.

Потом начальник станции взглянул на одного солдата и улыбнулся.

— Что вы?

— Какая у него смешная штука за плечами. Вроде дудки, а внизу на конце деревянное...

— Да... Хорошая штука. Машинка для снимания сапог.

— Что вы говорите! Как же их снимать?

— Очень просто. Вы сразу поймете. Берется эта штука и ставится в угол. Потом человек садится на стул или на кровать и снимает рукой сапог.

— Ловко удумано! Этакую штуку только немец и мог выдумать. Да, послушайте... Может, вы немцы?

— Говорят же вам, что мы кавалеристы.

— Не знаю, не был. А это что? Ой-ой... какие большие. Это ваше?

Немец погладил рукой дуло пушки и сказал:

— Наше.

— Что это такое? Первый раз вижу: труба, колеса, ящики какие-то...

— Да это труба.

— Для чего ж она?

— Труба-то?

— Да.

— На солнце смотреть.

— Зачем?

— Это астрономический прибор, понимаете? Будем наблюдать затмение солнца.

— Эва! Хватились... Да, ведь, затмение было!

— Что вы говорите?!

— Конечно. Уже недели две, как было...

— Экая досада! Даром только таскать с собой придется, — вздохнул командир.

— Жаль мне вас, — сочувственно засмеялся начальник станции. — Влопались вы! Ну, сделаю вам, так и быть, одолжение. Ничего не возьму за провоз этих штук!

— Спасибо. Вы бы уж и за людей ничего не брали. Ну, за что, в самом деле? Ведь, они такие же люди, как и мы с вами... Вагонов вам не испортят... А паровоз, все равно, даром гуляет.

— Положим, это верно, — нерешительно сказал начальник станции. — Ну, ладно. Поезжайте так. Когда-нибудь сочтемся!

Поезд тронулся...

* * *

— Опять вы пропустили полторы тысячи немецкой кавалерии?! До каких пор это будет продолжаться? И амуницию? На что это похоже?!

— Так это... пушки были? — вскричал обескураженный болгарин. — То-то мы смотрели, как будто дуло... колеса... А они говорят, что это для затмения солнца!.. Значит, это немцы были?

— Немцы!!! Конечно, немцы!!!

— Кто бы мог подумать?! Ну, и народ... Всякого вокруг пальца обведет. А уж, кажется, мы так осторожны были — все расспросили...

— Свинство это, вот что я вам скажу!!

— Грех вам так на нас кричать. Конечно, нас всякий обидеть может, всякий унизить может, а за что, спрашивается? За то только, что мы простой, беззащитный народ!.. Да?..

КОРСИКАНЕЦ

Император Вильгельм долго ходил по кабинету... Изредка подходил к электрическому звонку, протягивал руку, но сейчас же и отдергивал.

Наконец решительно подошел к звонку, пробормотал сквозь зубы какое-то немецкое слово и позвонил.

— Что прикажете, ваше величество?

— Почему мне ничего не докладывают о победах?

— «Черта лысого тебе доложишь, если побед нет», — подумал адъютант, а вслух, как немец обстоятельный, спросил:

— О победах с чьей стороны прикажите доложить, ваше величество?

— Глупый вопрос! Ступайте.

И снова зашагал, погруженный в задумчивость Вильгельм.

* * *

— Ну, что?
— Изволили звонить, ваше величество?
— Да. Ну, что?
— А что?
— Победили?
— Пока нет.
— Глупый ответ. Ступайте.

* * *

— Ну, что?

— Звонили, ваше величество?

— Э, черррт! Не мог же звонок сам зазвонить?! Конечно, звонил. Ну, как?

— Имею честь поздравить ваше величество с победой!!

— Да, что ты говоришь?! Приятно, приятно... Где? Кто? Как?

— На русской границе, ваше величество. Полная победа немецкого оружия! Немецкие войска уже в Эйдкунене!!

— Молодцы ребята! Рад, рад... Только постой... Ведь, Эйдкунен наш?

— Так точно. Наш.

— Так какая же это победа, если Эйдкунен наш?

— Как какая победа? Обыкновенная. Немецкие войска уже в Эйдкунене; вы подумайте, а?

— Тут что-то странное... Ведь до войны Эйдкунен был наш?

— Наш.

— Ну, вот! Какая же это победа, если и был наш, и есть наш?

— Гм... да... Что-то тут такое случилось... Действительно странное... Однако, генеральный штаб сообщает именно в этих выражениях: «Немцы уже в Эйдкунене. Полная победа немецкого оружия!»

— Загадочно.

— А, может быть, случилось так, ваше величество: Эйдкунен, действительно был наш, а потом его взяли русские, а потом мы взяли у русских.

— Черт знает, ничего тут не разберешь. Гм!.. Ну, ладно, пусть победа...

— Hoch, ваше величество!

— Hoch, так hoch! Только вы бы лучше не тут кричали, а там, на улице... Ступайте.

* * *

— Ну, что?

— Изволили звонить, ваше величество?

— Нет, вот взял да ногой нечаянно зацепил за звонок! Раз был звонок, значит звонил! Ну, как?

— Имею честь донести — полная победа германского оружия! Немцы уже в Дрездене!!

— Как... в Дрездене? Ведь, Дрезден-то какой город? Немецкий?

— А еще бы, ваше величество, конечно, немецкий!.. Раз уж немцы ворвались в город, поневоле город будет немецким. Hoch! Hoch!

— Что вы тут кричите, как осел!.. Вы лучше скажите, какая это победа, если Дрезден и раньше был немецким городом?..

— Разве?..

— Да, ведь, Дрезден-то все время был нашим?..

— Действительно, нашим.

— Ну, какая же это победа, если наши войска в нашем же городе?

— Чудеса! Действительно, если хорошенько разобраться... Войска — наши и город — наш. Наши войска вошли в наш же город... Действительно, какая же это победа?.. Ничего особенного. А знаете, на первый взгляд, когда эти мальчишки с телеграммами орут: «Полная победа! Неприятель бежит: наши войска уже в Дрездене» — так кажется, что и, впрямь мы победили... Теперь-то я вижу, что тут дело не ладно!.. И потом меня уже смущает эта фраза: «Неприятель бежит!» Как бежит? Куда бежит? Хорошо, если от нас бежит... А если он за нами бежит? Довольно туманно...

— Надоели вы мне вашими рассуждениями. Ступайте!

* * *

— Изволили звонить, ваше величество?

— Нет, это муха села на кнопку! Молния ударила в проволоку! Звонок сошел с ума и сам звонит!! Ух, как вы мне все надоели!.. Конечно, звонил! Ну, что нового?

— Победа за победой! Наши войска уже под Кельном!

— Черти вас раздери с такой победой! Кельн-то, ведь, наш?!

— Ну, так что? И слава Богу, что наш.

— Что ж тут особенного, если наши же войска под нашим же Кельном. Где тут, к чертям собачьим, победа?

— А по-моему, если бы не наши, а русские войска стояли под Кельном — вот это было бы поражение. А раз стоят наши — и слава Богу!

— Значит, по-вашему — победа?

— Обязательно. Hoch!

— Ну, черт с вами — hoch!

* * *

Немецкий отряд, делая разведку, поймал в поле русского мужика.

— Стой! — сказал командир. — Всыпьте ему, ребята! Дайте ему хорошенько... Бейте сначала по спине, по животу, а потом расквасьте ему голову. Вот так... Разбейте ему корпус, ребятки!.. Hoch!

— Hoch!

— Что это у него там в узелке? Хлеб? Мясо? Забирай его!..

* * *

— Чего вы ко мне врываетесь, как казак, без доклада? Я, ведь, не звонил!

— Срочное известие, ваше величество! Победа! Наш отряд разбил русский корпус!!

— Как разбил?

— На голову. И захватил обоз с хлебом и мясом... Неприятель бежал.

— А сколько было этого неприятеля?

— Вообще, неприятель... Бог его знает сколько. Только доносит главный штаб, что русский корпус разбит совершенно наголову, неприятель вырвался и убежал.

— Свершилось, — прошептал Вильгельм, скрестив руки на груди и загадочно глядя в даль. — Я — второй Наполеон.

* * *

— Звонили, ваше величество?

— Нет, нечаянно письменный стол уронил на кнопку звонка. Звонил-с!! Скажите мне... только откровенно... Похож я на Наполеона?

— Да Господи же... как две капли воды!..

— Ну, серьезно?

— Да ей-Богу. Прямо я, как зашел сюда, так и думаю: кажется, Наполеон сидит... Как же это он попал сюда?

— Нет, вправду?

— Да уж будьте покойны. Даже я испугался. Что это, думаю, за наваждение: Наполеон давно мертвый, а, между прочим, сидит в кабинете нашего императора... Hoch!

— Что?

— Я говорю: hoch!

— Ну, ладно, надоел... Ты мне лучше скажи вот что: в лице-то у меня есть что-нибудь наполеоновское?

— Ваше величество! Масса! Так вот глядишь и думаешь: Корсиканец! Форменный корсиканец!

— Ну, уж ты скажешь тоже... А вот у меня усы, а тот был бритый...

— А это мы в один момент сделаем... Эй, портной! Парикмахер!

* * *

— Пока что, надо бы мне несколько фраз для потомства сочинить, а? Как ты думаешь?

— Да хорошо бы... У Наполеона и у других — их уйма... Вот, например, хорошая фраза: «В мои годы Александр Македонский завоевал весь мир».

— Ты скажешь тоже! Как я могу это «воскликнуть», если вдвое старше Александра Македонского... Молодому Наполеону хорошо было это говорить...

— Ну, скажите что-нибудь вроде: «Нет больше Пиренеев».

— Как так нет? Ведь они есть?

— Я не знаю. Так вообще говорится... Ну, скажите: «Нет больше Москвы!».

— Неудобно. Я скажу: «Нет больше Москвы», а мне ответят: «Нечего там врать — есть Москва».

— Да... это действительно... «После меня, хоть потоп» — не то. «Америка для американцев» — не то... Черт его знает, чем раньше люди прославлялись?... Возьмет какой-нибудь Алкивиад, отрубит хвост собаке — и знаменит! Высечет

Ксеркс плетями море — и знаменит! Поставит Колумб яйцо на стол — и знаменит! А попробуйте вы это сделать!..

— Да уж... Отрублю я хвост собаке — скажут: «Экий дурак, этот Вильгельм! И зачем только собаку мучает». Высеку море — смеяться будут: «С ума сошел, скажут, этот Вильгельм... Как дитя малое... Самого бы его хорошенько!»...

— Идея! Соберите побольше солдат ваше величество, да и загните им: «Ребята! Сорок веков смотрят на вас с высоты этих пирамид!».

— Каких пирамид?

— Ну, пирамиды построить можно...

— Да, ведь, пирамиды совсем свежие будут... Нет, нехорошо. Громоздко... Для одной фразы... Нет, я знаю, что я скажу!.. «Ребята, — скажу я, — ребята! Всыпьте, как следует, этим русским свиньям!».

— Великолепно, ваше величество! Образно, крепко и сильно. Hoch! Прикажете записать для потомства?

* * *

— Ну вот... Мы сейчас сделаем из вас Наполеона... Парикмахер! Брей ему усы!

— Что вы! Неужели, мои прекрасные, знаменитые усы пропадут?

— Не пропадут... Мы их на лоб вам наклеим. Знаете, знаменитый наполеоновский клок волос на лбу... У нас ничего не пропадет! Каска? Каску мы снимем, пусть себе под кроватью стоит... Сюртук! Есть сюртук? Так... серый?... Серый. Натягивайте! Что? В груди широк? Что?! В животе тесно?.. Ничего. Зато наполеоновский... Панталоны теперь надевайте... Да осторожнее. Шпоры! Шпоры! Эх, вы... Все панталоны шпорами разорвали!.. Так... Треуголку ему на голову. Эх-ма! До плеч она вам... Велика! Ну, ничего. Подложим внутрь десяток телеграмм о наших победах — она и будет на голове держаться... Теперь сделайте умное лицо... Трудно? Ну, ничего, постарайтесь! Ну, сойдет. Руку заложите за борт сюртука. Так. Заложили? Хорошо, что рука есть; а то скоро нечего будет и закладывать... Готово? Все? Ну, вот. Прямо форменный Наполеон. Теперь только...

— Что? Что «только»?

— Теперь только остается перевезти вас на остров св. Елены, — и все будет, как следует!!

. . . .

ЦЕЛЬ, КОТОРАЯ ОПРАВДЫВАЛА СРЕДСТВА

Войдя в кабинет, я увидел странную картину: хозяин дома Канапухин вместе с тремя друзьями сидел за большим пустым столом, посредине которого, как остров среди безбрежного моря, высилась небольшая копилка, — сидел и молчал.

Молчали и все три гостя.

Изредка только кто-нибудь из сидящих лукаво улыбался, но тотчас же незаметным усилием сгонял улыбку с сияющего лица.

— «Типичное заседание идиотов», — подумал я, а вслух сказал:

— Как? Вы сидите все вместе и никто из вас не пьян??! И батарея пустых бутылок не красуется среди вас?

Зрелище, действительно, было редкостное...

— Будешь тут пьян, — проворчал гость Клинков, — когда нигде не достанешь никакого напитка!

— Не пить же политуру, — криво улыбнулся Громов. — Иль лак.

— Хотя я предлагал Громову купить лакированный комод на рынке и нализаться лаку в буквальном смысле слова.

— Глупо. Ты уже этот дешевый каламбур разнес по всему Петербургу.

Раздался звериный рев и несколько рук, схватив копилку, протянули ее сказавшему.

Тот пожал плечами, вынул рубль, опустил в копилку и испытующе поглядел на меня.

— Ты ничего не знаешь?

— Ничего, — отвечал я, немного удивленный всем предшествующим.

— И ни о чем не догадываешься?

— Н... нет.

— Ну, то-то. Где ты сейчас был?

— Гулял по улицам. Вы знаете, города просто не узнать...

— Какого города? — спросил Громов с дурацким удивлением.

— Как, какого? Нашего же; Петербурга.

И опять, как прежде, раздался радостный полузвериный рев. Несколько рук снова схватили копилку и протянули ее мне.

— Клади рубль!

— Опускай, опускай, не кочевряжься!

— Господа! За что?..

— Сказал «Петербург», вместо «Петрограда!» Мы установили штраф за это — один рубль.

— Да вы что тут делаете?

— А вот сидим, разговариваем, подкарауливаем друг друга... Кто ошибется в разговоре — снимаем с него рубль.

— В чью пользу?

— В пользу семейств запасных.

Я опустил рубль в кружку и сейчас же хладнокровно заявил:

— Считаю это неправильным.

— Почему?

— Очень просто. Где, по-вашему, должна находиться центральная организация помощи семействам запасных всей России?!

И я с силой стукнул кулаком по столу.

— Как где? — удивился простоватый Клинков. — Ясно где — в Петербурге!

— Положи рубль в копилку! Зачем сказал — «Петербург»?..

— Изволь, я положу. Но только не понимаю, почему ты не согласен.

— Теперь, когда ты положил рубль, я согласен. Только это мне и нужно было... А теперь, господа, бросим и поговорим серьезно. Вы знаете, у меня большое горе.

Я упал на стул, охватил голову руками и тихо застонал.

Все заметно встревожились.

— Что такое?!

— В чем дело?!

— У меня пропал без вести брат...

— Где пропал?!. В Германии?

— Нет...

— В Австрии?

— Нет, нет... Здесь он пропал...

— Где же он жил?

— Да здесь же, Господи! — вскричал я с лицом, искаженным отчаянием.

— Где же здесь? В России?

— Да...

— Где же именно в России?

— Да здесь же, Боже ты мой!

— Где «здесь»? Это понятие растяжимое...

— Грех вам издеваться надо мной, — простонал я, тихо рыдая. — Если я говорю здесь — значит, здесь.

— Да где же здесь? В Петербурге, что ли?!!

Я отнял руки от лица, вытер глаза платком и усмехнулся.

— Опусти рубль. Сказал «Петербург».

— Ах, черт! Опять я попался. — У меня уже и рублей не осталось. Ну все равно разменяю... Так, где же он жил –то?

— Кто? — удивился я.

— Да брат твой!!

— Нигде он не жил. У меня и брата нет...

— А как же ты говорил...

— Ничего... Соврал. В пользу семейств запасных — не грешно.

— Тьфу!!

Все рассмеялись, но тотчас же, насторожившись, поглядели на меня...

— Ну, серьезно — довольно, — устало сказал я. — Подурачились и будет. А то ведь так и разговора нельзя вести.

— А, может, ты опять какую-нибудь гадость подстроить хочешь, — недоверчиво сказал Клинков.

— А ты не спи, — усмехнулся я. — Положим вы, южане, все сонные.

— Кто это южанин? — изумился Клинков.

— Да ты же!

— Я! С самого рождения был петербуржцем и...

— Опусти рубль!!!

— То есть, петроградцем, я хотел сказать.

— Поздно. Опусти рубль!

— У меня три рубля. Рубль я, положим уже должен...

— А ты ошибись еще раз. Как раз и выйдет три рубля.

— Ни за что!

— Очень мило!.. Очевидно, тебе рубля на этакое дело жалко. Вот москвичи не такие...

— Почему?..

— Вы знаете, сколько Москва собрала в день флагов? Свыше трехсот тысяч!!

— Так в Москве зато два дня собирали.

— Ну, так что же?

— А не один день?

— Причем здесь один день?

— В один день меньше наберешь.

— Кто наберет?

— Всякий.

Я помолчал, немного разочарованный.

— Гм... да! А зато в Москве продавали флаги всех держав...

— И у нас тоже! — ревниво возразил Клинков.

— Где это у вас? Во втором Парголове? В Мустамяках?

— Зачем в Парголове... Здесь.

— Да где? Где здесь?

— В Петрограде, — усмехнулся Клинков.

— Это называется — уйти парадом против переднего пояса, — засмеялся хозяин.

— Бог с ним, — добродушно махнул я рукой. — Все-таки я преклоняюсь перед москвичами. А еще говорят, что они сухой, черствый народ, что все они помешаны на чинах, что все сплошь бюрократы.

— Кто говорит это о москвичах? — не утерпел Клинков, завозившись в кресле.

— Все говорят, — подтвердил я, тупо глядя на него.

— Чепуха! Это, скорей, типичные петербургские черты, которые...

— Тсс! Вот теперь ты можешь опустить все три рубля... И сдачи не нужно. А в остальном ты, конечно, прав.

— Опустить я опущу, но только ты свинья. И разговаривать с тобой не хочу!

— Ну, ладно... Теперь уж серьезно — бросим. Надоело. Читали последние телеграммы?

Все обрадовались перемене разговора облегченно вздохнули, сдвинулись ближе и заговорили...

— Читали вы, господа, сообщение, — сказал я, — что Вильгельм послал Турции триста миллионов марок.

— Первый раз слышу...

— Нет, серьезно... Об этом есть даже телеграмма из этого города... как его?

— Копенгагена?

— Нет... Вот: из Спа.

— Откуда же в Спа могут знать об этом? — скептически заметил Клинков.

— В Спа-то? В Спа все знают, — уверенно сказал я. — Ведь оттуда почти все телеграммы.

— Первый раз слышу! Причем тут Спа? Городишко маленький, о котором ничего не слышно...

— Как не слышно?! — горячо подхватил я. — А почему же все телеграммы помечаются в скобках «(СПА)»?!

Это был не смех... Это было скорее ржание стада лошадей.

Клинков упал на Громова, а хозяин с Подходцевым откинулись на спинки стульев, задыхаясь от хохота.

Я недоумевающе глядел на них, что еще более усиливало их веселое настроение.

— В чем дело, господа? — тщетно вопрошал я. — Что такое?

— Да пойми же ты...— отдуваясь, простонал хозяин, — дерево ты этакое... что... ох не могу! Что... «СПА» — это не название города, а сокращенное наименование агентства, которое дает телеграмму: с. — петербургское агентство!!!

— Опусти рубль! — сурово сказал я.

— Ах, черт, — спохватился хозяин. — Теперь уже я ошибся...

— Это только и требуется! — цинично заметил я.

С кислой миной хозяин уплатил штраф и сказал:

— Ну, теперь уж я, как хозяин, говорю — довольно. А то этак мы разоримся.

— Довольно, так довольно, — благодушно согласился я. — О чем же говорить?

— О литературе! Ну слова о войне, о столице — никаких хитростей!

— Что же мы будем говорить о литературе, когда сейчас никто ничего не читает, кроме газет.

— Извините, — возразил я. — Это, может быть, ты не читаешь, а я читаю.

— Что ж де ты читаешь?

— Крестовского перечитываю. Очень талантливо написано.

— Ну и вкус!..

Опять воцарилось недолгое молчание.

— А правду говорят, — с любопытством спросил я, — что он заимствовал у Помяловского несколько глав из «Панургова стада».

— Не из «Панургова стада», — поправил экзальтированный Клинков, — а из «Петербургских трущоб»!

— Из «Петроградских», — поправил я. — Опусти рубль.

На другой день мы с Клинковым свезли в комитет помощи семьям запасных 67 рублей.

Читатели! Я уверен, что не вся Россия прочтет этот фельетон... Поэтому идею, вложенную в него, предлагаю для эксплуатации. Если, благодаря этому, несколько лишних тысяч попадут на долю семейств запасных — никто роптать не будет.

Ритористы скажут, что теперь не время веселиться.

Но никогда еще цель так основательно не оправдывала средств, как в данном случае.............................

....



О ХОРОШИХ, В СУЩНОСТИ, ЛЮДЯХ (1914)





ЮМОР ДЛЯ ДУРАКОВ

Это был солидный господин с легкой наклонностью к полноте, с лицом, на котором отражались уверенность в себе и спокойствие, с глазами немного сонными, с манерами, полными достоинства, и с голосом, в котором изредка прорывались ласково-покровительственные нотки.

— Вот вы писатель, — сказал он мне, познакомившись. — Писатель-юморист. Так. Наверное, знаете много смешного. Да?..

— О, помилуйте...— скромно возразил я.

— Нечего там скромничать. Расскажите мне какую-нибудь смешную штуку... Я это ужасно люблю.

— Позвольте... Что вы называете «смешной штукой»?

— Ну, что-нибудь такое... юмористическое. Я думаю, вы не ударите лицом в грязь. Слава Богу — специалист, кажется! Ну, ну... не скромничайте!

— Видите ли... Я бы мог просто порекомендовать вам прочесть книгу моих рассказов. Но, конечно, не ручаюсь, что вы непременно наткнетесь в них на «смешные штуки».

— Да нет, нет! Вы мне расскажите! Мне хочется послушать, как вы рассказываете... Ну, что-нибудь коротенькое. Вот, наверное, за бока схватишься!..

Я незаметно пожал плечами и неохотно сказал:

— Ну, слушайте... Мать послала маленького сына за гулякой-отцом, который удрал в трактир. Сын вернулся один, без отца — и на вопрос матери: «Где же отец и что он там делает?» — ответил: «Я его видел в трактире... Он сидит там с пеной у рта». — «Сердится, что ли?» — «Нет, ему подали новую кружку пива».

Не скажу, чтобы эта «смешная штука» была особенно блестящей. Но на какой-нибудь знак внимания со стороны моего нового знакомого я все-таки мог надеяться. Он мог бы засмеяться, или просто безмолвно усмехнуться, или даже, в крайнем случае, покачать одобрительно головой.

Нет. Он поднял на меня ясные, немного сонные глаза и поощрительно спросил:

— Ну?

— Что «ну»?

— Что же дальше?

— Да это все.

— Что же отец... вернулся домой?

— Да это не важно. Вернулся — не вернулся... Все дело в ответе мальчика.

— А что, вы говорите, он ответил?

— Он ответил: отец сидит там с пеной у рта.

— Ну?

— Видите ли... Соль этого анекдота, сочиненного мною, заключается в том, что мальчик ответил то что называется — буквально. Он видел кружку пива с пеной, кружку, которую отец держал у рта, и поэтому ответил в простоте душевной: «Отец сидит с пеной у рта». А мать думала, что это — фигуральное выражение, сказанное по поводу человека, которого что-нибудь взбесило.

— Фигуральное?

— Да.

— Взбесило?

— Да.

— Ну?

— Что еще такое — «ну»?

— Значит, мать думала, что отец за что-нибудь сердится, а он вовсе не сердится, а просто пьет себе преспокойно пиво.

— Ну да.

— Вот-то ловко! Ха-ха! Ну, и здорово же: она думает, что он сердится, а он вовсе и не сердится... Хо-хо! Вообще, знаете, эти трактиры.

— Что-о?..

— Я говорю — трактиры. Если еще холостой человек ходит, так ничего, а уж женатому, да если еще нет средств — так трудновато... Не до трактиров тут. Тут говорится: не до жиру, быть бы живу.

Я молчал, глядя на него сурово, с замкнутым видом.

Человек он был, очевидно, вежливый, понимавший, что в благодарность за рассказанное автор имеет право на некоторое поощрение.

Поэтому он принялся смеяться:

— Ха-ха-ха! Уморил! Ей-Богу, уморил. Папа, говорит, в трактире пену пьет, сердится... А мать-то, мать-то! В каких дурах... О-ох-хо-хо! Ну, еще что-нибудь расскажите.

«Э, милый, — подумал я. — Тебя такой вещью не проберешь. Тебе нужно что-нибудь потолще».

— Ну я вас прошу, расскажите еще что-нибудь...

— Ладно, в один ресторан пришел посетитель. Оставив в передней свой зонтик и боясь, чтобы его кто-нибудь не украл, он прикрепил к ручке зонтика такую записку: «Владелец этого зонтика поднимает одной рукой семь пудов... Попробуйте-ка украсть зонтик!» Пообедав, владелец зонтика вышел в переднюю и — что же он видит! Зонтик исчез, а на том месте, где он стоял, приколота записка: «Я пробегаю в час пятнадцать верст — попробуйте-ка догнать».

Любитель «смешных штучек» поощрительно взглянул на меня и сказал:

— Ну и что же? Догнал он похитителя или нет?

Я вздохнул и начал терпеливо:

— Нет, он его не догнал. Да тут и не важно дальнейшее. Вся соль анекдота заключается именно в курьезном совпадении этих двух записок. Автор первой, видите ли, думал, что он непобедим, рассчитывая на свои здоровые руки, и никак он не рассчитывал, что здоровые ноги гораздо важнее.

— Важнее?

— Да.

— Сколько он там написал, что пробежит в час?

— Пятнадцать верст.

— Это много считается?

— Порядочно.

— А ведь поймай этот первый-то владелец зонтика похитителя в то время, как тот писал записку, он бы ему задал перцу, а? Тут и ноги не помогут, а?

— Не знаю.

— Это, наверное, было давно, я думаю? В прежнее время? Теперь-то ведь в передних ресторанов всюду швейцары, которые и отвечают за пропажу вещей.

— Да.

— Теперь все как-то сделалось культурнее. Положим, раньше-то и воровства было меньше. А?

— Да.

Мы помолчали.

— Вопрос еще, догнал ли бы он похитителя, если бы даже и умел бегать быстрее его. Потому что раньше нужно узнать, в какую сторону он побежал, да не свернул ли с дороги, а то мог просто припрятать зонтик, да и отпереться от всего: «знать не знаю, ведать не ведаю — никакого зонтика не воровал и никакой записки не писал».

— Да.

По моим сухим, сердитым репликам любитель анекдотов почуял, что я им не совсем доволен, и, решив, по своему обыкновению, щедро вознаградить меня смехом, — неожиданно захохотал.

— Ха-ха! Ох-хо-хо! Ну и уморил. Выходит он — где зонтик? Хвать-похвать, а зонтика-то и нет. Ну и ловкие ребята бывают. Прямо-таки пальца в рот не клади. И откуда вы столько смешных штучек знаете?! Ну расскажите еще что-нибудь. Ну пожалуйста, ну миленький...

— Рассказать? — прищурился я. — Извольте! Один господин, явившись на обед к родителям своей невесты и страдая от тесной обуви, снял потихоньку под столом с ноги башмак, но в это время собачонка схватила башмак да бежать, а жених испугался, вскочил, опрокинул стол, причем миска с горячим супом опрокинулась на тещу, — и помчался за собачонкой. По дороге он разбил дорогую вазу, а потом, желая достать для разутой ноги какой-нибудь башмак, ударил тестя ногой в живот, повалил его и стал стаскивать с ноги ботинок. Но оказалось, что у тестя одна нога была искусственная, и вдруг она отрывается вместе с ботинком, и наш жених грохается на пол, обрывая портьеру; но в это время собачонка с башмаком во рту...

Дальше я не мог продолжать: нечеловеческий страшный хохот душил моего нового знакомого. Он буквально катался по дивану, отмахиваясь руками, ногами, задыхаясь и кашляя. Лицо побагровело, и на глазах выступили слезы.

— О-ох, — визжал он тонким голосом. — Довольно. Ради Бога, довольно! Вы меня убьете вашим рассказом!..

* * *

Раньше я не понимал: для чего и кому нужны десятки тысяч метров кинематографических лент, на которых изображены: солдат, попавший в барабан и заснувший там; рассеянный прохожий, опрокидывающий на своем пути детские колясочки и влюбленные парочки; свадебный обед, участникам которого шутник насыпает за ворот «порошок для чесания»; молодой человек, которого кусает блоха во время объяснения с невестой и который начинает бегать по комнате, ловя эту блоху; пьяный, залезший в матрац и катающийся в таком положении по людной улице, — для чего и кому все это нужно? — я не понимал.

Теперь — понимаю.

БЕЛЬМЕСОВ

I

— Иван Демьяныч Бельмесов, — представила хозяйка.

Я назвал себя и пожал руку человека неопределенной наружности — сероватого блондина, с усами, прокопченными у верхней губы табачным дымом, и густыми бровями, из-под которых вяло глядели на Божий мир сухие, без блеска, глаза тоже табачного цвета, будто дым от вечной папиросы прокоптил и их. Голова — шишом, покрытая очень редкими толстыми волосами, похожими на пеньки срубленного, но не выкорчеванного леса. Все — и волосы, и лицо, и борода — было выжжено, обесцвечено — солнцем не солнцем, а просто сам по себе человек уж уродился таким тусклым, невыразительным.

Первые слова его, обращенные ко мне, были такие:

— Фу, жара! Вы думаете, я как пишусь?

— Что такое?

— Вы думаете, как писать мою фамилию?

— Да как же, Бельмесов.

— Сколько «с»?

— Я полагаю — одно.

— Нет-с, два. Моя фамилия полуфранцузская. Бельмессов. В переводе — прекрасная обедня.

— Почему же русское окончание?

— Потому что я все-таки русский, как же! Ах, Марья Игнатьевна, — обратился он, всплеснув руками, к хозяйке. — Я сейчас только с дачи, и у нас там, представьте, выпал град величиной с орех. Прямо ужас! Я захватил даже с собой несколько градин, чтобы показать вам. Где бишь они?.. Вот тут в кармане у меня в спичечной коробке. Гм!.. Что бы это значило? Мокрая...

Он вынул из кармана совершенно размокшую спичечную коробку, брезгливо открыл ее и с любопытством заглянул внутрь.

— Кой черт! Куда же они подевались? Я сам положил шесть штук. Гм!.. И в кармане мокро.

— Очень просто, — засмеялась хозяйка. — Ваши градины растаяли. Нельзя же в такую жару безнаказанно протаскать в кармане два часа кусочки льда.

— Ах, как это жалко, — сказал Бельмесов, опечаленный. — А я-то думал вам показать.

Я взглянул на него внимательнее и сказал про себя: «Однако же и хороший ты гусь, братец мой. Очень интересно, чем такой дурак может заниматься?»

Я спросил по возможности деликатно:

— У вас свое имение? Вы помещик?

— Где там, — махнул он костистой, с ревматическими узлами на пальцах рукой. — Служу, государь мой. Состою на службе.

Очень у меня чесался язык спросить: «На какой?» — но не хотелось быть назойливым.

Я взглянул на часы, попрощался и ушел.

II

О Бельмесове я совершенно забыл, но на днях, придя к Марье Игнатьевне, застал его за чаем, окруженного тремя стариками, которым он что-то оживленно рассказывал:

— Франция, Франция! Что мне ваша Франция! Да у нас в России есть такие капиталы, обретаются такие богачи, которые Франции и не снились. Только потому, что мы скромнее, никуда не лезем, ничего не кричим, — о нас и не знают. А во Франции этот Ротшильд, что ли, все время на том и стоит, чтоб какую-нибудь штуку позаковыристее выкинуть. Купит тысячу каких-нибудь там белых собак,

напишет краской на брюхе у каждой «Вив ля Франс!» да и выпустит на улицу. А парижане и рады. Или яхту купит, приделает к ней колеса да по Нотр-Даму и катается с неграми. Этак, конечно, всякий обратит внимание... А у нас народ тихий, без выдумки, без скандалу. Хе! Богачи, богачи... слышал ли, например, кто-нибудь из вас о таком волжском помещике — Щербакине?

— Нет, не слышали, — отозвался один из стариков. — А что?

— Да как же... Расскажу я вам такой случай: еду я пароходом по Волге. Проезжаем мы однажды приблизительно этак по Мамадышскому уезду. Выхожу я утром, умывшись и напившись чаю, на палубу, смотрю на берег, спрашиваю: «Чья земля?» — «Помещика Щербакина». Хорошо-с. Проходит этак часа два. Я уже успел позавтракать. Брожу по палубе, взглянул на берег: «Чья земля?» Отвечают тамошние волжские пассажиры: «Помещика Щербакина». Ого, думаю. Эк тебя разбросало. Сел я обедать, съел, что полагалось, выпил две рюмки водки, пошел для моциону бродить по пароходу. Спрашиваю: «Чья земля?» — «Помещика Щербакина». Что за черт, думаю. Очевидно, миллионер, а я о нем ничего не слышал. Спрашиваю: «Богатый?» — «Нет, говорят, так... средней руки». Что ж вы думаете? И ночью я спрашивал: «Чья земля?» — и на другой день утром — все говорят: «Помещика Щербакина». И это у них называется «помещик средней руки»... Вот это края! Какие же у них должны быть «помещики большой руки»?

— Что ж, долго еще тянулись «земли помещика Щербакина»? — недоверчиво спросил я.

— Да до самого обеда следующего дня. Тут как раз другой пароход подошел, нас с мели снял, поехали мы — тут скоро шербакинские земли и кончились.

— А вы долго на мели просидели? — спросил рыжий старик.

— Да сутки с лишним. Чуть не два дня. Волга-то летом в некоторых местах так мелеет, что хоть плачь. Чуть пароход мелко сидит в воде — сразу же и сядет. Которые глубоко сидят в воде, тем легче...

— То есть наоборот, — поправил рыжий.

— Ну да, то есть наоборот, которые мельче пароходы, тем труднее, а глубокие ничего... Да-с. Вот вам и Ротшильд!

Я встал, отозвал хозяйку в сторону и сказал:

— Ради Бога! Откуда у нас появился этот осел?

Марья Игнатьевна немного обиделась:

— Почему же осел? Человек как человек.

— Но ведь у него мозги чугунные.

— Не всем же быть писателями и сочинять рассказы, — сухо заметила она. — Во всяком случае, он приличный человек, хотя звезд с неба и не хватает.

Я пожал плечами, отошел от нее и подошел сейчас же к отбившемуся от компании старичку в вицмундире с какой-то белой звездой, выглядывавшей из-под лацкана вицмундира.

— Кто такой этот Бельмесов? — нетерпеливо спросил я.

— А как же! У нас же служит.

— Да кем? Что он делает?

— А как же. Инспектором у нас в уездном училище. Где я директором состою. Дока.

— Это он-то дока?

— Он. Вы бы посмотрели, как он на экзаменах учеников спрашивает. Любо-дорого посмотреть. Уж его не надуешь, не проведешь за нос. Ен, как говорится, достанет. Посмотрели бы вы, каким он орлом на экзамене...

— Много бы я дал, чтобы посмотреть! — вырвалось у меня.

— В самом деле хотите? Это можно устроить. Завтра у нас как раз экзамены — приходите. Посторонним, правда, нельзя, но мы вас за какого-нибудь почетного попечителя выдадим. Вы же, кстати, и пишете — вам любопытно будет... Среди учеников такие типы встречаются... Умора! Смотрите только нас не опишите! Хе-хе! Вот вам и адресок. Право, приезжайте завтра. Мы гласности не боимся.

III

За длинным столом, покрытым синим сукном, сидело пятеро. Посредине любезный старик с белой звездой, а справа от него торжественный, свеженакрахмаленный Бельмесов, Иван Демьяныч. Я вскользь осмотрел остальных и скромно уселся сбоку на стул.

Солнце бегало золотыми зайчиками по столу, по потолку и по круглым, стриженым головенкам учеников. В открытое окно заглядывали темно-зеленые ветки старых деревьев и приветливо, ободрительно кивали детям: «Ничего,

мол. Все на свете перемелется — мука будет. Бодритесь, детки...»

— Кувшинников, Иван, — сказал Бельмесов. — А подойди к нам сюда, Иван Кувшинников... Вот так. Сколько будет пятью шесть, Кувшинников, а?

— Тридцать.

— Правильно, молодец. Ну, а сколько будет, если помножить пять деревьев на шесть лошадей?

Мучительная складка перерезала загорелый лоб Кувшинникова Ивана.

— Пять деревьев на шесть лошадей? Тоже тридцать.

— Правильно. Но тридцать — чего?

Молчал Кувшинников.

— Ну, чего же — тридцать? Тридцать деревьев или тридцать лошадей?

У Кувшинникова зашевелились губы, волосы на голове и даже уши тихо затрепетали.

— Тридцать... лошадей.

— А куда же девались деревья? — иронически прищурился Бельмесов. — Нехорошо, тёзка, нехорошо... Было всего шесть лошадей, было пять деревьев и вдруг — на тебе! — тридцать лошадей и ни одного дерева... Куда же ты их дел?! С кашей съел или лодку себе из них сделал?

Кто-то на задней парте печально хихикнул. В смехе слышалось тоскливое предчувствие собственной гибели.

Ободренный успехом своей остроты, Иван Демьяныч продолжал:

— Или ты думаешь, что из пяти деревьев выйдут двадцать четыре лошади? Ну, хорошо: я тебе дам одно дерево — сделай ты мне из него четыре лошади. Тебе это, очевидно, легко, Кувшинников, Иван, а? Что ж ты молчишь, Иван, а? Печально, печально. Плохо твое дело, Иван. Ступай, брат!

— Я знаю, — тоскливо промямлил Кувшинников. — Я учил.

— Верю, милый. Учил, но как? Плохо учил. Бессмысленно. Без рассуждений. Садись, брат Иван. Кулебякин, Илья! Ну... ты нам скажешь, что такое дробь?

— Дробью называется часть какого-нибудь числа.

— Да? Ты так думаешь? Ну, а если я набью ружье дробью, это будет часть какого числа?

— То дробь не такая, — улыбнулся бледными губами Кулебякин. — То другая.

— Откуда же ты знаешь, о какой дроби я тебя спросил? Может быть, я тебя спросил о ружейной дроби? Вот если бы ты был, Кулебякин, умнее, ты бы спросил, о какой дроби я хочу знать: о простой или арифметической?.. И на мой утвердительный ответ, что о последней, — ты должен был ответить: «Арифметической дробью называется — и так далее»... Ну, теперь скажи ты нам, какие бывают дроби?

— Простые бывают дроби, — вздохнул обескураженный Кулебякин, — а также десятичные.

— А еще? Какая еще бывает дробь, а? Ну, скажи-ка.

— Больше нет, — развел руками Кулебякин, будто искренне сожалея, что не может удовлетворить еще какой-нибудь дробью ненасытного экзаменатора.

— Да? Больше нет? А вот если человек танцует и ногами дробь выделывает — это как же? По-твоему, не дробь? Видишь ли что, мой милый... Ты, может быть, и знаешь арифметику, но русского языка — нашего великого, разнообразного и могучего русского языка — ты не знаешь. И это нам всем печально. Ступай, брат Кулебякин, и на свободе кое о чем подумай, брат Кулебякин... Лысенко! Вот ты, Лысенко, Кондратий, скажешь нам, что тебе известно о цепном правиле? Ты знаешь цепное правило?

— Знаю.

— Очень хорошо-с. Ну, а цепное исключение тебе известно?

Лысенко метнул в сторону товарищей испуганным глазом и, повесив голову, умолк.

— Ну, что же ты, Лысенко? Ведь говорят же, нет правила без исключений. Ну, вот ты мне и ответь, есть в цепном правиле цепное исключение?

* * *

Стараясь не шуметь, я отодвинул стул, тихонько встал и, сделав общий поклон, направился к выходу.

Любезный директор с белой звездой тоже встал, догнал меня в передней и сказал, подмигивая на экзаменационную комнату:

— Ну как?.. Не говорил ли я, что дока? Так и хапает, так и режет. Орел! Да только жалко, не жилец он у нас... Переводят с повышением в Харьков. А жалко... Я уж не знаю, что мы без него и делать будем?.. Без орла-то!

МНЕМОНИКА В ОБИХОДЕ

...Я отхлебнул глоток ликера из тонкой хрупкой рюмочки и, разнеженный, утомленный плотным завтраком, спросил со сладкой истомой:

— Значит, завтра утром вы мне позвоните по телефону?

— Да, да, конечно, — ответил мне приятель. — А, кстати, — какой номер вашего телефона?

— Хорошо, что вспомнили — в книжке он не значится. Запишите: пятьдесят четыре — двадцать шесть.

Приятель пожал плечами с выражением заправского лентяя:

— Зачем же записывать? Я и так запомню. Как вы говорите?

— Пятьдесят четыре — двадцать шесть.

Он вслушался внимательно в эту цифру и медленно повторил:

— Пять-де-сят че-ты-ре двад-цать шесть. Для одного человека немного.

— Не забудете? — спросил я недоверчиво.

— Ну, чего ж тут забывать. Дело простое: шестьдесят четыре — двадцать шесть.

— Не шестьдесят четыре, а пятьдесят четыре.

— Ага! Пятьдесят четыре... Значит, так: первая половина пятьдесят четыре, вторая двадцать шесть; значит, первая половина вдвое больше второй.

— Что вы! Вторая половина, умноженная на два, дает не пятьдесят четыре, а только пятьдесят два.

— Ага! — согласился приятель глубокомысленно. — Тогда это просто: значит, вторая половина множится на два и к произведению прибавляется два. Видите, как просто.

— В этой простоте есть недостаток, — критически заявил я. — По вашей системе вы можете звонить по номеру двадцать шесть — двенадцать.

— Ну, что вы! Почему?

— То же самое выйдет: вторая половина множится на два и к произведению прибавляется два.

— Ах, черт возьми, действительно... Какой, вы говорите, ваш номер?

— Пятьдесят четыре — двадцать шесть.

— Ну вот. Значит, первым долгом нужно укрепить в памяти вторую половину номера и отсюда уже исходить. Вторая половина — какая?

— Двадцать шесть.

— Прекрасно. Цифра двадцать шесть. Как же ее запомнить? Предположим, у меня на руках и на ногах двадцать пальцев... Затем — шесть. Как же запомнить шесть?

— Запомните, — посоветовал я, — что шесть — это перевернутое девять.

— Вы думаете? — спросил приятель сосредоточенно. — Нет, это не годится: если шесть суть перевернутое кверху ногами девять, то и девять суть перевернутое кверху ногами шесть.

Я, как мне показалось, нашел выход.

— Знаете что? Возьмите карандаш, клочок бумажки и запишите.

— Нет, зачем же. Можно и так запомнить. Вы видите, как просто: для того чтобы найти первую половину цифры, нужно вторую половину помножить на два и прибавить двойку же. Теперь весь вопрос, как запомнить вторую половину... Гм! Предположим, двадцатипятирублевая бумажка и серебряный рубль... Итого двадцать шесть...

— Сложно, — забраковал я. — Сколько вам лет?

— Тридцать два.

— Тридцать два? Так, так... Значит, если вычтем из тридцати двух двадцать шесть, у нас получится... шесть! Видите? Значит, вычитая из цифры ваших лет цифру шесть, вы получите искомую вторую половину.

— Это, конечно, хорошо, но как я запомню цифру шесть?

— Ну, вот... такого пустяка не запомните!

— Конечно. Почему шесть, а не восемь, не пять?

— Ну, можно запомнить так: у вас на руке пять пальцев и... ну, и еще серебряный рубль.

— Нет, этак, пожалуй, запутаешься: тридцать два года, пять пальцев и один рубль. Как это так возможно: из моего возраста вычитать пять пальцев? Абсурд!

— Тогда запоминайте сами, — обиженно возразил я.

— И запомню.

— Человек! Дайте вместо этой сладкой дряни какого-нибудь другого ликера. Бенедиктину, что ли.

— Вот и запомнил, — обрадовался приятель. — Вторая половина вашего телефона — равняется количеству букв в слове «бенедиктин».

— Что вы! Там нужно тридцать, а в слове «бенедиктин» всего одиннадцать букв.

— Ну, значит, прибавить к количеству букв в слове «бенедиктин» еще цифру два и помножить на два.

— Ой-ой, как сложно! Вы потом так запутаетесь, что с ума сойдете. Я вам советую запомнить не «бенедиктин», а «бенедиктинчик». Во-первых, оно звучит ласковее, а во-вторых, оно имеет ровно тринадцать букв.

Он сосредоточенно нахмурился.

— Как вы говорите? Бенедиктинчик... Черт знает какое глупое слово. Значит, два бенедиктинчика, помноженные на два, плюс цифра два... Нет, эту систему придется бросить. Подойдем с другой стороны. Какой номер вашего телефона?

— Пятьдесят четыре — двадцать шесть.

— Мой отец умер пятидесяти семи лет, а старшая сестра двадцати одного года. Пятьдесят семь — двадцать один... Значит, отец умер на три года позже телефона, а сестра не дотянула до второй половины вашего телефона на пять лет.

— Зачем вы трогаете покойников! — кротко упрекнул я. — И как сестра ваша могла «не дотянуть до второй половины моего телефона на пять лет». Нет, это можно сделать гораздо проще: сумма цифр пятидесяти четырех равняется девяти, и сумма цифр двадцати шести равняется восьми.

— Ну? — скептически протянул приятель.

— А сумма цифр восьми и девяти равняется семнадцати.

— Ну-с? — ледяным тоном поощрял приятель.

— А сумма цифр семнадцати равняется... восьми.

— Что же из этого следует?

Я растерялся под его холодным взглядом...

— Ну, значит, восемь... Запомните цифру восемь. Пять и три... или четыре и четыре...

— Ну-ссс?..

— Я не могу так, когда вы на меня смотрите иронически. Вы меня нервируете!.. Тогда считайте сами.

— Сделайте одолжение! Я уже знаю; это очень просто. Крымская война была в котором году?

— В пятьдесят четвертом.

— Ну, вот вам! Если теперь мы из Тридцатилетней войны вычтем цифру четыре... Гм... Только как бы мне запомнить цифру четыре?

Он стал раздражать меня.

— Очень просто, — усмехнулся я. — Вычтите из пяти пальцев серебряный рубль.

Он холодно возразил:

— Эту систему мы уже забраковали.

— Так запишите в книжку просто цифру четыре.

— Действительно...— обрадовался он, но тотчас же, заметив мою ядовитую улыбку, спохватился: — Нет, зачем же записывать... я и так запомню... Гм... Четыре... Нашел! Четыре страны света! Итак, Крымская война, а затем Тридцатилетняя, минус четыре страны света. Вот видите, как просто!

Встретился я с ним через три дня в фойе театра.

— Что ж это вы, — с упреком сказал я. — Обещали позвонить, я сидел, ждал, как дурак, а вы и думать забыли?

В его голосе прозвучало плохо скрытое раздражение.

— А вы-то тоже хороши... Я не знал, что вы даете номера телефонов ваших возлюбленных!!

— Вы... в уме?

— Вот вам и в уме. Позвонил я, спрашиваю: «Это номер пятьдесят четыре — два?» «Да», — говорит мужской голос. Я, конечно, прошу вас. «Позовите, — говорю, — Илью Ивановича Брандукова». Вдруг мужской голос как заорет: «Убирайтесь к черту с вашим Брандуковым. Я и так догадывался о его шашнях с моей женой, а тут еще и по телефону сюда к нему, как домой, звонят. Скажите, что я его отколочу при первой же встрече!!»

Я разозлился не на шутку.

— А кой черт просил вас звонить по телефону пятьдесят четыре — два, когда мой телефон пятьдесят четыре — двадцать шесть.

— Ну-у?.. — Да позвольте... Ведь я запоминал: Крымская война. Так?

— Так.

— Потом Семилетняя.

— Тридцатилетняя, черт вас подери, Тридцатилетняя.

— Что вы говорите?! То-то, когда я вычел пять частей света...

— Вот идиотство!! Не пять частей света, а *четыре страны* света. Если память куриная, нужно было не тянуть жилы, а просто вынуть карандаш да и записать номер телефона!! Записать, а не ссорить меня с номером пятьдесят четыре — два!!

Разозлился и он.

— И вы-то тоже хороши! Позвонил я по первому попавшемуся номеру и сразу наткнулся на вашу любовную историю. Значит, по теории вероятности, если в Петербурге шестьдесят тысяч телефонов...

— О, — скромно возразил я. — Вы забываете торговые учреждения, банки и департаменты...

Но он и тут меня срезал.

— Э, милый мой! Теперь и в департаментах женщины служат!

Против этого ничего нельзя было возразить.

МОПАССАН
(*Роман в одной книге*)

I

Недавно часов в двенадцать утра моя горничная сообщила, что меня спрашивает по делу горничная господина Зверюгина.

Василий Николаевич Зверюгин считался моим приятелем, но, как всегда случается в этом нелепом Петербурге, с самыми лучшими приятелями не встречаешься года по два.

Зверюгина не видал я очень давно, и поэтому неожиданное получение весточки о нем, да еще через горничную, очень удивило меня.

Я вышел в переднюю и спросил:

— А что, милая, как поживает ваш барин? Здоров?

— Спасибо, они здоровы, — сверкнув черными глазами, ответила молоденькая недурной наружности горничная.

— Так, так... Это хорошо, что он здоров. Здоровье прежде всего.

— Да уж здоровье такая вещь, что действительно.

— Без здоровья никак не проживешь, — вставила свое слово и моя горничная, вежливо кашлянув в руку.

— Больной человек уж не то, что здоровый, — благосклонно ответила моей горничной горничная Зверюгина.

— Где уж!

Выяснив всесторонне с этими двумя разговорчивыми девушками вопрос о преимуществе человеческого здоровья над болезнями, я наконец спросил пришлую горничную:

— А зачем барин вас прислал ко мне?

— Как же, как же! Они записку вам прислали. Ответа просили.

Я вскрыл конверт и прочел следующее странное послание:

«Прости, дорогой Аркадий, что я долго не отвечал тебе. Дело в том, что, когда мы в прошлом году встретились случайно в театре Корша, ты спросил у меня, не могу ли я тебе одолжить сто рублей, так как ты, по твоим словам, не мог получить из банка по случаю праздника денег. К сожалению, у меня тогда не было таких денег, а теперь есть, и, если тебе надо, я могу прислать. Я знаю, как ты аккуратен в денежных делах. Так вот, напиши мне ответ. Пиши побольше, не стесняйся. Моя горничная подождет. Твой Василиск».

«Судя по письму, — подумал я, — этот Василиск или сейчас пьян, или у него начинается прогрессивный паралич».

Я написал ему вежливый ответ с благодарностью за такую неожиданную заботливость о моих делах и, передавая письмо горничной, спросил:

— Ваш барин, наверное, тут же живет, на Троицкой?

— Нет-с. Мы живем на двадцать первой линии Васильевского Острова.

— Совершенно невероятно! Ведь это, кажется, у черта на куличках.

— Да-с, — вздохнула горничная. — Очень далеко. Прощайте, барин! Мне еще в два места заехать надо.

II

На третий день после этого визита горничная около часу дня снова доложила мне:

— Вас спрашивает горничная господина Зверюгина.

— Опять?! Что ей надо?

— Письмо от ихнего барина.

— Впустите ее. Здравствуйте, милая. Ну, как дела у вашего барина?

— Дела ничего, спасибо. Дела хорошие. Да уж плохие дела — это не дай Господь.

Моя горничная тоже согласилась с нею:

— Хорошие дела когда, так лучше и хотеть не надо.

Отдав дань этикету, мы помолчали.

— Письмо? Ну, давайте.

«Радуюсь за тебя, дорогой Аркадий, что деньги тебе сейчас не нужны. Между прочим: когда ты был весной прошлого года у меня, то забыл на подзеркальнике пачку газет («Новое время», «Речь» и др.), а также проспект фирмы кроватей «Санитас». Это все у меня случайно сохранилось. Если тебе нужно — напиши. Пришлю. Обнимаю тебя. Ну, как вообще? Пиши побольше. У тебя такой чудесный стиль, что приятно читать. Любящий Василиск».

Я ответил ему:

«Три года тому назад однажды в ресторане «Малоярославец» ты спросил меня: который час? К сожалению, у меня тогда часы стояли. Теперь я имею возможность ответить тебе на твой вопрос. Сейчас четверть второго. Не стоит благодарности. Что же касается газет, то, конечно, я хожу без них сам не свой, но из дружбы к тебе могу ими пожертвовать. Именно — передай их своей горничной. Пусть она обернет тебя ими и подожжет в тот самый момент, когда ты ее снова погонишь за не менее важным делом. Спи только на кроватях фирмы Санитас!»

— Скажите, милая, — спросил я, передавая горничной письмо, — вы только ко мне ездите или еще к кому?

— Нет, что вы, барин! У меня теперь очень много дела. Мне еще нужно съездить сегодня на Безбородкинский проспект, а потом в Химический переулок. Это где-то на Петергофском шоссе.

— Черт знает что! А в Химический переулок нужно не к Бройдесу ли?

— Да-с, к господину Бройдесу.

— Ага! Так этот Бройдес через час будет у меня. Оставьте ему письмо, я передам.

— Премного благодарю. А то это действительно... Отсюда часа полтора...

III

Приехал Бройдес.

— Данила, — сказал я. — Вот тебе письмо от Зверюгина.

— Ты знаешь, этот Зверюгин — он с ума сошел, — пожал плечами Бройдес. — Его вдруг обуяла самая истерическая деликатность, внимательность и аккуратность. Он буквально заваливает меня письмами. Я бы на месте его горничной давно сбежал.

— Он и тебе тоже пишет?

— А разве и тебе? Представь себе, третьего дня я получил письмо с запросом: не знаю ли я, где находится главное управление по делам местного хозяйства, — справку, которую можно навести в любой телефонной книге, у любого городового. А вчера присылает мне рубль восемьдесят копеек с письмом, в котором сообщает, что вспомнил, как мы с ним в прошлом году ездили на скачки в Коломяги и я якобы платил за мотор три рубля шестьдесят копеек. Я уверен, что с ним делается что-то нехорошее...

— Посмотри-ка, что он тебе сегодня пишет.

Бройдес прочел:

«Дорогой Данила! У меня к тебе большая просьба: не знаешь ли ты адрес Аркадия Аверченко — никак я не могу его отыскать, а очень нужно. Напиши, как поживаешь. Не стесняйся писать побольше (у тебя замечательный стиль), а горничная подождет».

Мы взглянули друг на друга.

— Тут дело нечисто. Человек пишет мне почти каждый день письма, получает на них ответы и в то же время справляется, где я живу! Данила! *Этот человек или очень болен, или здесь кроется какой-нибудь ужас.*

Бройдес встал.

— Ты прав. Едем сейчас же к нему. Вызови таксомотор — он живет черт знает где!

IV

Мы звонили у парадного минут десять — из квартиры Зверюгина не было никакого ответа.

Наконец, когда я энергично постучал в дверь кулаком и крикнул, что иду в полицию, дверь приотворилась, и в щель

просунулась растрепанная голова полураздетого Зверюгина. Он был встревожен, но, увидя нас, успокоился.

— Ах, это вы! Я думал — горничная. Тссс! Тише. Идите сюда и разденьтесь. В те комнаты нельзя.

— Почему?! — в один голос спросили мы.

— Там... дама!

Я бросил косой взгляд на Бройдеса.

— Ты понимаешь, Данила, в чем дело?

— Да уж теперь ясно как день. Только послушай, Вася... Как тебе не стыдно гонять бедную девушку по всему Петербургу от одного края до другого? Неужели ты не мог бы запирать ее на это время в кухне?!

— Да, попробуй-ка, — жалобно захныкал Василиск Зверюгин. — Это такая бешеная ревнивица, что сразу поймет в чем дело и разнесет кухню в куски.

— Вот... оно... что! — с расстановкой сказал Бройдес. — Бедная девушка! Вот все вы такие мужчины подлецы: обольстите нас, бедных женщин, совратите, опутаете сладкими цепями, а потом гоняете с Химического переулка на Троицкую, проводя это время в объятиях разлучницы. Так, что ли?

— Так, — бледной улыбкой усмехнулся Зверюгин.

Я уселся без приглашения на стул и спросил:

— Скажи, у тебя нет еще каких-нибудь друзей, кроме нас?

Он понял.

— Есть-то есть, да они или близко живут, или уже я все у них узнал и все им возвратил, что было возможно. Вы не можете представить, какой я стал аккуратный: за эти нужные мне три часа в день я возвратил по принадлежности все когда-то взятые и зачитанные мною книги, я ответил на все письма, на которые не отвечал по три года, я возвращал долги, вспоминая все до последней копейки! Я просто даже справлялся о здоровье моих милых, моих дорогих, моих чудесных друзей! И я теперь обращаюсь к вам: придумайте что-нибудь для моей горничной... Что-нибудь на три часа! Моя фантазия иссякла.

Я подошел к столу, взял какую-то книгу и сказал:

— Ладно! Это какая книга? Мопассан? Том третий? Завтра же пришли мне эту книжку... Слышишь? Мне она очень нужна. Через час я ее верну тебе. Это ничего, что горничная подождет? И ничего, что ты мне пришлешь эту книгу также и послезавтра?

— О, пожалуйста, — засмеялся он. — Она все равно полуграмотная, моя Катя, и в этих делах ничего не понимает. Скажи ей, что это корректура, что ли. Ей ведь все равно.

V

Каждый день аккуратно бедная Катя привозила мне том третий Мопассана.

— Ну как погода? — спрашивал я.

— Ничего, барин. Погода теплая, солнышко.

— Чудесно! Терпеть не могу, когда холодно и идет дождь.

— Что уж тут хорошего. Одна неприятность.

А моя горничная добавляла:

— В дождь-то совсем нехорошо. Одна грязь чего стоит.

— А как же! Кому такое приятно?!

Я брал Мопассана и уходил в кабинет читать газеты или просматривать редакционные письма.

Часа через полтора выходил в кухню и снова возвращал Мопассана.

— Готово. Поблагодарите барина и кланяйтесь ему. Скажите, чтобы завтра обязательно прислал — это, брат, очень нужная вещь!

— Хорошо-с, передам.

* * *

Мопассан за три недели порядочно поистрепался.

Обрез книги засалился, и обложка потемнела.

Через три недели книжка не появлялась у меня подряд четыре дня, потом, появившись однажды, исчезла на целую неделю, потом не было ее десять дней...

Самый длительный срок был полтора месяца.

Катя принесла мне ее в тот раз, будучи в очень веселом настроении, сияющая, оживленная:

— Барин просили меня сейчас же возвращаться, не дожидаясь. Книжку я оставлю; когда-нибудь зайду.

Да так и не зашла.

Это было, очевидно, там последнее — самое короткое свидание.

Это была ликвидация.

Счастливица — ты, Катя! Бедная ты — та, другая!

Желтеет и коробится обложка Мопассана. Лежит эта книга на шкапу, уже ненужная, и покрывается она пылью.

Это пыль тления, это смерть.

ДЕЛО ОЛЬГИ ДЫБОВИЧ

Посвящается А.И. Куприну

...Когда все уже было съедено, выпито, когда все откинулись на спинки стульев и задымили папиросами, Резунов хлопнул рукой по столу и сказал:

— Хотите чего-нибудь острого?

— Давай! — поощрила компания.

— Сейчас приведу его!

— Кого? Кого?!

Но Резунов уже выскочил из кабинета и помчался в общий зал ресторана.

— Этот Резунов вечно придумает какую-нибудь глупость, — укоризненно проворчал Тырин. — Наверное, какую-нибудь девицу притащит.

— Идет! — весело крикнул Резунов, влетая в кабинет.

— Кто?!

— Он! Муж Дыбович. Сейчас будет здесь!

Никто даже не успел высказать протеста против этого нелепого приглашения. Последние дни у всех на устах было имя Ольги Дыбович, убитой ее любовником и его сообщником — слугой этого любовника. Труп убитой был положен в корзину, отправлен в Москву, и только там, на вокзале, преступление раскрылось. Следствие скоро добралось до источников преступления, и любовник Темерницкий вместе со слугой Мракиным были арестованы.

Большинство людей, пировавших в кабинете ресторана, было недовольно неуместной выходкой Резунова, притащившего несчастного мужа убитой напоказ праздным людям, а двое-трое, наоборот, с жадным любопытством впились глазами в лицо вошедшего за Резуновым господина.

Лицо было розовое, круглое, с редкими светлыми усиками и выцветшими голубыми глазами. Толстые губы не совсем прикрывали два ряда крупных неровных зубов.

Держался он неспокойно, все время нервно вертя головой направо и налево.

Когда он обходил стол, пожимая всем руки и повторяя каждый раз: «Дыбович, Дыбович, Дыбович...», все деликатно сделали вид, что не обращают внимания на эту фамилию, так зловеще звучащую уже в течение двух месяцев.

Но Резунов, ревниво следивший за успехом своего «номера», заметил эту деликатность. Очевидно, он находил ее не соответствовавшей его программе, потому что сейчас же громко и развязно заявил:

— Это, господа, тот Дыбович, у которого жену в корзине нашли убитую. Вы, конечно, все следили за этим делом?

Два приятеля, сидевшие по бокам Резунова, энергично толкнули его в бок, но он отмахнулся от них и продолжал:

— Как же, как же! Нашумевшее дельце. Ты, Дыбович, небось совсем и не думал, что в такие знаменитости попадешь?..

Все притихли, как перед грозой, опасливо следя за фруктовым ножом, который вертел в руках Дыбович, усевшийся между Тыриным и Капитанаки.

Дыбович улыбнулся, положил нож и махнул рукой:

— Ну, уж тоже... Нашел знаменитость. Где нам... Мы люди маленькие.

— Послушайте, — тихо спросил, наклоняясь к нему, Тырин. — Он ведь мистифицирует нас, а? Вы не Дыбович?

— Нет, нет, что вы... Я Дыбович!

— Но, вероятно, однофамилец?

— Помилуйте, — горячо воскликнул Дыбович. — Какой там однофамилец. Я настоящий Дыбович... Тот самый, у которого жену убили. Да вы, вероятно, меня видели на суде! Я свидетелем был.

— Я на суде не был.

— Не были?! — ахнул Дыбович, нервно крутя желтые усики. — Да как же вы так это!.. Вот странно.

И лицо его приняло обиженное выражение, как у актера, который услышал от приятеля, что тот не попал на его бенефис.

— Неужели не были? Удивительно! Один из самых сенсационных процессов. Интереснейшее дело! Господа, кто из вас был на суде?

— Я...— несмело отозвался Капитанаки.

— Вы меня там видели?

— Да... видел. Вы давали показание по поводу... друга... вашей жены.

Молодой Дыбович сделал рукой торжествующий жест.

— Ну вот, ну вот... Видите! А вы говорите — не тот Дыбович!.. Зачем же мне обманывать вас?

Минута неловкого молчания была прервана деликатным Тыриным, решившим, что необходимо сказать хоть что-нибудь.

— Ужасная трагедия, — прошептал он. — Вы, вероятно, переживали глубокую душевную драму?

— А еще бы не глубокую! Это хоть кому доведись такая история... Жена... Где жена? Нет! Вот-с только куски в чемодане — извольте вам! Получайте! Прямо подохнуть можно. Самое ужасное, что эти идиоты-сыщики стали первым долгом следить за мной... Как вам это понравится? Положеньице! Я на поезд — они на поезд, я в гостиницу — они в гостиницу.

— Тяжелая история, — вздохнул Тырин. — Звериное время.

— Еще бы не тяжелая, — возмущенно сказал Дыбович. — Подумайте, какие мерзавцы: убить женщину, разрезать на куски и отправить в Москву. Свинство, которому имени нет. Показывают корзину: «Ваша жена?» — «Моя». Положеньице!

Снова все замолчали.

Капитанаки закурил новую сигару и тут же заметил, с целью развеселить присутствующих:

— Смотрите-ка, окно открыто. Можно выпрыгнуть и убежать, не заплатив по счету.

Покачав сокрушенно головой, Дыбович сказал:

— Да-с... Такое-то дело... Взяли и убили. И какое дьявольское самообладание! Целую неделю не сдавались, пока их не уличили.

— Вы знали Темерницкого? — спросил Капитанаки.

Дыбович оживился:

— Как же, как же! Как теперь вот с вами сижу, — с ним сидел. Помилуйте! Приятелями были.

Он отхлебнул глоток вина и сурово добавил:

— Ска-атина.

В дверь постучались.

— Это Хромоногов, — сказал Капитанаки. — Вечно он опаздывает.

Действительно, Хромоногов вошел, рассыпаясь в извинениях, похлопывая приятелей по плечам, пожимая руки.

— Вы, господа, кажется, незнакомы, — сказал Тырин, указывая на Дыбовича. — Это — Дыбович, это Хромоногов.

— Дыбович, — значительно подчеркнул Дыбович, глядя Хромоногову прямо в глаза. — Дыбович!

— Очень рад, — сказал Хромоногов, опускаясь на стул.

Тырин не мог не заметить выражения легкого разочарования в лице Дыбовича после такого хладнокровного отношения Хромоногова к его имени.

Поэтому деликатный Тырин мягко заметил:

— Это, милый Хромоногов, тот самый Дыбович, в семье которого случилось такое тяжелое несчастье. Знаешь, нашумевшее дело Ольги Дыбович.

— А-а, — неопределенно протянул Хромоногов и тут же, наклонившись к соседу, прошептал:

— Что за толстокожая свинья этот Тырин!! Ставит несчастного человека в такое невыносимое положение... Как можно кричать громогласно веселым голосом на весь стол! Никакого участия к человеку, несущему такое тяжелое бремя ужаса...

Но «человек, несущий тяжелое бремя ужаса», сразу оживился, когда упомянули его имя.

— Да, да, — захлопотал он. — Ужасное дело, не правда ли? Убили, действительно убили... Как же! И труп в корзину засунули. Не негодяи ли? Что им женщина худого сделала? А ведь я, представьте, этого Мишку Темерницкого, вот как его, Резунова, знал.

— Пожалуйста, без сравнений, — засмеялся Резунов. — Я трупы в чемоданах не экспортирую.

— Кошмарное дело, — прошептал Хромоногов.

— Еще бы не кошмарное! Не правда ли? А мое-то тоже положение: исчезает жена. Что такое, где, почему — неизвестно. И вдруг — на тебе! Пожалуйте — труп в корзине. Положение — хуже губернаторского!..

— Слушай...— шутливо перебил его Резунов. — А, может быть, это ты ее убил, а? Признайся.

— Ты говоришь, братец мой, чистейшую ерунду, — горячо возразил Дыбович. — Ну, посудите сами, господа, — зачем мне ее было убивать? Денег она не имеет, на костюмы тратила немного — зачем ее убивать? Меня и следователь когда допрашивал, так прямо сказал, что это только для проформы.

— А все-таки, — подмигнул Тырину Резунов, — публика к Темерницкому на суде относилась с большим интересом, чем к тебе.

— Ну, извини, брат... Не думаю. Я бы такого интереса не пожелал. Да и я знаю, что ты это говоришь, чтобы меня только подразнить.

— Ну, ладно, ладно, не обижайся, — нагло похлопал его по плечу Резунов. — Ты у нас самый известный, ты у нас знаменитость!!

— Как странно, — заметил Капитанаки. — Окна открыты, а душно.

— Гроза будет, что ли?

— Нет, небо чистое.

— Накурили сильно.

— Но кого я не понимаю, — неожиданно сказал Дыбович, заискивающе глядя на всех, будто прося, чтобы ему позволили говорить, — кого я не понимаю — так это слугу его, Мракина. Что этот болван хотел выиграть?! Выиграл, нечего сказать. Ха-ха! Выгодное предприятие!..

— Послушай, Резунов, — потихоньку сказал Хромоногов, наклоняясь к товарищу. — Убери ты его или я за себя не ручаюсь. Как ты можешь демонстрировать такую омерзительную личность?!

— Вот тебе раз, — фальшиво засмеялся Резунов, — он герой, а ты его называешь омерзительной личностью.

— Ради Бога — уведи его.

Резунов встал и бесцеремонно взял Дыбовича за плечо:

— Эй, ты, герой! Веселая вдова! Пойдем.

— Куда? — удивился тот, топорща свои желтые усики.

— Да так, брат. Довольно. Показал я своим друзьям знаменитость — и будет.

Пожимая всем руки, Дыбович сузил маленькие глазки и засмеялся довольным смехом:

— Уж ты скажешь тоже — знаменитость. Далеко нам до знаменитостей.

— Ну, пойдем, пойдем. Нечего там.

* * *

Когда Резунов вернулся, все на него набросились:

— Черт знает что! Как тебе не стыдно?! Отравил целый вечер. Вот фрукт-то!! Послушай, он не вернется, а?

— Не беспокойтесь, — засмеялся Резунов. — Я его пристроил к столику знакомых дам. Они, вероятно, будут очень довольны друг другом, потому что, услышав его фамилию,

дамы первым долгом ахнули: «Как?! Вы тот самый Дыбович? Ну, скажите, вам жалко жены? Вы пережили драму, да?» А он им сейчас же ответил: «Еще бы! Это хоть кому доведись... Положеньице! Но подумайте, какие мерзавцы — убить женщину, да еще ее же и в корзину положить, а? Каково!» Я уверен, что и дамы, и Дыбович уже очарованы друг другом.

МЕКСИКАНЕЦ

На скамье городского сада осеняемая прозрачной тенью липовых листьев сидела красивая женщина.

Проходя мимо, я повернул голову, увидел красавицу и остановился.

Вслед за тем сделал вид, что внезапно смертельная усталость овладела мною. Еле дотащился до скамейки и уселся рядом с красавицей.

Решил: придерусь к чему-нибудь, заговорю и познакомлюсь.

Ее чистый профиль кротко и нежно рисовался на зелени кустов. Полуопущенные глаза лениво скользили по носку маленькой туфли.

Я вобрал в себя как можно больше воздуху и сказал скороговоркой:

— Не понимаю я этих мексиканцев!.. Из-за чего, спрашивается, воюют, революции устраивают, свергают старых президентов, выбирают новых? Кровь льется рекой — для чего все это? По-моему, всякий гражданин имеет право требовать для себя спокойной жизни. А? Как вы думаете?

Ее чистый, ничем не возмущенный взор заскользил по дорожкам.

Мы помолчали.

— И почти каждый день у них резня, которой «старожилы не запомнят».

Она молчала.

— А что такое, в сущности, старожилы? Старожилами сразу не делаются, не правда ли? Старожилами делаются постепенно.

Ничто не изменилось в лице ее.

«Кремень, — подумал я. — Ничем ее не расшевелишь».

Подняв глаза к небу, я сказал мечтательно:

— Где-то теперь моя дорогая мама? Что-то она делает сейчас? Вспоминает ли обо мне? Вам сигара не помешает?

Очевидно, у нее была привычка отвечать только на прямо, в упор поставленные вопросы.

— Нет, — уронила она, снова замкнув свой розовый ротик.

— Мне бы тоже не помешала хорошая сигара, да я, отправляясь сюда, забыл купить. Что мне делать с моей памятью, прямо-таки не знаю. Хоть плачь!.. Ей-Богу. Скажите, это липа?

— Липа.

— Merci. Ботаника — моя страсть. Тоже и зоология. Наука как-то... укрепляет, не правда ли?

Казалось, она дремала.

— Что-то мне из Москвы перестали писать, — пожаловался я. — Это ужасно, когда не пишут. Вы подумайте: три месяца хоть бы слово! Ни-ни. Ни звука. Каково? Вы сами москвичка?

Она медленно, плавно повернула ко мне порозовевшее лицо.

— Послушайте!! Меня не то возмущает в вас, что вы самым наглым образом заговариваете с одинокой женщиной. Это обычное явление. Но то меня возмущает, что вы возвели этот спорт в ежедневное обычное занятие и, вероятно, сейчас же забываете об объектах вашей разговорчивости. Что за гнусная небрежность! *Неужели вы забыли, что мы уже знакомы?!* Три месяца тому назад вы пристали ко мне в вагоне трамвая, и я была так малодушна, что познакомилась с вами. Вы еще провожали меня... И теперь вы, выбросив все из головы, заводите эту отвратительную канитель снова?!

Я вскочил, почтительно обнажил голову и сказал:

— Я очень рад, что и вы вспомнили меня... Признаться, я сейчас поступил так невежливо потому, что боялся...

— Чего? — спросила она мрачно.

— Что вы совершенно выкинули меня из головы. А чтобы я забыл?! Помилуйте, разве можно забыть эти чудные мгновения? Помню еще, как вы сидели в вагоне с правой стороны...

— С левой.

— Ну да — с левой стороны по ходу вагона и с правой, если считать против хода. Вы еще были в шляпе, верно?

— Пожалуй...

— Ну конечно. Еще, помните, кондуктор, когда получал деньги, то кричал: «Нет местов, нет местов». Помню, еще дал он нам по билетику — вам и мне... Да... Вам и мне.

Иссякнув, я обернулся к ней и ждал ее реплики.

— Вот что, — сказала она, поднимаясь, забирая зонтик и книгу. — Хотя глупость и дар богов, но, видно, к вам боги отнеслись особенно внимательно, особенно щедро. Слушайте — вы! *Ни в каком трамвае мы с вами не знакомились — я вас вижу впервые в жизни.* Я только хотела убедиться — помните ли вы все эти ваши случайные встречи, мимолетные знакомства и интрижки. Оказывается, у вас их так много (целая фабрика!), что вы уже об отдельных людях и не помните... Какой позор! Я уйду, а вы пока посидите тут, пораздумайте о нелепой судьбе Мексики, а также и о своей судьбе — еще более нелепой. Прощайте... мексиканец!

Она ушла...

Я посидел еще немного, потом встал, засвистал и побрел к следующей скамейке, на которой сидела дама в черной шляпе.

Устало опустился на скамейку и сказал:

— Есть люди, которые до сих пор верят в оккультные науки. Я этого увлечения не разделяю. Конечно, вы мне возразите, что присутствие тайных сил в природе отрицать нельзя. Однако, спрошу я вас, почему медиумы попадались в целом ряде мошенничеств? Если такая сила существует — для чего это нужно? Конечно, вы мне ответите, что.......

....

НАСЛАЖДЕНИЕ ЖИЗНЬЮ

I

Скупость — одно, а бережливость — совсем другое: насколько мы все относимся с брезгливостью и презрением к скупому человеку, настолько мы *обязаны* относиться с уважением к человеку бережливому, к человеку, который не повесится из-за копейки, но и не швырнет ни за что даром, куда попало, лишний рубль.

Именно о таком человеке, о студенте ветеринарного института, неизвестном мне по фамилии, и расскажу я.

* * *

Зайдя однажды жарким днем в прохладную полутемную пивную, я сел за угловой столик и потребовал себе пива.

Кроме меня в пивной сидели за целой батареей бутылок два студента: ветеринар — бережливый, и универсант — простой, обыкновенный, безличный.

Вели они такой разговор.

— А вот — ты не разобьешь еще один бокал, — говорил безличный студент, улыбаясь с самым провокаторским видом. — Ни за что не разобьешь...

— Я? Не разобью?

— Конечно, не разобьешь. Где тебе!..

— А как же я первый стакан разбил?..

— Ну, первый ты разбил нечаянно... Это что! Это всякий может разбить. А ты специально разбей.

Ветеринар с минуту подумал.

— Нешто разбить? Постой... Эй, человек!

Бледный, тупой слуга, с окаменевшим от скуки и бессонницы лицом, приблизился...

— Послушай, человек... Сколько вы берете за стакан, если его разбить?

— Десять копеек!

— Только-то?! Господи! А я думал, полтинник или еще больше. Да за эти деньги я могу хоть шесть стаканов разбить...

На столе стояли четыре стакана, до половины наполненные темным и светлым пивом.

— Эх! — сказал ветеринар. — Позволить себе, что ли?

И легким движением руки сбросил стаканы на пол.

— Сорок копеек, — автоматично отметил слуга.

— Черт с ним, — залихватски сказал ветеринар. — Плачивали и побольше. Люблю кутнуть!

Потом в голову ему пришла какая-то другая мысль.

— Эй, человек! А пустую бутылку если разбить — сколько стоит?

— Пять копеек-с.

Ветеринар приятно изумился:

— Смотри, как странно: маленький стакан — гривенник, большая бутылка — пятак.

— А вот ты не разобьешь сразу шесть бутылок, — усмехнулся безличный студент.

— Я? Не разобью?..

— Конечно. Где тебе!

— Шесть бутылок? Плохо ж ты меня знаешь! Эх-ма!

Со звоном, треском и лязгом полетели бутылки на пол.

Хозяин вышел из-за стойки и упрекнул:

— Нельзя, господа студенты, безобразить. Что же это такое — посуду бить!..

— Вы не бойтесь, мы заплатим, — успокоительно сказал ветеринар.

— Я не к тому, а вот посетителю, может быть, беспокойно.

Я пожал плечами.

— Мне все равно.

— Мерси, — общительно обратился ко мне студент. — Вы подумайте, какая дешевка: гривенник за бокал!

— Да, — подтвердил его товарищ. — Хоть целый день бей.

— В дорогом ресторане не очень-то разойдешься, — сказал ветеринар с видом экономной хозяйки, страдающей от дороговизны продуктов для стряпни. — Дерут там, наверное, семь шкур. Хм!.. А тут — гривенник.

Он повертел в руках стакан, подробно осмотрел его и бросил на пол.

— Во французском ресторане за бокал с вас рупь возьмут, — отозвался из-за стойки хозяин.

— Подумайте, а? А тут за эти деньги десять разбить можно. Брось, Миша, свой стакан... Чего там! В кои веки разойдешься... Вот так... Молодец. Человек! Еще полдесяточка.

Нельзя сказать, чтобы у амфитриона был вид беззаботного, пьяного кутилы, безрассудно крушащего все на своем пути. Было заметно, что он не выходил из бюджета, доставляя себе и своему другу только ту порцию удовольствия, которую позволяли средства.

— Человек! Сколько за посуду?

— Девяносто копеек.

— Вот тебе — видишь, Миша! А ты говорил: «Пойдем в ресторан». Там бы с нас содрали... Хо-хо! А тут... Девяносто? Получай рубль. Постой... Дай-ка еще стакан... Ну вот. Теперь сдачи не надо. Ровно рубль.

Довольный, он откинулся на спинку стула и с благодушным видом стал осматривать комнату.

II

Пошептавшись с товарищем, ветеринар встал, подошел к стойке и спросил хозяина:

— Сколько этот увражик стоит?

«Увражиком» он назвал гипсового раскрашенного негра высотой в аршин, стоявшего на стойке и державшего в руках какую-то корзину.

— Это-с? Четыре рубля.

— Да что вы! В уме ли? За такую чепуху — четыре рубля!

— Помилуйте — настоящий негр.

— Какой он там настоящий!.. Тут, я думаю, материалу не больше, чем на целковый...

— А работа-с? Не цените?

— Ну, и работа — целковый. Предовольно с вас будет два рублика. Хотите?

— Не могу-с. Обратите внимание на глаза — белки-то... вво! Материал? Настоящий гипс!

— Ну — два с полтиной. Никто вам за него больше не даст. Негритишка-то подержанный.

— Помилуйте, это ценится: старинная вещь — третий год стоит. Обратите внимание на фартук — настоящего голубого цвета.

— Вы отвлекаетесь, хозяин. Хотите три рубля? Больше ни гроша не дам. Миша, как ты думаешь?

— Конечно, уступите, — отозвался Миша. — Чего там! Другого купите, лучше этого.

— Ну, знаете что, — сказал хозяин. — Ладно. Три с полтиной — забирайте.

— За этого негра?! — фальшиво удивился ветеринар. — Ну, знаете ли. Еще вопрос — настоящий ли это гипс?! Вы бы еще пять рублей запросили... ха-ха! Берете три? А то и не надо — в другом месте дешевле уступят.

— Да накиньте хоть двугривенный, — простонал корыстолюбивый хозяин.

— Позвольте-ка, я его еще осмотрю. Гм! Ну ладно. Куда ни шло, еще двугривенный. Верно, Миша?

— Верно.

— Значит — три двадцать?

— Три двадцать.

— Эх-ма! — дико вскричал ветеринар, поднимая над головой негра. — Кутить так кутить. Урра!

Он хватил негра об пол, оттолкнул ногой подкатившуюся к нему гипсовую голову и вынул из кармана кошелек.

— Дайте с пяти рублей сдачи.

* * *

Потом он расплачивался со слугой за пиво.

— Сколько?

— Два с полтиной.

Он повертел в руках трехрублевую бумажку и наклонился к товарищу:

— Я думаю, ему за два с полтиной — полтинник на чай — много?

— Много, — кивнул головой товарищ. — Нужно десять процентов.

— Верно. Постой (опустив голову, он погрузился в какие-то расчеты). Ну вот!

Он смел рукой на пол два стакана, бутылку и отдал слуге три рубля.

— Теперь правильно и сдачи не надо. Пойдем, Миша.

И они ушли оба, напялив на лохматые головы фуражки — тот, что казался безличным, — универсант Миша и ветеринар — бережливый, хозяйственный человек, рассчитывающий каждый грош.

ОДИННАДЦАТЬ СЛОНОВ

I

Схватив меня за руку, Стряпухин быстро спросил:

— В котором ухе звенит? Ну! Ну! Скорее!!

— У кого звенит в ухе? — удивился я.

— Да у меня! Ах ты, Господи! У меня же!! Скорее! Говори!

Я прислушался.

— В котором? Что-то я не слышу... А ты сам сразу не можешь разобрать?

— Да ты угадай, понимаешь? Угадай! Какой ты бестолковый!..

— Да угадать-то нетрудно, — согласился я. — Если бы ушей было много — ну, тогда другое дело... А то два уха — это пустяки. Левое, что ли?

— Верно, молодец!

Я самодовольно улыбнулся.

— Еще бы! Я могу это — и вообще... многое другое... А зачем тебе нужно было, чтобы я угадал?..

— А как же! Такая примета есть... Я что-то задумал. Если ты угадал, значит, исполнится.

— А что ты задумал?

— Нельзя сказать. Если скажу — оно не исполнится.

— Откуда ты знаешь?

— Такая примета есть.

— Ну, тогда прощай, — проворчал я, немного обиженный. — Пойду домой.

— Уже уходишь? Да который теперь час?

— Не могу сказать, — упрямо ухмыльнулся я.

— Почему?

— Такая примета есть.

Его лицо выразило беспокойство.

— Неужели есть такая примета?

— Еще бы... Самая верная. Несчастье приносит.

— А ты знаешь, я ведь часто отвечал на вопрос: «Который час?»

— Ну вот, — улыбнулся я зловеще. — И пеняй сам на себя. Обязательно это к худу.

Он призадумался.

— Постой, постой... И верно ведь! Вчера у меня шапку украли в театре.

— Каракулевую? — спросил я.

— Нет, котиковую.

— Ну, тогда это ничего.

— А что?

— Примета такая есть. Пропажа котиковой шапки — в доме радость.

Он даже не спросил: в чьем доме радость — в его или воровском. Просиял.

— Я тоже с тобой выйду. Прислуга побежала за ворота — дай я тебе пальто подержу.

Я натянул с его помощью пальто, а когда он снял с вешалки свое, я сказал:

— Ты прости, но я тебе тем же услужить не могу.

— Почему?

— Такая примета есть: если гость хозяину пальто подает — в доме умереть должны.

Стряпухин отскочил от меня и наскоро натянул в углу сам на себя пальто.

Когда мы шагали по улице, он задумчиво сказал:

— Да, приметы есть удивительные. Есть счастливые, есть несчастливые. Но на днях я узнал удивительную штуку, которая приносит счастье и застраховывает от всяких неудач.

— Это еще что?

— Слоны. Одиннадцать слонов. Нужно купить одиннадцать штук от самого большого до самого маленького и держать их в доме. Поразительная примета.

— Что ж ты, уже купил их?

— Девять штук. Двух еще нет. Самых больших. Да они дорогие, большие-то. Рублей по тридцати... Кстати, ты не можешь одолжить мне пятьдесят рублей? Я бы завтра комплект уже имел.

— Что ты! Разве можно одалживать деньги в пятницу?! Есть такая приме...

— Да сегодня разве пятница? Нынче ведь четверг, — возразил он.

Сначала я растерялся, а потом улыбнулся с видом превосходства.

— Я знаю, что четверг. Но ведь четверг — это у нас?

— Ну да.

— А в Индии-то что теперь? Пятница!

— Пятница, — машинально подтвердил он, приоткрыв от недоумения рот.

— Ну вот. А слоны-то ведь индийские?

— Какие слоны?

— Да которых ты собираешься покупать!

— Предположим.

— То-то и оно. Как же можно в пятницу деньги давать взаймы? Несчастье... Страшная примета есть.

Он замолчал.

II

Стряпухин исчез на долгое время. Но однажды пришел ко мне расстроенный, с явными признаками на лице и в костюме целого ряда жизненных неудач.

— Эге, — сочувственно встретил я его. — Твои дела, вижу, неважные. Как поживаешь?

— Да, брат, плохо... У жены чахотка.

— Гнусная вещь, — согласился я. — Впрочем, вези ее на юг. Теперь это легко поправить можно.

— Да откуда же я денег-то возьму?

— А у жены-то были ведь деньги... я знаю... Несколько тысчонок.

— Были да сплыли. На бирже проиграл.

— Эх ты, Фалалей! Ну, на службе возьми аванс.

— Хватился! Со службы уволили. За биржевую игру. Вы, говорят, еще наши деньги проиграете, казенные.

— Однако! А что же твой дядя какой-то? Помнишь, ты говорил: собирался умереть и тебе дом оставить.

— Да и умер. Только не тот дядя, а другой. Вдовец с двумя детьми. Детей мне оставил... Прямо беда!

— Так ты бы продал что-нибудь из обстановки... У тебя ведь обстановка хорошая, я помню, была...

Он тоскливым взглядом посмотрел на меня.

— Продано, брат. Почти все. Кроме слонов.

— Каких слонов? — удивился я.

— Да тех, что я, помнишь, говорил.

— А они дорогие?

— Рублей полтораста...

— Так ты бы их и пустил в оборот. Это ведь жене месяц жизни в Крыму.

Стряпухин откинулся назад и всплеснул руками.

— Что ты! Как же я могу их продать, когда они приносят счастье!

III

Я долго прохаживался по кабинету, бормоча себе под нос всякие рассуждения.

Остановился перед Стряпухиным и сказал:

— Дурак ты, дурак, братец!

— Почему?

— Такая примета есть.

Он бледно, насильственно улыбнулся.

— Вот ты теперь уже и ругаешься. Ругаться-то легко.

— И ругаюсь! Обрати внимание: не было у тебя этих слонов — жена была здорова, деньги в банке лежали и служ-

ба была. Появились слоны, которые, ты говорил, счастье приносят, — и что же!

— А ведь верно! — охнул он, побледнев. — Я совсем не обратил на это внимания... Действительно... Знаешь, тут есть какой-то секрет. Может быть, не одиннадцать слонов нужно, а какое-нибудь другое количество?

Я кивнул головой.

— Весьма возможно... И может быть, нужно было не слонов покупать, а каких-нибудь верблюдов или зайцев.

— А в самом деле! — ахнул он, приоткрыв по своей привычке от изумления рот.

— И может быть, не покупать их, а украсть нужно было...

— Да, да!..

— ...и держать не в доме, а в погребе.

Оба мы замолчали. Он поднял опущенную голову и несмело спросил:

— Ну, как ты думаешь — верблюда или зайца?

Я пожал плечами.

— Конечно, верблюда.

— Почему?

— Примета такая есть.

— А сколько их надо?..

— Тридцать восемь штук.

— Ого! — с оттенком уважения в голосе пробормотал Стряпухин. — Вот это число! Что же их... покупать нужно?

— Украсть! Только украсть! И держать в погребе на бочке с огурцами. Такая примета есть.

Он внимательно разглядывал выражение лица моего, и в глазах его я прочел легкое колебание.

— Что это ты?.. — робко заметил он. — Не то говоришь серьезно... не то насмехаешься надо мной.

Я горячо воскликнул:

— Что ты, что ты! Я говорю совершенно серьезно. Слоны ведь тебе не помогли, а? Одиннадцать слонов мал мала меньше. Ведь не помогли? Так?

— Не помогли, — вздохнул он.

— Ну вот! Попробуем верблюдов. Тридцать восемь верблюдов! Не купим их, а стащим в магазине: это и дешевле, и практичнее. Поставим в погреб и посмотрим — не повернется ли фортуна к тебе лицом? Если все будет по-прежнему плохо — верблюдов к черту, купим лисиц или лягушек,

индийских болванчиков, крокодилов, черта, дьявола лысого купим! Попробуем покупать по семнадцать, по тридцать три, по шестьдесят штук, будем держать их под полом, на крыше, в печной трубе — все испробуем, все испытаем!! Как только тебе повезет — стоп! Вот, значит, скажем мы, это и есть настоящая примета!

— Да ты это... серьезно?

— А то как же, братец? Слоны твои провалились — нужно искать других путей. Какой-то немец-профессор сделал свыше девятисот комбинаций лекарства, пока не наткнулся на настоящую. У нас будет девять тысяч комбинаций — но ничего! Ведь он открывал только новое лекарство, а мы ищем секрет счастья... Разрешить проблему счастья — какая это великая миссия!!!

— Да ведь этак всю жизнь провозишься...

— А ты что же думал? И провозишься.

Он устало опустил голову.

— Боже, как все это неопределенно... А может быть, вся штука в том, что слонов нужно не одиннадцать, а двенадцать. Прикупим еще одного...

— Может быть! Жаль, что это не ослы. Если бы ты имел одиннадцать ослов, то двенадцатого и прикупать бы не стоило.

С видом человека, окончательно запутавшегося в сложной тине жизни, он поднял на меня глаза:

— Почему?

IV

Уходя, он небрежно спросил, боясь выказать интерес к ответу и вызвать тем новые мои насмешки:

— Сколько, ты сказал, верблюдов?

— Тридцать восемь, — ехидно улыбнулся я. — Думаешь купить?

— Нет, не то. А вот нужно бы запомнить цифру тридцать восемь. Буду нынче в клубе, возьму карту лото с этой цифрой.

— Ага! Ты и этим занимаешься? Что же, везет?

— Пока нет.

И в глазах его светилось отчаяние.

— Почему? — допрашивал я безжалостно. — На какую, например, цифру ты вчера брал карту?

— Восемьдесят шесть. Счастливое число. Мой кузен Гриша на эту цифру в лотерею корову выиграл.

— Значит, и ты выиграл?!!

— Нет, — робко прошептал он, запуганный моим криком, моими оскорблениями, моей иронией.

Я схватил его за шиворот.

— Так как же ты, каналья, находишь это число счастливым?!

— Постой... Пусти! Я бы, может быть, и выиграл, а только, уходя из дому, забыл ключ и с дороги вернулся. А это считается очень нехорошо. Примета...

* * *

Рассказанную мною правдивую историю я считаю очень нравоучительной.

Тем не менее я уверен, что среди моих читателей найдется пара-другая людей, которые запомнят цифры 38 и 86.

И подумают они: «Что ты там себе ни говори, а мы на эти цифры возьмем карточку и сыграем в лото».

Так и быть, сообщу я для них еще одну, самую верную счастливую цифру: пятьдесят девять.

Играйте на нее... Замечательная цифра.

А проиграете, — значит, покойника встретили или кошка дорогу перебежала.

Так вам и надо! Мне все равно вас не жаль.

ЖЕНЩИНА В РЕСТОРАНЕ

I

Совершенно незнакомые мне посторонние люди пришли в ресторан и расположились за соседним с моим столиком.

Двое. Он и она.

Черта, преобладавшая в ней, была кокетливость. Она кокетливо куталась в меховое боа, лениво-кокетливо снимала с руки перчатку, прикусывая поочередно пальцы перчатки острыми мелкими зубами, кокетливо пудрила носик, заглядывая в маленькое карманное зеркальце, и, поймав на себе восхищенный, полный обожания взгляд своего спутника, сделала ему кокетливую гримасу...

Он украдкой, будто случайно, прикоснулся к ее руке и спросил бархатным баритоном:

— Ну, что же мы, мое солнышко, будем кушать?

— Ах, вашему солнышку решительно все равно!.. Что хотите.

— А пить?

— И тоже все равно. Что вы спросите, то и будем пить.

— Повинуюсь, принцесса.

Он поднял задумчивый, углубленный в себя взгляд на склонившегося перед ним метрдотеля и сказал:

— Заморозьте бутылку брют-америкэн.

Дама подняла нос от зеркала и сделала удивленную гримаску.

— Вы пьете брют? Это еще почему?

— Хорошая марка. Я ее люблю.

— Ну вот! Я всегда твердила, что вы самый гнусный эгоист. Ему, видите ли, нравится этот уксус, так и я, видите ли, должна его пить.

Господин ласково, снисходительно улыбнулся и снова погладил ее руку.

— Что вы, принцесса! Какой уксус?! Вы пили когда-нибудь брют?

— Не пила и пить не хочу.

— Так, — засмеялся господин. — Тогда подойдем к вам с другой стороны: а что вы пили?

— Ну, что я пила... Мало ли! Монополь-сэк я пила... Единственное, которое можно пить!

— Ага! Ах, плутовка... наконец-то я узнал вашу марку... Управляющий! Вы слышите? Монополь-сэк!

— Слушаю-сь. Что прикажете на ужин?

— Маргарита Николаевна! Как вы на этот счет?

Дама с кокетливой беспомощностью повертела в руках карточку кушаний и пожала плечами.

— Я не знаю... Разве это так важно? Выберите просто что-нибудь для меня.

— Просто что-нибудь? Нет, это дело серьезное, — улыбнулся господин. — Мы сейчас это разберем. Вы какую рыбу любите?

— Никакую.

— Так; рыба отпала. Мясо любите?

— Смотря какое.

— Ну, например, филе миньон или котлеты-де-мутон, соус бигарад?

— Я люблю брюссельскую капусту.

— Значит, вы мяса не хотите, — удивился господин. — Ну, скушайте что-нибудь... Ну, пожалуйста. Какое вы мясо любите?

— Господи, как этот человек пристал! Зачем из этого делать вопрос жизни? Закажите что хотите.

— Тогда я знаю, что вы будете кушать... Ризотто по-милански с шампиньонами и раковыми шейками.

— Да ведь там рис?

— Рис. Форменный рис.

— Терпеть не могу риса. Закажите просто что-нибудь полегче.

— Скушайте дупеля, — посоветовал метрдотель, потихоньку распрямляя согнутую спину.

— Это такие носатые? Ну их.

Метрдотель бросил на господина взгляд, полный отчаяния. А господин, наоборот, ответил ему — да мимоходом и мне — взглядом, в котором ясно читалось: «Ну что это за очаровательное взбалмошное существо! Она вся соткана из чудесных маленьких капризов и восхитительных неожиданностей».

Вслух сказал:

— И носатые дупеля провалились? Ха-ха! Видите, метрдотель, и вы не счастливее. Ну вот, возьмите, принцесса, закройте глазки и подумайте: чего бы вы сейчас очень, очень хотели?

— Да если бы была хорошая семга, я бы семги съела.

— Это само собой — это закуска. А что горячее?

— Господи, как вам это не надоело! Ну, самое простое — я буду есть то же, что и вы.

— Я буду — цыпленок сюпрем. С рисом.

— Благодарю вас! Я ему уже час твержу, что риса не признаю, а он со своим рисом! Ну да ладно! Сделайте мне вот это и отлипните.

— Рубцы по-польски? Слушаю-сь.

— И к ним спаржу с голландским соусом.

Метрдотель недоумевающе поглядел на даму, но сейчас же сделал каменное лицо и сказал:

— Будет исполнено.

В ожидании заказанных кушаний ели икру, семгу, и молодой господин потихоньку, как будто нечаянно, прикасался к руке Маргариты Николаевны.

А когда подали цыпленка и рубцы, Маргарита Николаевна брезгливо поглядела на рубцы, кокетливо сморщила носик и сказала:

— Фи, какое... гадкое. Это у вас что? Курица?

— Да, цыпленок. С рисом.

— Ах, это я люблю. Забирайте себе мое, а я у вас отберу это. Не будете плакать?

Конечно, он не плакал. Наоборот, лицо его сияло счастьем, когда он отдавал ей своего цыпленка. И только раза два омрачилось его лицо — когда он с трудом прожевывал услужливо пододвинутые метрдотелем рубцы.

Но сейчас же взгляд его вспыхивал, как молния, и читалось в этом горделивом взгляде, брошенном на меня: «Найдите-ка другую такую очаровательницу, такое чудесное дитя, такую прихотливую и милую капризницу!»

II

Люди, которых я где-то уже однажды встречал, пришли в ресторан и расположились по соседству с моим столиком.

Двое: он и она.

Она вся была соткана из кокетливых ужимок и жестов. Кокетливо поправила шляпу, кокетливо и зябко повела плечами, потерла маленькие руки одну о другую и в заключение бросила на меня кокетливый взгляд.

Ее спутник спросил:

— Ну, что же мы будем пить?

— Мне все равно. Закажи, что хочешь.

— Хорошо. Человек! Бутылку кордон-руж.

— Ой, что ты! — кокетливо надула губки дама (я почему-то вспомнил, как ее звали: Маргарита Николаевна). — Как можно пить эту гадость!..

— Но ведь ты же, Маргарита, сказала, что тебе все равно. А теперь вдруг говоришь, что это гадость.

— Пожалуйста, не повышай тона.

— Я не повышаю, но согласись сама, что это абсурд. То́ — все равно, а то́ — гадость! Ведь я же тебя спрашивал: что ты хочешь, какую марку?

— Я хочу это... с красной шапочкой...

— Ну, вот. Это другое дело. А что ты хочешь кушать?

Снова Маргарита Николаевна повертела в руках с очаровательно беспомощным видом карточку и протянула ее обратно метрдотелю:

— Я не знаю. Ах, Господи... Ну, закажите нам что-нибудь.

— Что прикажете? — переспросил бывалый метрдотель.

— Ну, что-нибудь... Выбери ты, Коля.

Молодой господин поглядел на нее пристальным взглядом.

— Ладно. Выберу. Сделайте ей котлеты де-воляй.

— Только не котлеты де-воляй! Это все шансонетки едят — котлеты де-воляй.

— Виноват, — сдержанно сказал молодой господин, но бархатный баритон, который он старался сдерживать, звенел, густел и наливался раздражением. — Виноват... Ты сказала, что тебе все равно. Поручила мне выбрать. Я выбрал. И вдруг ты говоришь, что «только не де-воляй!». А что же? Откуда же мне знать, что ты хочешь?

— Что-нибудь рыбное. И, пожалуйста, не говори со мной таким тоном.

— Тон у меня прекрасный. Что-нибудь рыбное? Но что же?

— Да что-нибудь. Полегче что-нибудь. Рыбное.

— Хорошо. Человек! Сделай ей стерлядку по-русски.

— Нет, не стерлядку; что-нибудь другое, — с очаровательно-кокетливым видом поморщилась Маргарита Николаевна.

Еще более сдерживая раскаты своего сгустившегося голоса, молодой господин привстал и подал даме карточку.

— Послушай! Ты дважды сказала, что тебе *все равно*. Слышишь? *Дважды!* А когда я тебе предложил два, по-моему, очень вкусных блюда — ты, изволите ли видеть, отказываешься!! О, будь ты голодна, о, если бы тебя хоть денек проморить голодом, с каким восторгом ты слопа... съела бы эти два блюда. Послушай! Я тебе говорю серьезно: оставь, брось ты это амплуа кокетливо-избалованного дитяти. Оно может человека довести до белого каления.

— Если ты со мной еще будешь говорить таким тоном — сегодня мы с тобой видимся в последний раз.

— Дорогая моя! Да ведь этот мой тон — результат твоего тона. Ей дают карточку — на, выбирай! Что может быть проще: выбери, что тебе хочется. Нет, сейчас же начинается: «Ах, мне все равно! Выбери сам. Мне безразлично!»

Тебе безразлично! Хорошо. Может, ты скушаешь котенка жареного в машинном масле? Нет? Но ведь ты же говорила, что тебе все равно. Или крысиные филейчики на крутонах соус ремуляд?! Ведь тебе же все равно? Да? Но, однако, я тебе ни крыс, ни кошек не предлагаю. Вот тебе вкусные человеческие блюда... Не хочешь? Выбирай сама!!

— Ты сейчас рассуждаешь, как водовоз! Пять месяцев тому назад ты говорил другое.

— Э, матушка...

Он махнул рукой и осекся.

— Что «э, матушка»? Ну, договаривай... Что «э, матушка»?

— Послушай, человек ждет. Это некрасиво — пользоваться его подневольным положением и держать его около себя по полчаса.

— Пожалуйста, без замечаний! Вы кричите, как носильщик. Послушайте, человек... Закажите мне что-нибудь... Мне все равно...

— Нет!! — ударил ладонью по столу молодой господин. — Я эти штуки знаю. Он тебе притащит какую-нибудь первую попавшуюся дрянь, а ты понюхаешь ее да отдашь мне, а себе заберешь мое. Ха! Избалованное дитя! И я, как кавалер, как мужчина, буду давиться дрянью, а ты, слабое, беспомощное, избалованное дитя, будешь пожирать мое, выбранное мною для меня же блюдо?! Довольно!.. Я прошу вас точ-но у-ка-зать по кар-точ-ке: что вы хо-ти-те?

— Прощайте! — холодно сказала Маргарита Николаевна, вставая. — Я не думала, что придется ужинать с человеком, который кричит, как угольщик.

И она быстро пошла к выходу.

Молодой господин вскочил тоже и бросил на меня взгляд, полный отчаяния и жажды сочувствия.

А я ему сказал:

— Идиот!

— Кто... идиот? — опешил он.

— Вы!

— Я?

— Ну да же! Вам с этого нужно было начать, а не кончить этим.

Он хотел броситься на меня, но вместо этого махнул рукой, выругался и устало побежал за дамой.

Больше они вместе не появлялись.

СЕКРЕТАРЬ ИЗ ПОЧТОВОГО ЯЩИКА

I

Редакционный сторож вошел ко мне в кабинет и сказал:

— Вас там спрашивают.

— Кто спрашивает?

— Царь Эдип.

— Что ему нужно?

— С рукописью, что ли?

— Пусть подождет. Сейчас кончу — позвоню. Тогда впустишь.

После моего звонка в кабинет действительно вошел Царь Эдип.

Это был очень упитанный молодой человек с глазами навыкате, толстыми губами и горделиво откинутой назад головой. Лицо его было сплошь покрыто веснушками, а руки — рыжим пухом.

— Здравствуйте, здравствуйте! — снисходительно сказал он, усаживаясь. — Вы, конечно, помните Царя Эдипа по почтовому ящику.

— Ну, не только по почтовому ящику, — возразил я.

Он удивился.

— Как, неужели вы еще где-нибудь встречали мое имя?

— Да, встречал... Грек там был один такой, Эдип. Потом Антигона.

— Миф, — отрубил он. — А хороший я себе псевдоним выбрал? Э?

— Недурной.

— Заковыристый, а?

— Заковыристый, — согласился я.

— Забористый псевдонимчик. Вы, наверное, были удивлены, когда отвечали первый раз в почтовом ящике. Что, бишь, вы тогда ответили?

— Если не ошибаюсь так: «Здесь. Царю Эдипу. Написано с царственной небрежностью. Уничтожили».

— Да, кажется, так. А второй раз написали: «Никакая «голова», кроме вашей, быть может, не рифмуется со словом «солома». Это у меня стихи такие были:

Повсюду лишь пустырь один,
Куда ни взглянет голова,
И преждевременных седин
Повсюду веет солома.

Здорово вы мне в почтовом ящике тогда ответили.

— Вы что же, — осторожно спросил я, — по поводу этого ответа и пришли со мной объясниться?!

— Нет, не по поводу этого. Я пришел к вам по поводу третьего вашего ответа. Вы тогда написали в этаком серьезном духе: «Оставьте навсегда сочинение стихов. По-дружески советуем заняться чем-нибудь другим...» Чем же?

— Что чем же?

— Чем же мне заняться?

— А я почему знаю?

— Нет, — возражал он все более и более веско. — Так же нельзя. Раз вы так категорически советуете мне в одном направлении, вы должны посоветовать и в другом направлении. Согласитесь сами, что, отговорив меня от поэтических занятий, вы, так сказать, взяли на себя дальнейшую судьбу.

— Я бы, конечно, мог вам посоветовать что-нибудь в выборе вашей карьеры, но для этого я должен знать, что вы собой представляете и на что способны.

— На все, — снова отрубил он.

— Это слишком много и иногда даже опасно. Нужно быть способным на что-нибудь одно. Чем, например, вам хотелось бы заняться?

— Мне бы все-таки хотелось бы занять место, имеющее отношение к литературе.

— Ну, например?

— Я бы хотел быть секретарем вашего журнала.

— У нас есть секретарь.

— Тоже препятствие! Его можно рассчитать...

— Да как же мы его «рассчитаем», если нет причины.

— Мне ли вас учить? — ухмыльнулся он. — Придеритесь, что он там какую-нибудь важную рукопись потерял, и вышибите его.

— Конечно, я бы мог устроить эту штучку, — согласился я с самым сообщническим видом. — Но кто мне поручится, что вы окажетесь лучше него?

— Да помилуйте, я сразу поверну все вверх дном... Я...

II

В кабинет вошла служащая из конторы.

— Что вам, Анна Николаевна? — спросил я.

— Из типографии сообщают, что цензура не пропустила стихотворения с виньеткой.

— А вы зачем же посылали стихотворение? — строго спросил ее Царь Эдип. — Посылали бы одну виньетку.

— Мы раньше и посылали одну виньетку. Они и виньетку не пропустили.

Царь Эдип нервно забарабанил пальцами по столу.

— Что же мне делать со всем этим? — задумчиво прошептал он. — Гм... Ну, да ладно! Скажите, что я сам заеду, объяснюсь с Петром Васильевичем.

Конторская служащая удивленно взглянула на хлопотливого Эдипа, потом взглянула на меня и вышла.

— Кто это, Петр Васильевич?

— Там... один приятель. Вся цензура от него зависит... альфа и омега. Вы у кого бумагу для журнала берете? Почем платите?

Я сказал.

— Ого! Дорого платите. Я могу доставить вам бумагу на пятнадцать процентов дешевле. Вы позволите?

Прежде нем я успел что-нибудь сказать, он снял телефонную трубку, нажал кнопку и сказал:

— Центральная? Семьдесят семь восемнадцать. Да, мерси! Это кто говорит? Вы, Эдуард Павлович? Тебя-то мне и надо. Слушай! Сколько ты можешь для меня посчитать бумаги для «Нового Сатирикона»? Что? Ну, высчитывай! Да... Такую же. Что? Врешь, врешь, дорого! Считай еще дешевле. Что? Ну, это другое дело. Спасибо! А? Что же ты вчера удрал так потихоньку из «Аквариума»? Никому ни слова, бесстыдник! Ага! Ну, прощай! Так мы тебе пришлем заказ.

Он повесил трубку и сказал:

— Сделано. А вы все-таки переплачивали пятнадцать процентов. В год это составляет пять тысяч рублей, в десять лет пятьдесят, а в сто — полмиллиона. Вы подумайте!

Я встал с кресла и зашагал по кабинету.

III

— Теперь вы скажите мне вот что: как у вас поставлено дело с объявлениями? Почему у вас нет банковских объявлений?

Он уже успел пересесть на мое место и делал какие-то заметки в записной книжке.

— Банки не дают объявлений в сатирические журналы.

— Вздор. Конечно, Государственный банк не даст, но частные — почему же? Например, Сибирский. Да мы это сейчас же можем устроить. У меня там есть кое-какие знакомства... Алло! Центральная? Сто двадцать один четырнадцать. Спасибо! Сибирский банк? Попросите Михаила Евграфовича. Да. Это ты? Здравствуй! Ну, как у вас в этом году дивиденд? Ага! То-то! А я к тебе за одним маленьким делом. А? Да. Пришли завтра же объявления для «Нового Сатирикона». Что? Пустяки. И слушать не хочу. Ну, то-то! Да, недорого. Пятьсот рублей за страницу с тебя возьму. Что? Никаких скидок.

— Дайте ему скидку двадцать процентов, — сказал я.

Он укоризненно покачал головой.

— Ох, балуете вы их... Не следовало бы. Ну, ты, там... Гроссбух. Слушаешь? Мы тебе делаем скидку в двадцать процентов. Что? Ага.

Он обернул лицо ко мне.

— Благодарит вас.

— Не стоит, — скромно возразил я, — значит, дело сделано.

Он повесил трубку.

— Сегодня не успеет прислать. Завтра утром. Ничего?

— О, помилуйте!

Он сложил руки на груди и откинулся на спинку моего кресла.

— Теперь скажите, как у вас поставлена редакционная часть?

— В каком смысле?

— Я бы хотел знать, кто у вас пишет?

— Да многие пишут.

— Так, так...

Он поднял голову и строго спросил:

— Короленко пишет?

— Нет, но ведь он для сатирических журналов вообще не пишет.

— Это неважно. Интересное имя. Пусть даст какую-нибудь пустяковину, и то хорошо. Да вот мы сейчас пощупаем почву. Понюхаем. Барышня, «Русское богатство»! Что? Черт его знает, какой номер. Посмотрите, голубчик.

Я покорно взял телефонную книжку, перелистал ее и сказал:

— Четыреста сорок один одиннадцать.

— Благодарствуйте. Алло! Четыреста сорок один одиннадцать. Да. Попросите к телефону Владимира Игнатьевича.

— Галактионовича, — поправил я.

— Да, да. Хе-хе!.. Я по отчеству его никогда не называю. Алло, алло! Это кто? Ты, Володя? Хе-хе! «И пишет боярин всю ночь напролет, перо его местию дышит»... Бросил бы ты, брат, свою публицистику! Написал бы что-нибудь беллетристическое... Куда? Да уж это будь покоен. Пристроим. Давай мне, а я тебе авансик устрою, все как следует. Только ты, Володечка, вот что: повеселей что-нибудь закрути. Помнишь, как раньше! Мне для юмористического журнала. Что, уже написано? Семьсот строк? Что ты, милый, это много. А? Ну, да ладно! Сократить можно. Прочитаем. Ответим в почтовом ящике. Прощай. Анне Евграфовне и Катеньке мой привет. Фуу...

Он устало опустился в кресло.

— Как вы думаете, семьсот строк — это не много? Я, впрочем, предупредил его, что мы сокращаем.

IV

— А у вас, я вижу, большие знакомства, — заискивающе сказал я.

Эдип снисходительно улыбнулся.

— Ну, уж и большие. Кое-что, впрочем, есть. Если вам нужно, пожалуйста! Хе-хе! Эксплуатируйте. Ну, а теперь вы мне скажите: выстою я против вашего секретаря?

— Господи, может ли быть сравнение? Только вот не знаю я, как от него получше избавиться: обвинить в потере рукописи или просто придраться к его убеждениям.

Царь Эдип призадумался.

— А можно и так, — посоветовал он. — Написать ему письмо из другого журнала и предложить там место с двойным жалованьем. Он тут сейчас же и заявит о своем уходе. Мы его и выпроводим, голубчика. Скатертью дорога!

— Идея, — одобрил я. — Значит, до завтра.

— Вы мне позвоните.

— Позвонить, — пробормотал я, искоса поглядывая на него. — Это не так легко. Кстати, вы знакомы с директором телефонной сети?

— С директором? Сколько угодно! Кто же не знает Ванечку? А что нужно?

— Попросите его, пожалуйста, поскорее включить телефон наш в общую сеть. А то уж три дня как поставили аппарат, а в сеть он еще не включен. Совершенно мы, как говорится, отрезаны от всего мира.

Царь Эдип подошел к окну, отогнул портьеру и выглянул на улицу: взял из пепельницы спичку, сломал ее, положил обратно, снова погладил спинку дивана; поставил на новое место бокал с карандашами; взял свою шляпу, провел по ней рукавом — и вдруг выбежал в переднюю.

Секретарь у нас прежний.

СИЛА КРАСНОРЕЧИЯ

На углу одной из тихих севастопольских улиц дремлет на солнечном припеке татарин — продавец апельсинов.

Перед ним стоит плетеная корзинка, до половины наполненная крупными золотыми апельсинами.

Весь мир изнывает от жары и скуки. Весь мир, кроме татарина.

Татарину не жарко и не скучно.

Неизвестно, о чем он думает, усевшись на корточках перед своей корзиной, в которой и товару-то всего рубля на полтора.

Вероятнее всего, что татарин ни о чем не думает. О чем думать, когда все миропредставление так уютно уложилось в десяток обыденных понятий... То можно, этого нельзя — ну и ладно. И проживет татарин.

А лень обуяла такая, что не хочется даже замурлыкать любимую татарскую песенку, которую по воскресеньям на базаре выдувает на кларнете «чал», сопровождающий загулявшего оптового фруктовщика, причем фруктовщик этот выступает с таким важным видом, будто бы он римский победитель, подвиги которого прославляются певцами и флейтистами.

Дремлет татарин над своими апельсинами, и так ему спокойно и хорошо, что он даже не потрудится поднять голову, чтобы проводить взглядом тяжелый широкий «южный» экипаж, ползущий мимо.

Безлюдно...

Но вот вдали показывается фигура спотыкающегося человека в синем костюме и соломенной шляпе.

Бредет он, очевидно, без всякой цели — вино и жара разморили его.

Приблизившись к татарину, он останавливается над ним и смотрит в корзину мутным задумчивым взглядом...

Потом спрашивает с натугой:

— Ап'сины пр'даешь?

— Канэшна, — отвечает татарин, лениво поднимая брови. — Можит, нужна?

— Т'тарин? — допрашивает скучающий человек.

— Разумейса, — добродушно подтверждает татарин, — которы человек, так он всякий что-нибудь имеет. Диствит'лна, бывает татарин, бывает грек, да?

— Так, так, так, так... А скажи, п'жалуйста, вот что: вы, татарины, водку пьете?

— Никак нет, мы ему не пьем, потому нилзя.

— Почему же это нельзя, скажите на милость? — гордо закинув голову, снова спрашивает прохожий, — вредна она, эта водка, для вас или что?

— Канэшна, почему что у наши законе говор'т, что водком пить нельзя! Балшой грех ему, да!..

— Вздор, вздор, — покровительственно мямлит прохожий. — Что еще там за грех? Это вы, наверно, корана не поняли, как следует... Д'вай сюда коран, я тебе покажу место, где можно пить...

Татарин обиженно пожимает плечами. Долго думает, что бы возразить.

— Которы человек пьяны, тот ход'т, шатайся, — какой такой порядок?

— Вот ты, значит, ничего и не по'имаешь... «Шатается, шатается». Разве он сам шатается? Это водка его шатает. Он тут ни при чем.

— Сё равно. Идот, пает — кирчит, как осел, собакам, кошкам пугает, рази можно?

— А ежели весело, так почему ж не петь.

— Которы поет хорошо — так, канэшна, д'ствительна, ничего; а которы пьяный, так прохожий даже обижается, да?

— Мил'человек!! Послуш'те, татарин, татарин! Так неплевать же на прохожего? Понимаете? Лишь бы мне было весело, а прохожему, если не нравится, — пусть тоже пьет.

И опять крепко задумывается татарин. Придумывает возражение... Торжествующе улыбается.

— Ему, которы што — пьяный, лежать посреди улиса, спит, как мортвый, а ему обокрасть можно, да?

— Это неправда, — горячится защитник пьянства. — Слышите, татарин?! Ложь! Слышите? Если человек уже свалился, — его уже не могут обокрасть!

— Что такой — не могут? Он гаво'рт не могут. Почему, которы падлец вор, так он возьмет да обокрал, да?

— Как же его обокрадут, татарский ты чудак, ежели, когда он сваливается — так уже, значит, все пропито.

— Сё равно. Вазмёт, сапоги снимет, да?

— Пажалста, пажалста! В такую-то жару? Еще прохладнее будет!

Татарин поднимает голову и бродит ищущим взором по глубокому пышному синему небу, будто отыскивая там ответ...

— Началство, которы где человек служит да скажет ему: «Почему, пьяный морда, пришел? Пошел вон!»

— А ты пей с умом. Не попадайся.

— Нилза пить.

— Да почему? Господи Боже ты мой, ну почему?!

— Ему... канэшна — диствит'лна — уразумейса — водка очин горкий.

— Ничего это не разумеется. А ты сладкую пей, ежели горькая не лезет.

— Скажи, пажалста, гасподын... Почему мине пить, если не хочется, да?..

Аргумент веский, достойный уважения. Но защитник веселой жизни не согласен.

— Как так не хочется? Как так можег не хотеться? А ты знаешь, как русский человек через «не хочу» пьет? Сначала, действительно, трудно, а потом разопьешься — и ничего.

— Ты мине, гаспадын, скажи па совести: как лучше здоровье — человек, которы пьет, или которы ни пьет — да?

— В этом ты прав, милый продавец апельсинов, но только... что ж делать? Тут уж ничего не поделаешь... Живешь-то ведь один раз.

— Адын! А если печенкам болит, голова болит, ноги болит — разве это хороши дело?

— А ты статистику читал? — пошатнувшись, спрашивает прохожий.

— Нет, ни читал.

— Так вот ежели ты бы читал — ты бы знал, что п... по статистике на каждую душу человека народонаселения приходится в год выпить полтора ведра. Понял? Значит, обязан ты выпить свою долю или нет? Понял?

Татарин, сбитый с толку, растерянно смотрит на склонившееся над ним воспаленное от жары и водки лицо, на котором, как рубин, сверкает нос, доказывающий, что обладатель его выпил уже и свою долю, и татаринову, и долю еще кое-кого из непьющих российских граждан...

Татарин вздыхает, сдвигает барашковую шапку на бритый загорелый затылок и произносит свое неопределенное:

— Канэшна — диствит'лна — уразумейса...

— То-то и оно, — строго роняет прохожий и, не попрощавшись с татарином, идет дальше.

Подходит к пустынной Графской площади, долго стоит, опершись о колонну и глядя на тихую темную гладь бухты.

Думает...

Потом бормочет:

— А х'роший татарин попался!.. Правильный... рассудительный. Верно! Действительно, водка — это дрянь. Правильно он говорит — и здоровье расстраивает, и деньги, и начальство. Правильно! Ей-Богу, чего там. Он молодец! Я знаю, что я сделаю: я брошу пить! А? Прошу молчать, не возражать... Брошу и баста!

Он приподнимает руку и, немного согнувшись, долго стоит так, будто прислушиваясь к каким-то разбуженным голосам, неясно звучащим внутри него.

Прислушался... Будто проверил себя. Потом энергично разрубил воздух поднятой рукой.

— Бросил!!

* * *

А татарину — едва только отошел прохожий — сделалось вдруг скучно.

Он долго покачивал головой, причмокивал и одергивал свои широкие шаровары.

Потом сказал он сам себе:

— Диствит'лна, хорошо гаво'рт человек. Правилна. Раз я выпимши и мине хорошо — кому какой дело-да?.. Надо, разумейса, иметь на свой жизнь удоволствие... Эх, адын раз попробовать, пачему не попробовать-да?..

Решительно поднявшись с корточек, татарин еще больше заламывает на затылке шапку, берет на руку корзину и бодро шагает к берегу — в веселый севастопольский трактир «Досуг моряка»...

ФАТ

Подслушивать стыдно.

Отделение первого класса в вагоне Финляндской железной дороги было совершенно пусто.

Я развернул газету, улегся на крайний у стены диван и, придвинувшись ближе к окну, погрузился в чтение.

С другой стороны хлопнула дверь, и сейчас же я услышал голоса двух вошедших в отделение дам:

— Ну, вот видите... Тут совершенно пусто. Я вам говорила, что крайний вагон совсем пустой... По крайней мере, можем держать себя совершенно свободно. Садитесь вот сюда. Вы заметили, как на меня посмотрел этот черный офицер на перроне?

Бархатное контральто ответило:

— Да... В нем что-то есть.

— Могли бы вы с таким человеком изменить мужу?

— Что вы, что вы! — возмутилось контральто. — Разве можно задавать такие вопросы?! А в-третьих, я бы никогда ни с кем не изменила своему мужу!!

— А я бы, знаете... изменила. Ей-Богу. Чего там, — с подкупающей искренностью сознался другой голос, повыше. — Неужели вы в таком восторге от мужа? Он, мне кажется, не из особенных. Вы меня простите, Елена Григорьевна!..

— О, пожалуйста, пожалуйста. Но дело тут не в восторге. А в том, что я твердо помню, что такое долг!

— Да ну-у?..

— Честное слово. Я умерла бы от стыда, если бы что-нибудь подобное могло случиться. И потом, мне кажется таким ужасным одно это понятие: «измена мужу»!

— Ну, понятие как понятие. Не хуже других.

И, помолчав, этот же голос сказал с невыразимым лукавством:

— А я знаю кого-то, кто от вас просто без ума!

— А я даже знать не хочу. Кто это? Синицын!

— Нет, не Синицын!

— А кто же? Ну, голубушка... Кто?

— Мукосеев.

— Ах, этот...

— Вы меня простите, милая Елена Григорьевна, но я не понимаю вашего равнодушного тона... Ну, можно ли сказать про Мукосеева: «Ах, этот»... Красавец, зарабатывает, размашистая натура, успех у женщин поразительный.

— Нет, нет... ни за что!

— Что «ни за что»?

— Не изменю мужу. Тем более с ним.

— Почему же «тем более»?

— Да так. Во-вторых, он за всеми юбками бегает. Его любить, я думаю, одно мучение.

— Да ежели вы к нему отнесетесь благосклонно — он ни за какой юбкой не побежит.

— Нет, не надо. И потом он уж чересчур избалован успехом. Такие люди капризничают, ломаются...

— Да что вы говорите такое! Это дурак только способен ломаться, а Николай Алексеевич умный человек. Я бы на вашем месте...

— Не надо!! И не говорите мне ничего. Человек, который ночи проводит в ресторанах, пьет, играет в карты...

— Милая моя! Да что же он, должен дома сидеть да чулки вязать? Молодой человек...

— И не молодой он вовсе! У него уже темя просвечивает...

— Где оно там просвечивает... А если и просвечивает, так это не от старости. Просто молодой человек любил, жил, видел свет...

Контральто помедлило немного и потом, после раздумья, бросило категорически:

— Нет! Уж вы о нем мне не говорите. Никогда бы я не могла полюбить такого человека... И, в-третьих, он фат!

— Он... фат! Миленькая Елена Григорьевна, что вы говорите? Да вы знаете, что такое фат?

— Фат, фат и фат! Вы бы посмотрели, какое у него белье, — прямо как у шансонетной певицы!.. Черное, шелковое — чуть не с кружевами... А вы говорите — не фат! Да я...

* * *

И сразу оба голоса замолчали: и контральто, и тот, что повыше. Как будто кто ножницами нитку обрезал. И молчали оба голоса так минут шесть-семь, до самой станции, когда поезд остановился.

И вышли контральто и сопрано молча, не глядя друг на друга и не заметив меня, прижавшегося к углу дивана.

....

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ РАССКАЗ

I

Мы — любимая мною женщина и я — вышли из лесу, подошли к обрыву и замерли в немом благоговейном восхищении.

Я нашел ее руку и тихо сжал в своей.

Потом прошептал:

— Как хорошо вышло, что мы заблудились в лесу... Не заблудились мы — никогда бы нам не пришлось наткнуться на эту красоту. Погляди-ка, каким чудесным пятном на сочном темно-зеленом фоне выделяется эта белая рубаха мальчишки-рыболова. А река — какая чудесная голубая лента!..

— О, молчи, молчи, — шепнула она, прижимаясь щекой к моему плечу.

И мы погрузились в молчаливое созерцание... ....

....

— Это еще что такое? Кто такие? Вы чего тут делаете? — раздался пискливый голос за нашими спинами.

— Ах!

Около нас стоял маленький человек в чесучовом пиджаке и в черных длиннейших, покрытых до колен пылью брюках, которые чудовищно широкими складками ложились на маленькие сапоги.

Глаза неприязненно шныряли по сторонам из-под дымчатых очков, а бурые волосы бахромой прилипли к громадному вспотевшему лбу. Жокейская фуражечка сбилась на затылок, а в маленьких руках прыгал и извивался, как живой, желтый хлыст.

— Вы зачем здесь? Что вы тут делаете? А? Почему такое?

— Да вам-то какое дело? — грубо оборвал я.

— Это мне нравится! — злобно-торжествующе всплеснул он руками. — «Мне какое дело»?! Да земля-то эта чья? Лес-то это чей? Речушка эта чья? Обрыв этот — китайского короля, что ли? Мой!! Все мое.

— Очень возможно, — сухо возразил я, — но мы ведь не съедим всего этого?

— Еще бы вы съели, еще бы съели! А разве по чужой-то земле можно ходить?

— А вы бы на ней написали, что она ваша.

— Да как же на ней написать?

— Да вот так по земле бы и расписали, как на географических картах пишется: «Земля Черт-Иваныча».

— Ага! Черт-Иваныча? Так зачем же вы прилезли к Черту-Иванычу?!

— Мы заблудились.

— «Заблудились...»! Если люди заблудятся, они сейчас же ищут способ найти настоящую дорогу, а вы вместо этого целых полчаса видом любовались.

— Да скажите, пожалуйста, — с сердцем огрызнулся я, — что вам какой-нибудь убыток от того, что мы полюбовались вашим пейзажем?..

— Не убыток, но ведь и прибыли никакой я пока не вижу...

— Господи! Да какую же вам нужно прибыль?!

— Позвольте, молодой человек, позвольте, — пропищал он, усаживаясь на не замеченную нами до тех пор скамейку, скрытую в сиреневых кустах. — Как это вы так рассуждаете?.. Эта земля, эта река, эта вот рощица мне при покупке стоила денег?

— Ну, стоила.

— Так. Вы теперь от созерцания ее получаете совершенно определенное удовольствие или не получаете?

— Да что ж... Вид, нужно сознаться, очаровательный.

— Ага! Так почему же вы можете прийти, когда вам заблагорассудится, стать столбом и начать восхищаться всем этим?! Почему вы, когда приходите в театр смотреть красивую пьесу или балет, — вы платите антрепренеру деньги? Какая разница? Почему то зрелище стоит денег, а это не стоит?

— Сравнили! Там очень солидные суммы затрачены на постановку, декорации, плату актерам...

— Да тут-то, тут — это вот все — мне даром досталось, что ли? Я денег не платил? «Актеры»! Я тоже понимаю, что кра-

сиво, что некрасиво: вон тот мальчишка на противоположном берегу, «белым пятном выделяется на фоне сочной темной зелени» — это красиво! Верно... Пятно! Да ведь я этому пятну жалованье-то шесть рублей в месяц плачу или не плачу?

Я возразил, нетерпеливо дернув плечом:

— Не за то же вы ему платите жалованье, чтобы он выделялся на темно-зеленом фоне?

— Верно. Он у меня кучеренок. Да ведь рубашка-то эта от меня дадена, или как? Да если бы он, паршивец, в розовой или оранжевой рубашке рыбу удил — ведь он бы вам весь пейзаж испортил. Было бы разве такое пятно?

— Послушайте, вы, — сказал я, выйдя из себя. — Что вам надо? Чего вы хотите? Я стою здесь с этой дамой и любуюсь видом, расстилающимся перед нами. Это ваш вид? Вы за него хотите получить деньги? Пожалуйста, подайте нам счет!!

— И подам! — выпятил он грудь, с видом общипанного, но бодрящегося петуха. — И подам!

— Ну вот. Самое лучшее. А сейчас оставьте нас в покое. Дайте нам быть одним. Когда нужно будет, мы позовем.

Ворча что-то себе под нос, он криво поклонился моей спутнице, развел руками и исчез в кустах.

II

Хотя настроение уже было сбито, скомкано, растоптано, но я попытался овладеть собой:

— Ушел? Ну и слава Богу. Вот навязчивое животное. А хорошо тут... Действительно замечательно! Посмотри, милая, на этот перелесок. Он в теневых местах кажется совсем голубым, а по голубому разбросаны какие пышные, какие горячие желтые пятна освещенных солнцем ветвей. А полюбуйся, как чудесно вьется эта белая полоска дороги среди буйной разноцветной вакханалии полевых цветов. И как уютна, как хороша вон та красная крыша домика, белая стена которого так ослепительно сверкает на солнце. Домик — он как-то успокаивает, он как-то подчеркивает, что это не безотрадная пустыня... И эта как будто вырезанная на горизонте, потемневшая серая мельница... Ее крылья так лениво шевелятся в ленивом воздухе, что самому хочется лечь в траву и глядеть так долго-долго, ни о чем не думая... И вдыхать этот головокружительный медовый запах цветов.

Мы долго стояли, притихшие, завороженные.

III

— Пойдем... Пора, — тихо шепнула мне моя спутница.

— Сейчас. Эй, человек, — насмешливо крикнул я. — Счет!

Тотчас же послышался сзади нас треск кустов, и мы снова увидели нелепого землевладельца, который подходил к нам, размахивая какой-то бумажкой.

— Готов счет? — дерзко крикнул я.

— Готов, — сухо отвечал он. — Вот, извольте.

На бумажке стояло:

СЧЕТ

от помещика Кокуркова на виды местности, расположенной на его земле, купленной у купца Семипалова по купчей крепости, явленной у нотариуса Безбородько.

За стояние у обрыва, покрытого цветами, испускающими головокружительный медовый запах	2 руб.	---- к.
Река, так называемая голубая лента	1 –"–	–"–
Яркое белое пятно мальчика на темно-зеленом фоне кустов	–"–	50 –"–
Голубой перелесок, покрытый желтыми пятнами, ввиду дальности расстояния на сумму.....	–"–	30 –"–
Белая полоска дороги среди буйной вакханалии цветов; в общем за все..	–"–	60 –"–
Успокаивающий ослепительный домик с уютной красной крышей, подчеркивающий, что это не безотрадная пустыня............	1 –"–	50 –"–
Потемневшая серая мельница крестьянина Кривых, будто вырезанная на горизонте (настоящая! Это так только кажется)	–"–	70 –"–

Итого всего вида на 6 руб. 60 к.

Скривив губы, я педантически проверил счет и заявил, придавая своим словам оттенок презрения:

— К счету приписано.

— Где? Где? Не может быть.

— Да вот вы под шумок ввернули тут семь гривен за мельницу какого-то крестьянина Кривых. Ведь это не ваша мельница, а Кривых... Как же вы так это, а?

— Позвольте-с! Да она только с этого обрыва и хороша. А подойдите ближе — чепуха, дрянь, корявая мельничонка.

— Да ведь не ваша же?!

— Да я ведь вам и не ее самое продаю, а только вид на нее. Вид отсюда. Понимэ? Это разница. Ей от этого не убудет, а вы получили удовольствие...

— Э, э! Это что такое? За этот паршивый домишко вы поставили полтора рубля?! Это грабеж, знаете ли.

— Помилуйте! Чудесный домик. Вы сами же говорили: «Домик, он как-то успокаивает, как-то подчеркивает...»

— Черт его знает, что он там подчеркивает, только за него вы три шкуры дерете. Предовольно с вас и целковый.

— Не могу. Верьте совести, не могу. Обратите внимание, как белая стена ослепительно сверкает на солнце. И не только сверкает, но и подчеркивает, что это не безотрадная пустыня. Мало вам этого?

Я решил вытянуть из него жилы.

— И за дорогу содрали. Разве это цена — шесть гривен? Мы на нее почти и не смотрели. Скверная дорожка, кривая какая-то.

— Да ведь тут за все вместе: и за дорогу, и за буйную вакханалию цветов. Извольте обратить ваше внимание: ежели оценить по-настоящему вакханалию, то на дорогу не больше двугривенного придется. Пусть вам в другом месте покажут такую дорогу за двугривенный с обрыва...

Я повернул счет в руках и придирчиво заявил:

— Нет, я этого счета не могу оплатить.

— Почему же-с? Как смотреть, так можно, а платить — так в кусты?!

— Счет не по форме. Должен быть оплачен гербовым сбором.

— Да-с? Вы так думаете? Это по какому такому закону?

— По обыкновенному. Счета на сумму свыше пяти рублей должны быть оплачены гербовым сбором.

— Ах, вы вот как заговорили?! Пожалуйста! Вычеркиваю вам мельницу крестьянина Кривых и речку. Черт с ней, все равно зря течет. А уж четыре девяносто — это вы мне подайте. Вот вам и Черт-Иваныч!

Я вынул кошелек, сунул ему в руку пятирублевую бумажку и, сделав величественный жест «сдачи не надо», взял свою спутницу под руку.

По дороге от обрыва мы наткнулись на очень красивую пышную липу, но я уж воздержался от выражения громогласного восторга...

....

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ЗАДАЧА

Когда учитель громко продиктовал задачу, все записали ее и учитель, вынув часы, заявил, что дает на решение задачи двадцать минут, — Семен Панталыкин провел испещренной чернильными пятнами ладонью по круглой головенке и сказал сам себе:

— Если я не решу эту задачу — я погиб...

У фантазера и мечтателя Семена Панталыкина была манера — преувеличивать все события, все жизненные явления и вообще смотреть на вещи чрезвычайно мрачно.

Встречал ли он мальчика больше себя ростом, который, выдвинув вперед плечо и правую ногу и оглядевшись — нет ли кого поблизости, — ехидно спрашивал: «Ты чего задаешься, говядина несчастная?» — Семен Панталыкин бледнел и, видя уже своими духовными очами призрак витающей над ним смерти, тихо шептал:

— Я погиб.

Вызывал ли его к доске учитель, опрокидывал ли он дома на чистую скатерть стакан с чаем — он всегда говорил сам себе эту похоронную фразу:

— Я погиб.

Вся гибель кончалась парой затрещин в первом случае, двойкой — во втором и высылкой из-за чайного стола — в третьем.

Но так внушительно, так мрачно звучала эта похоронная фраза: «Я погиб», — что Семен Панталыкин всюду совал ее.

Фраза, впрочем, была украдена из какого-то романа Майн Рида, где герои, влезши на дерево по случаю наводнения

и ожидая нападения индейцев — с одной стороны и острых когтей притаившегося в листве дерева ягуара — с другой, все в один голос решили:

— Мы погибли.

Для более точной характеристики их положения необходимо указать, что в воде около дерева плавали кайманы, а одна сторона дерева дымилась, будучи подожженной молнией.

* * *

Приблизительно в таком же положении чувствовал себя Панталыкин Семен, когда ему не только подсунули чрезвычайно трудную задачу, но еще дали на решение ее всего-навсего двадцать минут.

Задача была следующая.

«Два крестьянина вышли одновременно из пункта А в пункт Б, причем один из них делал в час четыре версты, а другой — пять. Спрашивается, на сколько один крестьянин придет раньше другого в пункт Б, если второй вышел позже первого на четверть часа, а от пункта А до пункта Б такое же расстояние в верстах, — сколько получится, если два виноторговца продали третьему такое количество бочек вина, которое дало первому прибыли сто двадцать рублей, второму восемьдесят, а всего бочка вина приносит прибыли сорок рублей».

Прочтя эту задачу, Панталыкин Семен сказал сам себе:

— Такую задачу в двадцать минут! Я погиб.

Потеряв минуты три на очинку карандаша и на наиболее точный перегиб листа линованной бумаги, на которой он собирался развернуть свои математические способности, Панталыкин Семен сделал над собой усилие и погрузился в обдумывание задачи.

Первым долгом ему пришла в голову мысль:

— Что это за крестьяне такие: «первый» и «второй»?

Эта сухая номенклатура ничего не говорит ни его уму, ни его сердцу. Неужели нельзя было назвать крестьян простыми человеческими именами? Конечно, Иваном или Василием их можно и не называть (инстинктивно он чувствовал прозаичность, будничность этих имен), но почему бы их не окрестить — одного Вильямом, другого Рудольфом.

И сразу же, как только Панталыкин перекрестил «первого» и «второго» в Рудольфа и Вильяма, оба сделались

ему понятными и близкими. Он уже видел умственным взором белую полоску от шляпы, выделявшуюся на лбу Вильяма, лицо которого загорело от жгучих лучей солнца... А Рудольф представлялся ему широкоплечим мужественным человеком, одетым в синие парусиновые штаны и кожаную куртку из меха речного бобра.

И вот — шагают они оба, один на четверть часа впереди другого...

Панталыкину пришел на ум такой вопрос:

— Знакомы ли они друг с другом, эти два мужественных пешехода? Вероятно, знакомы, если попали в одну и ту же задачу... Но если знакомы — почему они не сговорились идти вместе. Вместе, конечно, веселее, а что один делает в час на версту больше другого, то это вздор; более быстрый мог бы деликатно, понемногу сдерживать свои широкие шаги, а медлительный мог бы и прибавить немного шагу. Кроме того, и безопаснее вдвоем идти — разбойники ли нападут или дикий зверь...

Возник еще один интересный вопрос:

— Были у них ружья или нет?

Пускаясь в дорогу, лучше всего захватить ружья, которые даже в пункте Б могли бы пригодиться, в случае нападения городских бандитов — отрепья глухих кварталов.

Впрочем, может быть, пункт Б — маленький городок, где нет бандитов...

Вот опять же — написали: пункт А, пункт Б... Что это за названия? Панталыкин Семен никак не может представить себе городов или сел, в которых живут, борются и страдают люди, под сухими бездушными литерами. Почему не назвать один город Санта-Фе, а другой — Мельбурном.

И едва только пункт А получил название Санта-Фе, а пункт Б был преобразован в столицу Австралии, как оба города сделались понятными и ясными... Улицы сразу застроились домами причудливой экзотической архитектуры, из труб пошел дым, по тротуарам задвигались люди, а по мостовым забегали лошади, неся на своих спинах всадников — диких, приехавших в город за боевыми припасами, вакэро и испанцев, владельцев далеких гациенд...

Вот в какой город стремились оба пешехода — Рудольф и Вильям...

Очень жаль, что в задаче не упомянута цель их путешествия. Что случилось такое, что заставило их бросить свои дома и спешить, сломя голову, в этот страшный, наполненный пьяницами, карточными игроками и убийцами Санта-Фе?

И еще — интересный вопрос: почему Рудольф и Вильям не воспользовались лошадьми, а пошли пешком? Хотели ли они идти по следам, оставленным кавалькадой гверильясов, или просто прошлой ночью у их лошадей таинственным незнакомцем были перерезаны поджилки, дабы они не могли его преследовать — его, знавшего тайну бриллиантов Красного Носорога...

Все это очень странно... То, что Рудольф вышел на четверть часа позже Вильяма, доказывает, что этот честный скваттер не особенно доверял Вильяму и в данном случае решил просто проследить этого сорвиголову, к которому вот уже три дня подряд пробирается ночью на взмыленной лошади креол в плаще.

...Подперев ручонкой, измазанной в мелу и чернилах, свою буйную, мечтательную, отуманенную образами голову — сидит Панталыкин Семен.

И постепенно вся задача, ее тайный смысл вырисовывается в его мозгу.

* * *

Задача.

...Солнце еще не успело позолотить верхушек тамариндовых деревьев, еще яркие тропические птицы дремали в своих гнездах, еще черные лебеди не выплывали из зарослей австралийской кувшинки и желтоцвета, когда Вильям Блокер, головорез, наводивший панику на все побережье Симпсон-Крика, крадучись шел по еле заметной лесной тропинке... Делал он только четыре версты в час — более быстрой ходьбе мешала больная нога, подстреленная вчера его таинственным недругом, спрятавшимся за стволом широколиственной магнолии.

— Каррамба! — бормотал Вильям. — Если бы у Старого Билля была сейчас его лошаденка... Но., пусть меня разорвет, если я не найду негодяя, подрезавшего ей поджилки. Не пройдет и трех лун.

А сзади него в это время крался, припадая к земле, скваттер Рудольф Каутерс, и его мужественные брови мрачно хмурились, когда он рассматривал, припав к земле, след сапога Вильяма, отчетливо отпечатанный на влажной траве австралийского леса.

— Я бы мог делать и пять верст в час (кстати, почему не «миль» или «ярдов»), — шептал скваттер, — но я хочу выследить эту старую лисицу.

А Блокер уже слышал сзади себя шорох и, прыгнув за дерево, оказавшееся эвкалиптом, притаился...

Увидев ползущего по траве Рудольфа, он приложился и выстрелил.

И, схватившись рукой за грудь, перевернулся честный скваттер.

— Хо-хо! — захохотал Вильям. — Меткий выстрел.

День не пропал даром, и Старый Билль доволен собой.

....

* * *

— Ну, двадцать минут прошло, — раздался, как гром в ясный погожий день, голос учителя арифметики. — Ну что, все решили? Ну, ты, Панталыкин Семен, покажи: какой из крестьян первый пришел в пункт Б.

И чуть не сказал бедный Панталыкин, что, конечно, в Санта-Фе первым пришел негодяй Блокер, потому что скваттер Каутерс лежит с простреленной грудью и предсмертной мукой на лице, лежит одинокий в пустыне, в тени ядовитого австралийского «змеиного дерева»...

Но ничего этого не сказал он. Прохрипел только: «Не решил... не успел...»

И тут же увидел, как жирная двойка ехидной гадюкой зазмеилась в журнальной клеточке против его фамилии.

— Я погиб, — прошептал Панталыкин Семен. — На второй год остаюсь в классе. Отец выдерет, ружья не получу, «Вокруг света» мама не выпишет...

И представилось Панталыкину, что сидит он на развалине «змеиного дерева»... Внизу бушует разлившаяся после дождя вода, в воде щелкают зубами кайманы, а в густой листве прячется ягуар, который скоро прыгнет на него, потому что огонь, охвативший дерево, уже подбирается к разъяренному зверю...

— Я погиб...

АКТРИСА

Один из поклонников драматической актрисы Синекудровой однажды, исчерпав все темы салонных разговоров, спросил ее:

— А откуда вы родом, Марья Николаевна?

— Ах, вы не поверите, — оживилась Марья Николаевна, заламывая руки за голову. — Из Калиткина! Ни более, ни менее... Есть такой городок в Юго-Западном крае... Верст четыреста отсюда. Ах, мой милый, милый Калиткин!

Вид у Марьи Николаевны был умиленный.

— Господи! Вот вспомнила я о нем — и сладко сжалось мое сердце... Девочкой пятнадцати лет уехала я оттуда и вот уже не была там лет двадц... что я, дура, говорю!.. Лет двенадцать не была я в этом милом городишке. Да. Или десять.

— Большой город? — спросил поклонник.

В связи с этим вопросом он поцеловал и погладил руку Марьи Николаевны...

— Нет, крошечный... Вот такой...

— Уехали вы оттуда маленькой девочкой, — задумчиво сказал поклонник, прикладываясь губами, в связи с этим замечанием, к розовому, как лепесток цветка, локтю Марьи Николаевны. — Уехали маленькой девочкой, а приедете большой, взрослой женщиной.

Это замечание поразило Марью Николаевну.

— А ведь действительно! Уехала маленькой, а приеду большой...

— Если соберетесь ехать, возьмите и меня. И я вспомню с вами ваше детство.

И как солидная казенная бумага скрепляется печатью, так и поклонник подкрепил свой совет поцелуем в плечо.

— Оставьте! На нас смотрят. Чего же я ни с того ни с сего туда поеду?..

— А вы там спектакль дайте. Как раз на будущей неделе ваш театр сдается на три дня под гастроли итальянской оперы — и вы свободны. Идея, а? Подумайте, какой шум будет в этом Калиткине! — «Известная драматическая артистка Синекудрова, уроженка нашего города, — дает только один спектакль».

При слове «уроженка» поклонник поцеловал ладонь Марьи Николаевны, чем в достаточной мере подчеркнул многозначительность этого слова.

— Да с кем же я спектакль устрою?

— Господи! Да с товарищами же! Ведь они тоже свободны.

— Калиткин, Калиткин, милый мой городишко...— умиленно прошептала Марья Николаевна. — Я, кажется, на старости лет становлюсь сентиментальной. Разве поехать?

— О, солнце мое! И я с вами!!

И впервые, вероятно, за все время существования солнечной системы с солнцем было поступлено так фамильярно: солнце было поцеловано в сгиб руки, у локтя.

* * *

В пути было чрезвычайно весело: чувствовалось, что это не деловая поездка, а приятный шумный пикник. И весь вагон был наполнен пением, смехом и визгом.

Одна Марья Николаевна, по мере приближения к Калиткину, делалась все тише, просветленнее и как-то кроткосамоуглубленнее.

Она всем ласково улыбалась и чувствовала себя при этом маленькой десятилетней девочкой.

— О, как я вас понимаю, — шептал ей увязавшийся-таки за всеми в поездку поклонник. — Вы себя должны чувствовать девочкой.

В связи с этим он чмокнул ее в плечо.

— Оставьте, смотрят, — лениво отмахнулась Марья Николаевна.

— Так вы же чувствуете себя маленькой девочкой, а детей можно целовать.

Видно было, что этот шустрый поклонник знал тысячу разных уверток, и уж его бы на этой почве Марья Николаевна никогда не переспорила.

— Все-таки... нельзя же так целоваться. Что подумают актеры!

— Актеры сейчас едят ветчину с горчицей, а когда актеры едят ветчину с горчицей — они не думают.

— Ну, разве что. И откуда вы все это так хорошо знаете?..

* * *

Приехали около трех часов дня.

Кое-кто бросился к извозчикам, но Марья Николаевна запротестовала.

— Нет, нет! Багаж пусть отвезут в гостиницу, а мы пойдем пешком. Так приятно окунуться в детство.

— И мне тоже, — сказал приютившийся сбоку поклонник. — И я тоже хочу окунуться.

Сделал он это так: поцеловал руки Марьи Николаевны.

И все — числом восемь человек — побрели пешком.

Шли сзади Марьи Николаевны, из уважения к ней немного сосредоточенные, из уважения к ней сдерживая веселье и вежливо осматривая маленькие покосившиеся домишки.

— Смотрите! — сказала поклоннику Марья Николаевна. — Вот на этой улице я покупала сладкие рожки. Знаете, что это такое? Рожки... Тут они были особенно сладкие.

— Неужели? — удивился поклонник и, как парень не промах, прижал локоть Марьи Николаевны к своему.

— А вот здесь меня один мальчишка, когда я шла из училища, камнем в ногу ударил.

— Какой подлец, — проревел поклонник. — Экие канальи! Вешать их мало! А? Как вам нравится! Камнем в ногу! Ну, попался бы он мне...

— Да, да... Мне тогда было лет десять. Я еще, помню, остановилась у этого домика и плачу, плачу, плачу, а какой-то лавочник вышел, дал мне две мармеладины и успокоил меня.

Поклонник задрожал от восхищения.

— Какой симпатичный лавочник! Смотрите-ка! Приласкал мое милое солнышко! С каким бы удовольствием я пожал ему руку, этому честному торговцу.

— Ну, где там... Он уже, наверное, умер.

— Царство же ему небесное! — прошептал поклонник, благоговейно целуя руку Марьи Николаевны.

— А это вот домик, где, кажется, жил наш дьякон. Смотрите-ка!

— Ага.. Да, да. Действительно. Хороший домик. Ишь ты, какая труба!.. И дым идет. Очень мило.

— Я все боялась тут ходить. По этой улице бродила какая-то полоумная нищенка, все прыгала на одной ноге и грозила мне пальцем.

— А? Как это вам понравится! — возмущенно пожал плечами поклонник. — Вот она, наша полиция! Взятки брать мастерица, а что нищенство у нее под самым носом развернулось пышным махровым цветком — на это ей наплевать. Эх, режим!

На лице его было написано страдание.

* * *

Вышли на какую-то крохотную площадь, посредине которой сверкала еще не совсем просохшая после дождя лужа. Площадь была окружена маленькими каменными и деревянными домиками с зелеными ставнями, белыми занавесочками на окнах и горшками красных и розовых цветов на подоконниках.

Толстая женщина, положив маленького мальчишку к себе на колено, награждала его методическими шлепками.

Мальчишка, увидя показавшееся на площади пышное общество, открыл широко глаза, впился ими в актеров и совсем позабыл, что ему нужно реветь.

— Ах, не наказывайте этого милого мальчика, — сказала Марья Николаевна. — Он такой хорошенький. Как тебя зовут?

— Епишкой, — ответил мальчик, воткнув в рот палец не первой свежести.

— На тебе, Епиша, гривенничек. Купи себе леденцов! — Очень милый мальчуган.

По своей привычке отражать все чувства и переживания Марьи Николаевны в чудовищно-преувеличенном виде ее поклонник выдвинулся и тут.

— Очаровательный мальчик! Прямо-таки замечательный, — в экстазе вскричал поклонник. — Никогда я не встречал таких интересных детей. На тебе, дорогое дитя, три рубля! Купи себе леденчиков.

Марья Николаевна отошла от всех и остановилась в сладкой задумчивости перед кирпичным одноэтажным домиком с красными покосившимися воротами и крохотной калиточкой.

— Вот он, — прошептала она подоспевшему к ней юркому поклоннику, опираясь на его плечо. — Вот место моих детских игр и забав... Вот на этой калитке я любила кататься, схватившись за щеколду. Калитка скрипела,

а мне казалось, что это какая-то рыжая птица, я срывалась и бросалась к этой кузнице, которая была излюбленным местом наших сборищ. Мы любили сидеть тут, вот на этих палках... Как они называются? К которым еще лошадей привязывают?

— Коновязь?

— Не знаю, право... Так вот... И кузнец был черный, грубый и всегда кричал нам: «Эх, поджарю я вас, чертенят!» Но только мы его не боялись, потому что он был добрый.

— Гм! — сказал поклонник, — прямо-таки это поразительно.

— А вот это колодец, видите? Я чуть в него не свалилась однажды. Хотела плюнуть в него, перевесилась и... Ах! А вот это — смотрите-ка! В этом домике жила моя подруга Таша Тягина. Боже мой! Ах, мне плакать хочется... Все, все тут, как было... И эта будочка, где квас продают — в стене, и эти деревья. Смотрите-ка, я лазила иногда к Таше через этот забор, когда ее наказывали. Видите, в саду там белая постройка — это баня. Ее в баню запирали, а я к ней лазила. Ее родители строго держали.

— Ах, какие мерзавцы! — ахнул старательный, готовый на все поклонник. — Повесить их мало! Колесовать таких изуверов.

— Что вы! Они были хорошие люди. И крыльцо таким же осталось!.. Я помню, мы однажды свалились с него вместе с Ташей, и я ударилась виском о такую металлическую штуку, которой с подошв грязь счищают. Видите — вот эта штука до сих пор... И даже грязь на ней засохшая... Милая грязь! А вон — тот домик околоточного. Мы его очень боялись, потому что он пьяных бил. А в комнатах у него масса птиц.

— А что, если эта милая, эта очаровательная ваша подруга Таша — еще здесь? — спросил поклонник. — Нельзя ли узнать? Я бы крепко поблагодарил ее за дружбу, которую она питала к вам.

— А это хорошо, знаете! — загорелась Марья Николаевна. — Господи! Это было бы такое счастье.

В это время сгорбленный седой старик показался на крыльце домика, перед которым столпились актеры.

— Вот он, — зашептала Марья Николаевна, хватая поклонника за руку. — Как он постарел. А вот из ворот вышел

их работник Веденей. Вот я сейчас его спрошу. Эй, Веденей, милый! Узнаешь ты меня?

Чернобородый Веденей подошел ближе и сказал:

— Чего изволите? А я не Веденей даже.

— Что ты говоришь! Не могла же я забыть твоего имени. Еще ты нас с Ташей на лошади катал.

— Никак нет.

Сгорбленный старик, ковыляя, уже спустился с крыльца и подошел к компании.

— Что им угодно? Чего вы, господа, спрашиваете?

— Николай Егорыч! Вы меня узнаете?

— Простите, вы ошиблись! Я не Николай Егорыч. Извините-с. Я Матвеев-с. Парамон Ильич. Извините!

— Да позвольте! Гм... Странно. Вы, значит, этот дом перекупили у Тягиных?..

— Ничего я не перекупал... Сам-с, простите, построил.

— Гм! Давно?

— Сорок пять лет-с уже тому.

— Ничего не понимаю! А вы Козяхиных помните? Ваших соседей!.. А? Это моя настоящая фамилия.

— Никаких Козяхиных не знаю, — сказал старик с некоторой даже обидой в голосе. — Даром изволите говорить. Занапрасно.

— Ах, ты, Господи! Ведь моего отца вся Мельничная улица знала. Вот, в этом красном домике... Господи. Ведь это все мое детство!..

— Может-с быть, может-с быть. А только это не Мельничная улица, а Малая Слободская.

— Не понимаю, — растерялась Марья Николаевна...— Неужели? И вы все время жили в Калитине?

— Никогда-с, сударыня, там не был. Оно хотя Калиткин от нашего Сосногорска и в семидесяти верстах — а не случалось бывать.

— Так этот город — не Калиткин? — спросил комик.

— Сосногорск, извините. Так уж он у нас и обозначен: Сосногорск. Рановато, сударыня, с поезда слезли. Еще часа два до Калитина.

Все постояли с минуту и потом, повернувшись, пошли к вокзалу.

Молчали.

ТЫСЯЧА ПЕРВАЯ ИСТОРИЯ О ЗАМЕРЗАЮЩЕМ МАЛЬЧИКЕ

Был вечер кануна Рождества.

Холод все усиливался, и ветер дул грубыми бессистемными порывами, морозя нос, щеки и все, что беззаботный прохожий беззаботно выставлял наружу...

А наверху, над крышами многоэтажных домов, ветер совсем сбесился: он выл, прыгал с крыши на крышу, забирался в дымовые трубы и с новой силой обрушивался вниз.

Беллетрист Вздохов и художник Полторанин бодро шагали по покрытому снегом тротуару, закутанные в теплые шубы.

Оба спешили на елку, устроенную издателем газеты Сидяевым, оба предвкушали теплую гостиную, сверкающую елку, щебетание детей и тихий смех девушек.

А мороз крепчал.

— Ужасно трудно писать рождественские рассказы, — пробормотал, отвечая сам себе на какие-то свои мысли, Вздохов. — Пишешь, пишешь — и обязательно или в банальщину ударишься, или таких ужасов накрутишь, что и самому стыдно...

Он приостановился и обернулся к впадине неосвещенного, полузанесенного липким снегом подъезда.

— Гляди-ка. Что это там?

Приятели приблизились к подъезду и разглядели у дверей чью-то маленькую скорчившуюся фигурку.

— Что это он там?

— Эй, мальчик, как тебя! Что ты тут делаешь?

Тихий плач был им ответом.

Потом лохмотья зашевелились, показалась скрючившаяся от холода красная ручонка, и заплаканное худое лицо мальчика лет девяти обернулось к ним.

— Хол... ло... дддно, — стуча зубами, сказал малютка.

— Экие у него лохмотья, — сочувственно прошептал Полторанин.

Вздохов с задумчивым выражением лица склонился над мальчиком.

Внимательно осмотрел его...

— Полторанин! У нас сегодня какой день-то?

— Сочельник.

— Та-ак. Значит, вечер перед Рождеством?

— Очевидно.
— Так знаешь, что это такое?
Он носком своего ботика указал на скорчившуюся фигурку.
— Ну?
— Это, — торжественно сказал Вздохов, — замерзающий мальчик!
— Я думаю! Об этом не может быть двух мнений.
— Это, — торжествующе повторил Вздохов, — знаменитый замерзающий в Рождественскую ночь мальчик!!
Наконец-то я увидел тебя воочию, замерзающий мальчик!!!
Оба, наклонившись над ребенком, внимательно его осматривали.
— Да! Да! Не может быть сомнений: самый настоящий замерзающий мальчик... И по календарю — нет никакой ошибки. Календарь показывает Рождество.
— Постой, Полторанин... Взгляни-ка на окна фасада. Нет ли здесь где-нибудь зажженной елки?
— Есть! Второй этаж, четвертое, пятое и шестое окна.
Полторанин бросил взгляд на освещенные окна.
— Так. Значит, все в порядке.
— А что в порядке?
— Замерзает у окон с елкой. По шаблону. Странно, — прошептал Вздохов, не слушая его. — Сколько раз читал об этих мальчиках, писал, потом даже сочинял иронический фельетон насчет злоупотребления рождественскими мальчиками. А вижу его в первый раз.
— Ох уж эти рождественские мальчики, — поморщился Полторанин. — Действительно, стоит только развернуть номер рождественского издания, чтобы непременно наткнуться на этого мальчика в той или другой форме.
— А теперь, в последнее время, стало даже еще хуже, — возразил Вздохов компетентным тоном. — Теперь стали писать юморески и сатиры на увлечение рождественскими мальчиками, и смеялись эти шутники так усердно, что и этот сюжет затаскали.
— Действительно! — улыбнулся Полторанин. — Скажи мы, что нам сегодня, в вечер под Рождество, встретился замерзающий у неосвещенного подъезда мальчик — да ведь нам в глаза рассмеются.
— Вышутят.
— Замахают на нас руками!

— Пожмут плечами!!

— Назовут пошляками.

— А действительно, какой ужас — банальщина! Ведь вот перед нами настоящий живой...

— Вернее, полуживой!

— Полуживой рождественский мальчик.

«Замерзающий мальчик»! Какая в этом образе для литературно-изысканного вкуса пошлость! Даже во рту кисло.

— И вот ты возьми: может быть, если бы мы были простыми мужиками или рабочими, которые даже не слыхали о рождественских рассказах, — мы бы подобрали его, обогрели, накормили и, пожалуй, елочку ему соорудили. На тебе, мил человек! Получай удовольствие! А завтра бы проснулся он чистенький, в теплой постельке и над ним бы склонилось добродушное скуластое лицо бородача — рабочего, который нащекотал бы его грубым мозолистым пальцем.

Полторанин насмешливо взглянул на говорившего Вздохова.

— Ого! Импровизация. На тему о замерзавшем и спасенном мальчике?!

— Фу ты! Действительно, — смущенно рассмеялся Вздохов. — «Сюжетец»! А ты знаешь — я все могу простить человеку, но не тривиальность! Но не пошлость! Но не шаблон! Пойдем.

— Постой, — несмело остановил его Полторанин, поглядывая на забившегося в угол мальчика. — Неужели оставить его так? А может, отвести его куда-нибудь?.. Обогреть, что ли?! Покормить?.. Переодеть, что ли?..

— Так, так, — наморщился Вздохов, будто кто-нибудь скрипнул гвоздем по тарелке. — Так, так... А завтра малютка проснется в теплой постельке, и над ним склонится твое бородатое лицо, и указательный палец неуклюже потянется к подбородку рождественского мальчика, с целью пощекотать оный... «Сюжетец»!..

— Экий ты яд, — пожал сконфуженно плечами художник. — Ну, в таком случае, пойдем.

— То-то. Да! Так о чем я тебе говорил?

— О сюжетах же.

— Ну вот. И имей в виду, что сюжет рассказа — такая вещь, которую...

Голоса разговаривающих замолкли в отдалении.

Мальчик в углу подъезда тоже замолк.

Постепенно его темную фигуру совершенно занесло белым снегом.

И замерз он так, совсем замерз, не подозревая даже, что это — затасканный сюжет.

ВСТРЕЧА

Два господина приближались друг к другу с разных концов улицы... Когда они сошлись, один из них бросил на другого рассеянный, равнодушный взгляд и хотел идти дальше, но тот, на кого был брошен этот взгляд, растопырил руки, радостно улыбнулся и вскричал:

— Господин Топорков! Сколько лет! Безумно рад вас видеть.

Топорков посмотрел восторженному господину в лицо. Оно было полное, старое, покрытое сетью лучистых ласковых морщинок и до мучительности знакомое Топоркову.

Остановившись, Топорков задумался на мгновенье. Знакомые лица, образы, рой фактов с сумасшедшей быстротой завертелись в его мозгу, направленные к одной цели: вспомнить, кто этот человек, лицо которого, будучи таким знакомым, ускользало из ряда других, вызванных торопливой, скачущей мыслью Топоркова.

Как будто бы этот человек давался в руки, вот-вот Топорков вспомнит его имя, их отношения, встречи... но сейчас же эта мысль обрывалась, и физиономия неизвестного господина снова оставалась загадочной в своей радостной улыбке и восторженном добродушии.

— Здрав... ствуйте, — нерешительно сказал Топорков.

— Что это вы такой мрачный? Слушайте, Топорков! Я от вашей последней статьи прямо в восторге. Читал и наслаждался! Как она бишь называется? «Итоги реакции»! Если мне придется давать ей характеристику и подробный разбор, — сделаю это с особым наслаждением...

«Критик», — подумал Топорков и, польщенный похвалой пожилого господина, пожал ему руку крепче, чем обыкновенно.

— Так вам эта вещица нравится?

— Помилуйте! Как же она может не нравиться? Я еще ваше кое-что прочел. Читаю запоем. Люблю, грешный человек, литературу. Хотя по роду своей деятельности мог бы к ней относиться... как бы это выразиться?.. более меркантильно.

«Издатель, что ли? — подумал Топорков. — Боже мой! Где я его видел? ...»

— Скажите, а как поживает Блюменфельд? Что его журнал? — спросил старик.

— Блюменфельд уже вышел из крепости. Ведь вы знаете, — сказал Топорков, — что он был приговорен к двум годам крепости?

— Как же, как же, — закивал головой пожилой господин. — Помню! За статью «Кровавые шаги». Неужели уже вышел? Боже, как быстро время идет.

— Вы разве хорошо знаете Блюменфельда?

— Боже ты мой! — усмехнулся старик. — Мой, так сказать, крестник. Ведь эта вся марксистская молодежь и народники, и неохристиане, и отчасти мистики прошли через мои руки: Синицкий, Яковлев, Гершбаум, Пыпин, Рукавицын... Немного я, признаться, не согласен с рукавицынским разрешением вопроса о крестьянском пролетариате, но зато Гершбаум, Гершбаум! Вот прелесть! Я каждую его вещь, самую пустяковую, из газет вырезываю и в особую тетрадь наклеиваю... А книги его — это лучшее украшение моей библиотеки... Кстати, вы не видели моей библиотеки? Заходите — обрадуете старика.

«Библиофил он, что ли? — мучительно думал Топорков. — Вот дьявольщина!»

— А вы знаете, кассационная жалоба Гершбаума не уважена, — сообщил старик. — По-прежнему шесть месяцев тюрьмы, с зачетом предварительного заключения.

— «Неужели адвокат?» — внутренно удивился Топорков.

— Адвокат его, — рассказал старик, — нашел еще какой-то там повод для кассации. Ну да уж что поделаешь. Кстати, читали последний альманах «Вихри»? Ах, какая там вещь есть! «По этапам» Кудинова... Мы с женой читали — плакали старички! Растрогал Кудинов старичков.

— Кудинов тоже привлекался. Слышали? — спросил Топорков. — По 129-й.

— Как же. Второй пункт. Они вместе — с редактором Лесевицким. Лесевицкому еще по другому делу лет шесть каторги выпасть может. Кстати, дорогой Топорков, не знае-

те ли вы, где бы можно достать портрет Кудинова? Мне бы хоть открытку.

— Для чего вам? — удивился Топорков.

Старик с милым смущением в лице улыбнулся.

— Я — как институтка... Хе-хе! Увеличу его и повешу в кабинете. Вы заходите — целую галерею увидите: Пыпина, Ковалевского, Рубинсона... Писатели, так сказать, земли русской. А Ихметьева даже на выставке купил. Помните? Работы Кульжицкого. Хорошо написан портретик. А люблю я, старичок, Ихметьева. Вот поэт Божьей милостью! Сядешь это иногда, декламируешь вслух его «Красные зори», а сам нет-нет да и взглянешь на портрет.

— Вы слышали, конечно, — сказал Топорков печально, — что Ихметьеву тоже грозит два года тюрьмы. За эти самые «Красные зори».

— Как же! Ему эти строки инкриминируются:

Кто хочет победы
Пусть сомкнутым строем...—

и так далее. Прелестное стихотворение! Теперь уж, за последний год, никто так не пишет... Загасили святое пламя да на извращения разные полезли. Не одобряю!

Желая сказать старику что-нибудь приятное, Топорков успокоительно подмигнул бровью.

— Ихметьев, может, еще и выкарабкается.

— Как же! — сказал старик. — Дожидайтесь... «Выкарабкается»... Вчера же ему был и приговор вынесен. Не читали? Один год тюрьмы. Такая жалость!

— Неужели же только один год? — удивился Топорков. — А я думал, больше закатают.

— То-то *я* и говорю, — покачал головой старик. — Такая жалость! Я ему просил два года крепости, а ему — год тюрьмы дали. Адвокат попался ему — дока!

— Как... вы просили? — сбитый с толку, воскликнул Топорков. — У кого просили?

— У суда же. Но это мы еще посмотрим. У меня есть тьма поводов для кассации. Возможно, что два года крепости ему и останутся.

— Да вы кто такой? — сердито уже вскричал Топорков, нервы которого напряглись предыдущей бестолковой беседой до крайней степени.

— Господи, Боже ты мой! — улыбнулся старик, и лучистые морщинки зашевелились на его кротком лице. — Неужели не признали? Да прокурор же! Прокурор окружного суда. Ведь вы меня должны помнить, господин Топорков: я вас, помните, обвинял три года тому назад по литературному делу... вы год тогда получили.

— Так это вы! — сказал Топорков. — Теперь припоминаю. Вы, кажется, требовали трех лет крепости и когда меня присудили на год, то кассировали приговор.

— Ну да! — обрадовался прокурор. — Вспомнили? За эту статью... как ее?.. «Кровавый суд». Прекрасная статья! Сильно написана. Теперь уж так не пишут... А вы так и не признали меня сначала? Бывает... Хе-хе! А вы все же ко мне заглянули бы. Я адресок дам. По стакану вина выпьем, о литературе разговаривать будем... Мою портретную галерею посмотрите... Все висят: Гершбаум, Ихметьев, Николай Владимирович Кудинов... Встретите Блюменфельда — тащите с собой. Как же! Мы старые знакомые... И с Лесевицким, и Пыпиным, и Гершбаумом...

Прокурор вынул свою карточку с адресом, сунул ее в руку Топоркову и зашагал дальше, щуря на тротуарные плиты добрые близорукие глаза.

НОВОГОДНИЙ ТОСТ
(*Монолог*)

— Господа!

Предыдущий застольный оратор высказал такое пожелание: «Поздравляю, мол, вас с Новым годом и желаю, чтобы в Новом году было все новое!»

Так сказал предыдущий оратор.

Мысль, конечно, не новая... (Саня, налей мне, я хочу говорить.) Не новая. Скажу более: мысль, высказанная предыдущим оратором, стара, истаскана, как стоптанный башмак, — да простит мне предыдущий оратор это тривиальное выражение. Что? (Саня, налей мне еще — я буду говорить. Я хочу говорить.) И вместе с тем скажу я: почему нам не приветствовать старой, даже, может быть, пошлой — да простит мне предыдущий оратор — мысли, если эта

мысль верна?!! Что? Очень просто. (Саня, чего заснул? Налить бы надо, а ты спишь.) То-то и оно.

Я и говорю: пусть же в Новом году будет все новое, все молодое, все свежее. (Саня! Ну?) Конечно, всего не омолодишь... Вон у Сергея Христофорыча лысина во всю голову — что с ней сделаешь? Не сеять же на ней, извините, горох или какое-нибудь пшено. Что? Извините, я не настаиваю. Я только хочу сказать, что в природе чудес не бывает.

Но я настаиваю, что все больное, хилое должно отмереть. Верно? (Спасибо, Саня. Осторожнее. На скатерть!) Вон у Петра Васильевича вата в ушах, у Мелетии Семеновны за пазухой, а у предыдущего оратора вата, может быть, в голове — борись-ка с этим! (Не толкайся, Саня! Я должен нынче высказать все.)

Господа!

Да здравствует новое! Вот, например, у меня на салфетке дыра... К чему она? Куда она? Я прошу у хозяйки извинения, но так же нельзя! Я хочу утереть губы салфеткой, беру ее в руки — и что же? Рука попадает в эту дыру, и я вытираю губы незащищенной рукой. К чему же тогда салфетка? Фикция! Оптический обм... (Саня, Саня! Ты совсем не занимаешься физическим трудом — налей!) Мне вспомнился, господа, презабавный случай с одним английским пуделем... Нет, впрочем, это не то... Гм!..

Предыдущий оратор — глуп, но какой-то нерв уловил. Ты мне начинаешь нравиться, предыдущий оратор! «Все, говорит, в Новом году должно быть новое...» И верно!

У вас, например, — как вас там, Агния Львовна, что ли?.. — есть дети. Так? Что же это за дети? Это старые дети... Верно я говорю? К черту же их! В воду надо, в мешок, как котят. Надо новых. (Саня, не надо смеяться; надо плакать. Слезы очищают. Эх, господа!)

Я вам расскажу такую историю. У одного англичанина был пудель; и вот этот пудель... Впрочем, пардон, — тут дамы... Я лучше продолжу свою мысль о новом. Все, все, все, все должно быть новое. Предыдущий оратор, может быть, не вылезал из приюта для безнадежных идиотов, но, господа! Ведь и устами паралитиков иногда глаголет истина. (Саша, Саша!..) Все новое!

Марья Кондратьевна! Я уже давно замечаю, что у вас, не при муже будет сказано, — один и тот же возлюбленный.

Второй год... Боже, Боже! Переменить! Пардон, пардон... Я ведь себя не предлагаю! Я говорю лишь ака... академически. Представьте себе: у одного англичанина была собака, пудель... Впрочем, к черту собаку... Чего она тут путается. (Саша, прогони!) Господа, не надо собак... Я ведь и против предыдущего оратора ничего не имею. Он жалкий, несчастненький человек — его пожалеть надо. Саша, передай ему от меня копеечку.

Но сказано этим мозгляком хорошо! Верно! Все новое! Все. Простите, сударыня. Я, кажется, облил вам платье? Ничего. Новое купите. По этому поводу один англичанин, у которого был пудель, собака такая... Опять этот пудель? Да прогоните же, господа, ради Бога, собаку! Ну чего она тут под ногами путается? Даже обидно!

Прекратим же все это по случаю Нового года. Пусть все будет по-новому. (Спасибо, спасибо, Саня... Там уже край стакана — больше не войдет.) Все новое! Между нами, господа, есть взяточники, шулера — бросим это! Как сказал тот англичанин, у которого был пудель. У этого пуделя... Какой пудель?! Опять эта проклятая собака тут?! Да прогоните же, черт побери!! Предыдущий оратор свинья — сделайся же ты, наконец, оратор, человеком! Начнем, наконец! Вот, глядите на меня: у меня в руках бутылка старого вина, напротив меня висит старинная картина... Что же я делаю! Р-р-раз! Вот теперь после этого и должно быть: новое вино, новая картина!.. Что-о? Саня, Саня! Не допускай! Не допускай, Саня!

Я еще про пуделя хочу. У одного англича...

Эх! Вывели... Вывели, как какое-нибудь ничтожное пятно на скатерти!

Грустно... чрезвычайно грустно! Ну, что ж... Пророков всегда гнали...

СЛАБАЯ СТРУНА

Я сидел у Красавиных. Горничная пришла и сказала:

— Вас к телефону просят.

Я удивился.

— Меня? Это ошибка. Кто меня может просить, если я никому не говорил, что буду здесь!

— Не знаю-с.

Я вышел в переднюю, снял телефонную трубку и с любопытством приложил ее к уху.

— Алло! Кто говорит?

— Это я, Чебаков. Послушай, мы сейчас в «Альгамбре» и ждем тебя. Приезжай.

Я отвечал:

— Во-первых, приехать я не могу, так как должен возвратиться домой; дома никого нет, и даже прислуга отпущена в больницу; а, во-вторых, — кто тебе мог сказать, что я сейчас у Красавиных?

— Врешь, врешь! Как же так у тебя дома никого нет, когда из дому мне и ответили по телефону, что ты здесь.

— Не знаю! Может быть, я сошел с ума или ты меня мистифицируешь... Квартира заперта на ключ, и ключ у меня в кармане. Кто с тобой говорил?

— Понятия не имею. Какой-то незнакомый мужской голос. Прямо сказал: «Он сейчас у Красавиных»... И сейчас же повесил трубку. Я думал — твой родственник...

— Непостижимо!! Сейчас же лечу домой. Через двадцать минут все узнаю.

— Пока ты еще доберешься домой, — возразил заинтересованный Чебаков. — Ты лучше сейчас позвони к себе. Тогда сейчас же узнаешь.

С лихорадочной поспешностью я дал отбой, вызвал центральную и попросил номер своей квартиры.

Через полминуты после звонка кто-то снял в моем кабинете трубку, и мужской голос нетерпеливо сказал:

— Ну?! Кто там еще?

— Это номер 233–20?

— Да, да, да!! Что нужно?

— Кто вы такой? — спросил я.

Около полминуты там царило молчание. Потом тот же голос неуверенно заявил:

— Хозяина нет дома.

— Еще бы! — сердито вскричал я. — Конечно, нет дома, когда я и есть хозяин!! Кто вы такой и что вы там делаете?

— Нас двое. Постойте, я сейчас позову товарища. Гриша, пойди-ка к телефону.

Другой голос донесся до меня:

— Ну, что там еще? Все время звонят, то один, то другой. Работать не дают!! Что нужно?

— Что вы делаете в моей квартире?!! — взревел я.

— Ах, это вы... Хозяин? Послушайте, хозяин... Где у вас ключи от письменного стола?!! Искали, искали — голову сломать можно.

— Какие ключи?! Зачем?

— Да ведь не ломать же нам всех одиннадцати ящиков! — ответил рассудительный голос. — Конечно, если не найдем ключей, придется взломать замки, но это много возни. Да и вы должны бы пожалеть стол. Столик-то небось недешевый. Рублей поди двести? Коверкать его — что толку?..

— Ах вы мерзавцы, мерзавцы, — вскричал я с горечью. — Это вы, значит, забрались обокрасть меня!.. Хорошо же!.. Не успеете убежать, как я подниму на ноги весь дом.

— Ну, улита едет, когда-то будет, — произнес рассудительный голос. — Мы десять раз как уйти успеем. Так как же, барин, а? Ключи-то от стола — дома или где?

— Жулики вы проклятые, собачье отродье! — бросал я в трубку жестокие слова, стараясь вложить в них как можно больше яду и обидного смысла. — Сгниете вы в тюрьме, как черви. Чтоб у вас руки поотсыхали, разбойники вы анафемские! Давно, вероятно, по вас веревка плачет.

— Дурак ты, дурак, барин, — произнес тот же голос, убивавший меня своей рассудительностью. — Мы к тебе по-человечески... Просто жалко зря добро портить — мы и спросили... Что ж, тебе трудно сказать, где ключи? Должен бы понимать...

— Не желаю я с такими жуликами в разговоры пускаться, — с сердцем крикнул я.

— Эх, барин... Что ж ты думаешь, за такие твои слова так тебе ничего и не будет? Да вот сейчас возьму, выну перочинный ножик и всю мягкую мебель в один момент изрежу. И стол изрежу, и шкаф. К черту будет годиться твой кабинет... Ну, хочешь?

— Страшный вы человек, ей-Богу, — сказал я примирительно. — Должны бы, кажется, войти в мое положение. Забираетесь ко мне в дом, разоряете меня, да еще хотите, чтобы я с вами, как с маркизами, разговаривал.

— Милый человек! Кто тебя разоряет? Подумаешь, большая важность, если чего-нибудь недосчитаешься. Нам-то ведь тоже жить нужно.

— Я это прекрасно понимаю. Очень даже прекрасно, — согласился я, перекладывая трубку в левую руку и прижимая правую, для большей убедительности, к сердцу. — Очень хорошо я все это понимаю. Но одного не могу понять: для чего вам бесцельно портить мои вещи? Какая вам от этого прибыль?

— А ты не ругайся!

— Я и не ругаюсь. Я вижу — вы умные, рассудительные люди. Согласен также с тем, что вы должны что-нибудь получить за свои хлопоты. Ведь небось несколько дней следили за мной, а?

— А еще бы!.. Ты думаешь, что все так сразу делается?

— Понимаю! Милый! Прекрасно понимаю! Только одного не могу постичь: для чего вам ключи от письменного стола?

— Да деньги-то... Разве не в столе?

— Ничего подобного! Напрасный труд! Заверяю вас честным словом.

— А где же?

— Да, признаться, деньги у меня припрятаны довольно прочно, только денег немного. Вы, собственно, на что рассчитываете, скажите мне, пожалуйста?

— То есть как?

— Ну... что вы хотите взять?

— Да что ж!.. Много ведь не унесешь — сказал голос с искренним сожалением. — Сами знаете, дворник всегда с узлом зацепить может. Взяли мы, значит, кое-что из столового серебра, пальто, шапку, часы-будильник, пресс-папье серебряное...

— Оно не серебряное, — дружески предостерег я.

— Ну, тогда шкатулочку возьмем. Она поди не дешевая. А?

— Послушайте... братцы! — воскликнул я, вкладывая в эти слова всю силу убеждения. — Я вхожу в ваше положение и становлюсь на вашу точку зрения... Ну, повезло вам, выследили, забрались... Ваше счастье! Предположим, заберете вы эти вещи и даже пронесете их мимо дворника. Что же дальше?! Понесете вы их, конечно, к скупщику краденого и, конечно, получите за это гроши. Ведь я же знаю этих вампиров. На вашу долю приходится риск, опасность, побои, даже тюрьма, а они сидят сложа руки и забирают себе львиную долю.

— Это верно, — сочувственно поддакнул голос.

— А еще бы же не верно! — вскричал я в экстазе. — Конечно, верно. Это проклятый капиталистический принцип — жить на счет труда... Поймите: разве вы грабите? Вас грабят! Вы разве наносите вред? Нет, эти вампиры в тысячу раз вреднее!! Товарищ! Дорогой друг! Я вам сейчас говорю от чистого сердца: мне эти вещи дороги по разным причинам, а без будильника я даже завтра просплю. А что вы выручите за них? Гроши!! Вздор. Ведь вам и полсотни не дадут за них.

— Где там! — послышался сокрушенный вздох. — Дай Бог четвертную выцарапать.

— Дорогие друзья!! Я вижу, что мы уже понимаем друг друга. У меня дома лежат деньги — это верно — сто пятнадцать рублей. Без меня вы их все равно не найдете. А я вам скажу, где они. Забирайте себе сто рублей (пятнадцать мне завтра на расходы нужно) и уходите. Ни заявлений в полицию, ни розысков не будет. Это просто наше частное товарищеское дело, которое никого не касается. Хотите?

— Странно это как-то, — нерешительно сказал вор (если бы я его видел, то добавил бы: «почесывая затылок», потому что у него был тон человека, почесывающего затылок). — Ведь мы уже все серебро увязали.

— Ну, что ж делать... Оставьте его так, как есть... Я потом разберу.

— Эх, барин, — странно колеблясь, промолвил вор. — А ежели мы и деньги ваши заберем, и вещи унесем, а?

— Милые мои! Да что вы, звери, что ли? Тигры? Я уверен, что вы оба в глубине души очень порядочные люди... Ведь так, а?

— Да ведь знаете... Жизнь наша такая собачья.

— А разве ж я не понимаю?! Господи! Истинно сказали: собачья. Но я вам верю, понимаете — верю. Вот, если вы мне дадите честное слово, что вещей не тронете, — я вам прямо и скажу: деньги там-то. Только вы же мне оставьте пятнадцать рублей. Мне завтра нужно. Оставите, а?

Вор сконфуженно засмеялся и сказал:

— Да ладно. Оставим.

— И вещей не возьмете?

— Да уж ладно. Пусть себе лежат. Это верно, что с ними наплачешься.

— Ну вот и спасибо. На письменном столе стоит коробка для конвертов, голубая. Сверху там конверты и бумага, а внизу деньги. Четыре двадцатипятирублевки и три по пяти. Согласитесь, что вам бы и в голову не пришло заглянуть в эту коробку. Ну вот. Не забудьте погасить электричество, когда уйдете. Вы через черный ход прошли?

— Так точно.

— Ну вот. Так вы, уходя, заприте все-таки дверь на ключ, чтобы кто-нибудь не забрался. Ежели дворник наткнется на лестнице, скажите: «Корректуру приносили». Ко мне часто носят. Ну, теперь, кажется, все. Прощайте, всего вам хорошего.

— А ключ куда положить от дверей?

— В левый угол, под вторую ступеньку. Будильник не испортили?

— Нет, в исправности.

— Ну и слава Богу. Спокойной ночи вам.

* * *

Когда я вернулся домой, в столовой на столе лежал узел с вещами, возле него — три пятирублевых бумажки и записка:

«Будильник поставили в спальню. На пальто воротник моль съела. Взбутеньте прислугу. Смотрите же — обещали не заявлять! Гриша и Сергей».

* * *

Все друзья мои в один голос говорят, что я умею прекрасно устраиваться в своей обычной жизни.

Не знаю. Может быть. Может быть.

ДЕБЮТАНТЫ

(*Пасхальный рассказ*)

Никто не может отговариваться
незнанием закона.

Неприспособленных к жизни людей на свете гораздо больше, чем думают. Это все происходит от того, что жизнь усложнилась: завоевания техники, усложнение быта, совер-

шенствование светского этикета, замысловатость существующих законов — от всего этого можно растеряться человеку, даже не страдающему привычным тупоумием.

Раньше-то хорошо было: хочется тебе есть — подстерег медведя или мамонта, треснул камнем по черепу — и сыт; обидел тебя сосед — подстерег соседа, треснул камнем по черепу — и восстановлен в юридических правах; захотел жениться — схватил суженую за волосы, треснул кулаком по черепу — и в лес! Ни свидетельства на право охоты, ни брачного свидетельства, ни залога в обеспечение иска к соседу — ничего не требовалось.

Вот почему молодые супруги Ландышевы, брошенные в Петербурге поженившими их провинциальными родителями, смотрели на Божий мир с тревогой и смятением щенков, увидевших и услышавших впервые загадочный граммофон.

Все было сложно, непонятно.

Вся процедура венчания была проделана теми же умудренными опытом родителями жениха и невесты; о чем-то хлопотали, предъявляли какие-то странные документы, метрические, где-то расписывались, кому-то платили, кто-то держал образ, кто-то лобызал молодых, и что было к чему — молодожены совсем не понимали.

Еще муж — тот пытался разобраться в сложной путанице русского быта, а жена, прочирикав однажды, что она «ничегошеньки ни в чем не понимает», раз и навсегда махнула рукой на всякие попытки осмыслить механику жизни...

Главное затруднение для мужа заключалось в том, что в его мыслях сплелись в один запутанный клубок три различных института: церковь, полиция и медицина. От рождения и до смерти священник, доктор и околоточный царили над жизнью и смертью человека. Но кого, в каких случаях и в каких комбинациях надлежало призывать на помощь — бедный Ландышев не знал, хотя уже имел усы и даже служил корреспондентом в цементном обществе...

Смятение супругов увеличилось еще тем, что через сотню дней ожидался ребенок, и судьба этого беспомощного младенца была супругам совершенно неведома. Конечно, нужно пригласить доктора... Ну, а священника... пригла-

сить? А в полицию заявлять надо? Кто-то даст какое-то «свидетельство» или «удостоверение», но кто — церковь, медицина или полиция?

И выражение робости и испуга часто появлялось на лицах супругов, когда они за остывшим супом обсуждали эти вопросы.

Ах, если бы с ними были папа и мама!

Те знали бы, что приглашение Ландышевыми полиции при заключении с домохозяином квартирного контракта было совершенно излишне; те отговорили бы супругов от просьбы, обращенной к священнику, — выдать «удостоверение» в том, что он служил у Ландышевых молебен... Те всё знали.

Швейцар Саватей Чебурахов постучал в дверь, перешагнул через порог и, держа наотлет сверкающую позументом фуражку, торжественно и веско сказал:

— Имею честь поздравить с праздником присно-блаженного Светлого Христова Воскресения и пожелаю вам встретить и провести оного в хорошем расположении и приятном сознании душевных дней торжества его!

Ландышевы сидели за столом и ели ветчину с куличом, запивая сладким красным вином. При появлении швейцара страшно сконфузились.

— Спасибо, голубчик! — стараясь быть солидным, пробасил Ландышев. — И тебе того же... Воистину... Сейчас, сейчас... Я только вот тут... распоряжусь...

И он выскочил в другую комнату, оставив подругу своей жизни на произвол судьбы.

Но подруга не терялась в таких случаях; она вылетела вслед за ним и сердито сказала, сморщив губки:

— Ты чего же это меня одну бросил?! Что я с ним там буду делать?

— А что я буду делать? — отпарировал муж.

— Как что? Я уж не знаю... Что в этих случаях полагается: ну, похристосоваться с ним, что ли, по русскому обычаю...

— Со швейцаром-то?!

— А я уж не знаю... Я в «Ниве» видела картинку, как древние русские цари с нищими по выходе из церкви христосовались... А тут все-таки не нищий...

— Да постой... Значит, я с ним должен и поздороваться за руку?

— Почему же? Просто поцелуйся.

— Постой... присядем тут, на диванчик... Но ведь это абсурд — целоваться можно, а руки пожать нельзя.

— Кто ж швейцарам руку подает? — возразила рассудительная жена. — А поцеловаться можно — это обычай. Древние государи, я в «Ниве» видела...

— Постой... А что, если я просто дам ему на чай?

— Не обидится ли он?.. Человек пришел с поздравлением, а ему вдруг деньги суешь. У этих рабочих людей такое болезненное самолюбие.

— Это верно. Но просто похристосоваться и сейчас его выпроводить — как-то неловко... Сухо выйдет. Может быть, предложить ему закусить?

— Пожалуй... Только как поудобнее это сделать: к столу его подвести или просто дать в стоячем положении.

— Э, черт с ними, этими штуками! — воскликнул муж. — Смешно, право: мы тут торгуемся, а он там стоит в самом неловком положении. Неужели я не могу быть почитателем старозаветных обычаев, для которых в такой великий день все равны?.. Несть, как говорится, ни эллина, ни иудея! Пойдем.

Ландышев решительно вышел в комнату, где дожидался швейцар, и протянул ему объятия.

— А-а, дорогой гость. Христос Воскресе! Ну-ка, по христианскому обычаю.

Швейцар выронил фуражку, немного попятился, но сейчас же оправился и бросился в протянутые ему объятия.

Троекратно поцеловались.

Чувствуя какое-то умиление, Ландышев застенчиво улыбнулся и сказал гостю:

— Не выпьете ли рюмочку водки? Пожалуйста, к столу!

Швейцар Чебурахов сначала держался за столом так, как будто щедрая прачка накрахмалила его с ног до головы. Садясь за стол, с трудом сломал застывшее туловище и, повернувшись на стуле, заговорил бездушным деревянным голосом, который является только в моменты величайшего внутреннего напряжения воли.

Однако радушие супругов согнало с него весь крахмал, и он постепенно обмяк и обвис от усов до конца неуклюжих ног.

Чтобы рассеять его смущение, Ландышев заговорил о тысяче разных вещей: о своей службе, о том, что полиция стала совершенно невозможной, что автомобили вытесняют извозчиков... Темы изложения он избирал с таким расчетом, чтобы дремлющий швейцаров ум мог постичь их без особого напряжения.

— Автомобили гораздо быстрее ездят, — солидно говорил он, пододвигая швейцару графин. — Пожалуйста, еще рюмочку. Вот эту — я вам налью, побольше.

— Не много ли будет? Я и так пять штучек выпил, а? Да и одному как-то неспособно пить. Хи-хи!

— А вот Катя с вами вином чокнется. Катя, чокнись по русскому обычаю...

— Ну-с... с праздничком. Христос Воскресе!

— Воистину!

— Представьте себе, у меня в конторе, где я служу, до полутора миллиона бочек цемента в год идет.

— Поди ж ты! Цемент, он, действительно...

— Теперь, собственно, жизнь вздорожала.

— Да уж... Не извозчик пошел, а галман какой-то... Эфиоп.

— Почему?

— Да разве его от подъезда отгонишь? Ни Боже мой. А жильцы протестуются.

— Скажите, вы довольны вообще жильцами?

— Да разве бывают. Вон из третьего номера жилица, которая пишет, что массажистка — та хорошая. Кто ни придет — молодой ли, старик — меньше полтинника не сунет.

Швейцар налил еще рюмку и, подмигнув, добавил:

— А то какой-нибудь ошалевший с её человек и трешку пожертвует. Ей-Богу!

И он залился довольным хохотом.

— А с четырнадцатого номера музыкантша — прямо будем говорить — гниль. Ни шерсти, ни молока. Шляются ученики — сами такие, что гривенник рады с кого получить. Старая, шельма. Никуда. Го-го-го!..

Прикрыв рот рукой, так как им овладела икота, смешанная с веселым смехом, — швейцар подумал и сказал:

— А в девятом дамочка с мужем живет — так прямо памятник ей поставить. Как муж за дверь — так, гляди, каваргард на резинах подлетает. И уж он тебе меньше целкового никогда не сунег. Уж извините-с!

Он игриво ударил Ландышева по коленке:

— Понял?

Супруги угрюмо молчали. Такой красивый жест, как приглашение меньшого брата к своему столу, сразу потускнел.

«Меньшой брат» был человек крайне узких, аморальных взглядов на жизнь: всех окружающих он оценивал не со стороны их добродетелей, а исключительно с точки зрения «полтин и трешек», которые косвенно вызывались поведением его фаворитов. Это был, очевидно, человек, который мог ругательски изругать светлый образ леди Годива, если бы она была его жилицей, и мог бы превозносить до небес содержательницу распутного притона...

О добродетелях вообще, о добродетелях безотносительных этот грубый человек не имел никакого понятия.

— Жилец тоже жильцу рознь. К одному явишься с праздником, он тебе пятишку в лапу, — на, разговляйся! А другой, голодранец, на угощении норовит отъехать... А что мне его угощение! — вскричал неожиданно швейцар, упершись руками в бока и оглядывая критическим взглядом накрытый стол. — Если я на полтинник водки тяпнул да на полтинник закуски, так начхать мне на это! Какой ты после этого жилец! Верно? Я генерала Путляхина уважаю, потому это настоящий барин: «Кто там пришел на кухню?» — «Швейцар с лестницы поздравляет». — «Дать ему зеленую в зубы и пусть убирается ко всем чертям!» Вот это барин!

— Позвольте, — сказал Ландышев, вставая. — Я вам тоже дам на чай...

— От вас? На чай? — презрительно сморщил нос швейцар. — Разве от таких берут? Унизил меня, а потом — на чай? Не-ет, браг, шалишь. Молода, во Саксони не была! Какая вы мне компания, а? Шарлы-барлы и больше ничего!

Он опустил усталую, отяжелевшую голову на руки.

— Налей еще рюмаху. Эх, хватить, что ли, во здравие родителей!

— Вот вам два рубля, можете идти, швейцар, — сказал Ландышев, пошептавшись перед этим со своей верной подругой.

— Не надо мне ваших денег — верно? Меня господа обидели — верно? За что?!

— Уходите отсюда!!

— Сам уходи, трясогузка!

И, облокотившись о стол, швейцар заскрипел зубами с самым хищным видом.

Жена плакала в другой комнате, как ребенок. Муж утешал:

— Ну, черт с ним! Напьется совсем и заснет. Проспится, гляди, и уберется.

— А мы-то куда денемся? Тоже, мужа мне Бог послал, нечего сказать... Со швейцаром связался.

— Да ты сама же сказала, что в «Ниве» видела...

— Нет, ты мне скажи, куда нам теперь деваться?!

Муж призадумался.

— Э, да очень просто... Пойдем к Шелюгиным. Посидим часика два, три, а потом справимся по телефону, ушел он или нет? Одевайся, милая!

И, одевшись потихоньку в передней, супруги, расстроенные, крадучись уехали...

О ШПАРГАЛКЕ

(*Трактат*)

Написан автором для детей.
С большой к ним любовью
и нежностью.

I

Шпаргалка была известна в глубокой древности.

Слово «шпаргалка» происходит от санскритского chpargalle, что значит: секретный, тайный документ.

У Плиния встречается описание шпаргалок того времени, но они были громоздки, неудобны и употреблялись древними учениками лишь в самых крайних случаях. Дело в том, что тогда бумаги еще не существовало, а папирус и выделанная кожа убитых животных стоили очень дорого. Поэтому шпаргалки писались древними учениками

на неуклюжих, тяжелых, навощенных кирпичах, которые не могли быть спрятаны в карманы или за пазуху. Ученики, пользовавшиеся на экзаменах такими шпаргалками, часто попадались, подвергались взысканиям и иногда даже, как неспособные быть гражданами в будущем, — сбрасывались с утеса в бушующее море (Спарта).

Со времени изобретения бумаги шпаргалка стала популяризироваться, развиваться и уже в ближайшие к нам века завоевала себе в науке выдающееся положение. Но дети, пользовавшиеся шпаргалкой, как и в древности, подвергались всяческим наказаниям и гонениям и даже вызвали знаменитый по своей жестокости закон Мальтуса.

Наука, однако, не зевала и шла напролом быстрыми шагами, толкая впереди себя юркую, удобную, портативную шпаргалку. Некоторые защитники шпаргалки как научного пособия утверждают даже, что не наука толкала вперед шпаргалку, а эта последняя тащила на буксире науку.

Во всяком случае, известно, что и великие, знаменитые люди не брезгали шпаргалкой как учебным пособием. Назовем некоторых: Гейне, Гельмгольц и даже наш великий соотечественник Пушкин, автор бессмертного «Руслана и Людмилы»...

В наши дни шпаргалка является образцом усовершенствованности, хитроумия и человеческой находчивости. В ее типе многое упростилось, многое лишнее, ненужное, что подвергало ученика на экзамене риску попасться, — упразднено.

Перечислим в нашем небольшом очерке наиболее распространенные типы шпаргалок...

ШПАРГАЛКА ОБЫКНОВЕННАЯ

Пишется на длинной, свернутой в трубочку, полосе бумаги, вроде свитка (возвращение к древним образцам?). Бумага свернута так, что края ее загибаются внутрь, и, таким образом, нужное место легко может быть найдено в бесконечном свитке посредством простого передвижения загнутых краев. Почерк должен быть мелкий, убористый, но ясный, разборчивый, без ошибок, кои для экзаменующегося могут быть гибельны. Бумага тонкая, гибкая.

ШПАРГАЛКА МАНЖЕТНАЯ

Манжетная шпаргалка более удобна в смысле своей незаметности и отсутствия риска, но как площадь для вписывания максимума данных необходимой науки она невелика, стеснительна и поэтому может содержать только самые необходимые для экзаменующегося термины.

Лучший способ пользования манжетной шпаргалкой — задумчивое поднесение руки ко лбу, будто бы вы сосредоточенно обдумываете ответ. В это время и нужно быстро прочесть шпаргалку, отмечая в уме главное, но не обнаруживая в то же время на лице исключительного интереса к чтению, что легко может быть замечено экзаменаторами.

В случае уличения вас в пользовании шпаргалкой вы должны моментально задвинуть манжеты в рукава, а если и это будет замечено, можете пустить в ход последний шанс и удивленно заявить, что сами не знаете — кому это понадобилось испортить ваши новые манжеты, исписав их непонятными словами. Некоторые считают также недурным выходом из положения — заплакать, но мы лично считаем этот способ устаревшим и обыкновенно не достигающим цели.

ШПАРГАЛКА С РЕЗИНОЙ

Разновидность манжетной — по размеру своей площади, очень небольшой и неудобной.

Изготовление такое: кусок резинки, употребляемой обыкновенно для рогаток, пришивается одним концом к внутреннему карману, а другим — к шпаргалке, сделанной из твердой бумаги. По мере необходимости шпаргалка вытягивается из кармана и быстро пробегается глазами (см. «шпаргалка манжетн.»), а в случае тревоги стоит только пустить шпаргалку на волю, и она сама вскочит в карман.

В случае недоразумений с экзаменационным комитетом наиболее уместен тон благородного негодования и оскорбленной невинности.

Диалог приблизительно такой:

Экзаменатор. Эй, эй! Что это вы там читаете, вынутое из кармана?

Вы (изумленно). Я? Читаю? Ничего подобного.

Экзам. Да я же сам видел бумажку, вынутую вами из кармана. Она, наверное, и сейчас в ваших руках...

Вы доверчиво показываете обе руки.

Экзам. Но этого не может быть! Я видел своими глазами!! Значит, вы уронили на пол!

Начинаются безрезультатные поиски на полу, осматриваются снова ваши руки, рукава, заглядывают даже в ваш рот; на ваших глазах дрожат слезы негодования невинно-оскорбленного человека, потому что никакой шпаргалки не обнаруживается.

Тогда вы спрашиваете дрожащим голосом:

— За что вы меня, господа, обидели?

Будьте уверены, что экзаменаторы почувствуют перед вами такую неловкость, которая может быть смягчена только несколькими пятерками, хотя бы вы на самом деле не знали ни бельмеса.

После получения вами хороших отметок мы не рекомендуем разоблачать фокус с резинкой, радостно приплясывая на одной ноге и хлопая в ладоши:

— А я надул, надул вас! У меня-таки была шпаргалка на резинке! Ага, что?!

В этом случае скоропреходящая минута удовольствия, торжества и морального превосходства над экзаменаторами легко может быть искуплена сидением в классе на второй год.

ШПАРГАЛКА ПОДОШВЕННАЯ

Культура идет вперед быстрыми шагами. Что казалось невозможным, неслыханным вчера, — сегодня уже не вызывает ни в ком удивления. Такова подошвенная шпаргалка.

Кажется, что может быть труднее и неблагодарнее — написать шпаргалку на подошве сапога? Однако в последнее время экзаменующиеся прибегают к этому чаще, чем многие думают.

Понятно, что само местонахождение шпаргалки суживает круг возможностей пользоваться ею. Так, при устном ответе чтение по такой шпаргалке невозможно. Мы не знаем случая, чтобы кто-нибудь, стоя перед экзаменаторами, хватал сам себя с искусством гимнаста за ногу

и, поднеся подошву сапога к глазам, начинал отвечать по ней свой билет. Помимо неудобства такого положения оно сразу бросается в глаза экзаменаторам и вызывает у них подозрение: что это, дескать, такое ученик нашел на своем сапоге? Почему он так внимательно рассматривает подошву?

Если бы даже ученик, стоящий у экзаменационного стола, и знал, что у рядом с ним стоящего товарища на сапоге помещается целая литература, то и тут элементарное чувство общности интересов должно удержать его от хватания товарища за ноги, повержения его на пол и чтения своего билета по подошвам поверженного.

ШПАРГАЛКА ТЕЛЕСНАЯ

Уже одно название этой шпаргалки показывает, что она должна писаться на теле.

Наиболее удобные для этого места следующие: ладони рук и ногти.

Этот способ сдачи экзаменов имеет то неудобство, что лишает экзаменующегося возможности приветствовать товарищей дружеским пожатием, вытереть пот со лба или вступить со сверстниками в оживленную драку. Мы знали мальчугана, которого товарищи однажды перед экзаменом били и оскорбляли, как хотели, а он отвечал на все это кроткой, снисходительной улыбкой...

И не потому, что был он добр, а просто руки его были исписаны так, как пишутся словоохотливыми людьми открытки. Даже ногти его пестрели какими-то формулами. Этот мальчик выдержал экзамен блестяще, но когда потом пошел стирать свои записи на руках — с помощью лиц и затылков утренних обидчиков, то так увлекся этим, что был замечен попечителем округа и оставлен на второй год.

Впрочем, этот случай — исключительный и возражением против пользования «телесной шпаргалкой» служить не может.

* * *

Мы знали одного ученика, который увлекался принципом именно телесной шпаргалки. Он был исписан так, что лю-

битель дал бы за него большие деньги. Это была какая-то ходячая энциклопедия разных наук.

Если бы у нас существовала работорговля, то любой работорговец нажил бы на нем немало, перепродав его какому-нибудь ленивому ученику, которому опротивело таскать за собой ранец с книгами. Исписанный мальчик бегал бы за ним, как живая книга, и при необходимости мог быть развернут и проштудирован самым полезным образом.

Недавно, сидя у костра, мы слышали от старых учеников такую поэтическую легенду о шпаргалке...

Несколько учеников в ночь перед экзаменом пробрались к спящему крепким сном учителю и исписали все его лицо несмывающимися чернилами. Это была первая шпаргалка в неприятельском лагере.

И когда на другое утро он спрашивал экзаменующихся, они прямо, честно и внимательно глядели ему в лицо и отвечали без запинки.

Повторяем, это — легенда...

II

Среди учеников наблюдаются и такие редкие экземпляры, которые не пользуются шпаргалками. Есть даже такие лица, которые отрицают пользу шпаргалок. Большей частью это лица, надеющиеся на свое счастье, но экзамены, как и всякая игра, по нашему мнению, тогда только и хороши, когда призывается на помощь счастью и некоторая заботливость, и труд. (Трудом мы называем добросовестное и тщательное изготовление шпаргалок по вышеприведенным образцам.)

А счастье, а русское знаменитое «авось» — вещи слишком гадательные, и не всегда они вывозят.

Мы знали двух мальчиков — одного чрезвычайно прилежного, а другого — шалопая, ленивого, как тропический индеец.

Они готовились к экзаменам.

Разбили всю книгу по всеобщей истории на билеты, и случилось так, что ко дню экзаменов прилежный мальчик вызубрил все билеты, кроме одного, до которого дойти не успел; а шалопай, лентяй и бездельник, идя на экзамен,

прочел только один-единственный билет из всего громадного количества, представленного ему потом на выбор.

И что же случилось?! Прилежный ученик вынул как раз тот билет, до которого не успел дойти, а лентяй превосходно ответил тот единственный кусочек, который значился на его билете и который он успел прочесть по дороге на экзамены.

Прилежный мальчик после этого случая забросил все свои тетради, изорвал книги и, переселившись на Камчатку, сделался грозой и несчастьем всех других детей: он бил их и увечил так, что потом кончил свои дни в колонии для малолетних преступников, где дожил до глубокой старости.

Вот вам и счастье.

* * *

Статья о «шпаргалке» кончена.

Некоторые педагоги, может быть, упрекнут и даже выбранят меня за то, что я все время держался только на уровне шпаргалки и ее применения, вместо того чтобы посоветовать ученикам лучше и добросовестнее учиться по книгам.

Но дело в том, что автор — ярый противник экзаменов. Да и автор уверен, что в данной статье он приковывал внимание юной аудитории лишь до тех пор, пока говорил с ней серьезным, деловым, понятным ей языком — без всякого ломанья.

А пустые советы слушаться доброго начальства и вести себя паиньками пусть дают другие, которые любят бедных детей меньше, чем автор...

НЯНЬКА

I

Будучи принципиальным противником строго обоснованных, хорошо разработанных планов, Мишка Саматоха перелез невысокую решетку дачного сада без всякой определенной цели.

Если бы что-нибудь подвернулось под руку, он украл бы; если бы обстоятельства располагали к тому, чтобы ограбить,

Мишка Саматоха и от грабежа бы не отказался. Отчего же? Лишь бы после можно было легко удрать, продать «блатокаю» награбленное и напиться так, «чтобы чертям было тошно».

Последняя фраза служила мерилом всех поступков Саматохи... Пил он, развратничал и дрался всегда с таким расчетом, чтобы «чертям было тошно». Иногда и его били, и опять-таки били так, что «чертям было тошно».

Поэтическая легенда, циркулирующая во всех благовоспитанных детских, гласит, что у каждого человека есть свой ангел, который радуется, когда человеку хорошо, и плачет, когда человека огорчают.

Мишка Саматоха сам добровольно отрекся от ангела, пригласил на его место целую партию чертей и поставил себе целью все время держать их в состоянии хронической тошноты.

И действительно, Мишкиным чертям жилось несладко.

II

Так как Саматоха был голоден, то усилие, затраченное на преодоление дачной ограды, утомило его.

В густых кустах малины стояла зеленая скамейка. Саматоха утер лоб рукавом, уселся на нее и стал, тяжело дыша, глядеть на ослепительную под лучами солнца дорожку, окаймленную свежей зеленью.

Согревшись и отдохнув, Саматоха откинул голову и замурлыкал популярную среди его друзей песенку:

Родила меня ты, мама,
По какой такой причине?
Ведь меня поглотит яма
По кончине, по кончине...

Маленькая девочка лет шести выкатилась откуда-то на сверкающую дорожку и, увидев полускрытого ветками кустов Саматоху, остановилась в глубокой задумчивости.

Так как ей были видны только Саматохины ноги, она прижала к груди тряпичную куклу, защищая это беспомощное создание от неведомой опасности, и после некоторого колебания бесстрашно спросила:

— Чьи это ноги?

Отодвинув ветку, Саматоха наклонился вперед и стал в свою очередь рассматривать девочку.

— Тебе чего нужно? — сурово спросил он, сообразив, что появление девочки и ее громкий голосок могут разрушить все его пиратские планы.

— Это твои... ножки? — опять спросила девочка, из вежливости смягчив смысл первого вопроса.

— Мои.

— А что ты тут делаешь?

— Кадрель танцую, — придавая своему голосу выражение глубокой иронии, отвечал Саматоха.

— А чего же ты сидишь?

Чтобы не напугать зря ребенка, Саматоха проворчал:

— Не просижу места. Отдохну да и пойду.

— Устал? — сочувственно сказала девочка, подходя ближе.

— Здорово устал. Аж чертям тошно.

Девочка потопталась на месте около Саматохи и, вспомнив светские наставления матери, утверждавшей, что с незнакомыми нельзя разговаривать, вежливо протянула Саматохе руку.

— Позвольте представиться: Вера.

Саматоха брезгливо пожал ее крохотную ручонку своей корявой лапой, а девочка, как истый человек общества, поднесла к его носу и тряпичную куклу:

— Позвольте представить: Марфушка. Она не живая, не бойтесь. Тряпичная.

— Ну? — с ласковой грубоватостью, неискренно, в угоду девочке удивился Саматоха. — Ишь ты, стерва какая.

Взгляд его заскользил по девочке, которая озабоченно вправляла в бок кукле высунувшуюся из зияющей раны паклю.

«Что с нее толку? — скептически думал Саматоха. — Ни сережек, ни медальончика. Платье можно было бы содрать и башмаки, да что за них там дадут? Да и визгу не оберешься».

— Смотри, какая у нее в боке дырка, — показала Вера.

— Кто же это ее пришил? — спросил Саматоха на своем родном языке.

— Не пришил, а сшил, — поправила Вера. — Няня сшила. А ну, поправь-ка ей бок. Я не могу.

— Эх ты, козявка! — сказал Саматоха, беря в руки куклу.

Это была его первая работа в области починки человеческого тела. До сих пор он его только портил.

III

Издали донеслись чьи-то голоса. Саматоха бросил куклу и тревожно поднял голову. Схватил девочку за руку и прошептал:

— Кто это?

— Это не у нас, а на соседней даче. Папа и мама в городе...

— Ну?! А нянька?

— Нянька сказала мне, чтобы я не шалила, и она потом убежала. Сказала, что вернется к обеду. Наверно, к своему приказчику побежала.

— К какому приказчику?

— Не знаю. У нее есть какой-то приказчик!

— Любовник, что ли?

— Нет, приказчик. Слушай...

— Ну?

— А как тебя зовут?

— Михайлой, — ответил Саматоха крайне неохотно.

— А меня Вера.

«Пожалуй, тут будет фарт», — подумал Саматоха, смягчаясь. — Эй, ты! Хошь, я тебе гаданье покажу, а?

— А ну, покажи, — взвизгнула восторженно девочка.

— Ну, ладно. Дай-кось руку... Ну вот, видишь — ладошка. Во... Видишь, вон загибинка. Так по этой загибинке можно сказать, когда кто именинник.

— А ну-ка! Ни за что не угадаешь.

Саматоха сделал вид, что напряженно рассматривает ручку девочки.

— Гм! Сдается мне по этой загибинке, что ты именинница семнадцатого сентября. Верно?

— Вер-р-р-но! — завизжала Вера, прыгая около Саматохи в бешеном восторге. — А ну-ка, на еще руку, скажи, когда мама именинница?

— Эх ты, дядя! Нешто по твоей руке угадаешь? Тут, брат, мамина рука требуется.

— Да мама сказала: в шесть часов приедет... Ты подождешь?

— Там видно будет.

Как это ни странно, но глупейший фокус с гаданием окончательно самыми крепкими узами приковал девочку к Саматохе. Вкус ребенка извилист, прихотлив и неожидан.

— Давайте еще играть... Ты прячь куклу, а я ее буду искать. Ладно?

— Нет, — возразил рассудительный Саматоха. — Давай лучше играть в другое. Ты будто бы хозяйка, а я гость. И ты будто меня угощаешь. Идет?

План этот вызвал полное одобрение хозяйки. Взрослый человек, с усами, будто как всамделишный гость, и она будет его угощать!

— Ну, пойдем, пойдем, пойдем!

— Слушай ты, клоп. А у вас там никого дома нет?

— Нет, нет, не бойся, вот чудак! Я одна. Знаешь, будем так: ты будто бы кушаешь, а я будто бы угощаю!

Глазенки ее сверкали, как черные бриллианты.

IV

Вера поставила перед гостем пустые тарелки, уселась напротив, подперла рукой щеку и затараторила:

— Кушайте, кушайте! Эти кухарки такие невозможные. Опять, кажется, котлеты пережарены. А ты, Миша, скажи: «Благодарю вас, котлеты замечательные».

— Да ведь котлет нет, — возразил практический Миша.

— Да это не надо... Это ведь игра такая. Ну, Миша, говори!

— Нет, брат, я так не могу. Давай лучше я всамделишные кушанья буду есть. Буфет-то открыт? Всамделишно когда, так веселее. Э?

Такое отсутствие фантазии удивило Веру. Однако она безропотно слезла со стула, пододвинула его к буфету и заглянула в буфет.

— Видишь ты, тут есть такое, что тебе не понравится: ни торта, ни трубочек, а только холодный пирог с мясом, курица и яйца вареные.

— Ну что ж делать — тащи. А попить-то нечего?

— Нечего. Есть тут, да такое горькое, что ужас. Ты небось и пить-то не будешь. Водка.

— Тащи сюда, поросенок! Мы все это по-настоящему разделаем. Без обману.

V

Закутавшись салфеткой (полная имитация зябкой мамы, кутавшейся всегда в пуховый платок), Вера сидела напротив Саматохи и деятельно угощала его.

— Пожалуйста, кушайте. Не стесняйтесь, будьте как дома. Ах уж эти кухарки, опять пережарила пирог, чистое наказание.

Она помолчала, выжидая реплики.

— Ну?

— Что, ну?

— Что ж ты не говоришь?

— А что я буду говорить?

— Ты говори: «Благодарю вас, пирог замечательный».

В угоду ей проголодавшийся Саматоха, запихивая огромный кусок пирога в рот, неуклюже пробасил:

— Благодарю вас... пирог знаменитый!

— Нет: замечательный!

— Ну да. Замечательный.

— Выпейте еще рюмочку, пожалуйста. Без четырех углов изба не строится.

— Благодарю вас, водка замечательная.

— Ах, курица опять пережарена. Эти кухарки — чистое наказание.

— Благодарю вас, курица замечательная, — прогудел Саматоха, подчеркивая этим стереотипным ответом полное отсутствие фантазии.

— В этом году лето жаркое, — заметила хозяйка.

— Благодарю вас, лето замечательное. Я еще баночку выпью.

— Нельзя так, — строго сказала девочка. — Я сама должна предложить... Выпейте, пожалуйста, еще рюмочку... Не стесняйтесь. Ах, водка, кажется, очень горькая. Ах, уж эти кухарки. Позвольте, я вам тарелочку переменю.

Саматоха не увлекался игрой так, как хозяйка, не старался быть таким кропотливым и точным в деталях, как она. Поэтому, когда маленькая хозяйка отвернулась, он вне всяких правил игры сунул в карман серебряную вилку и ложку.

— Ну, достаточно, — сказал он. — Сыт.

— Ах, вы так мало ели!.. Скушайте еще кусочек.

— Ну, будет там канитель тянуть, довольно. Я так налопался, что чертям тошно.

— Миша, Миша, — горестно воскликнула девочка, с укоризной гляда на своего друга. — Разве так говорят? Надо сказать: «Нет уж, увольте, премного благодарен. Разрешите закурить?»

— Ну, ладно, ладно... Увольте, много благодарен. Дай-ка папироску.

Вера убежала в кабинет и вернулась оттуда с коробкой сигар.

— Вот эти сигары я покупал в Берлине, — сказала она басом. — Крепковатые, да я других не курю.

— Мерси вам, — сказал Саматоха, оглядывая следующую комнату, дверь в которую была открыта.

Глядя на Саматоху снизу вверх и скроив самое лукавое лицо, Вера сказала:

— Миша! Знаешь во что давай играть?

— Во что?

— В разбойников.

VI

Это предложение поставило Мишу в некоторое затруднение. Что значит играть в разбойников? Такая игра с шестилетней девочкой казалась глупейшей профанацией его ремесла.

— Как же мы будем играть?

— Я тебя научу. Ты будто разбойник и на меня нападаешь, а я будто кричу: ох, забирайте все моя деньги и драгоценности, только не убивайте Марфушку.

— Какую Марфушку?

— Да куклу. Только я должна спрятаться, а ты меня ищи.

— Постой, это, брат, не так. Не пассажир должен сначала прятаться, а разбойник.

— Какой пассажир?

— Ну... этот вот... которого грабят. Он не должен сначала прятаться.

— Да ты ничего не понимаешь, — вскричала хозяйка. — Я должна спрятаться.

Хотя это было искажение всех разбойничьих приемов и традиций, но Саматоха и не брался быть их блюстителем.

— Ну ладно, ты прячься. Только нет ли у тебя какого-нибудь кольца или брошки?..

— Зачем?

— А чтоб я мог у тебя отнять.

— Так это можно нарочно... будто отнимаешь.

— Нет, я так не хочу, — решительно отказался капризный Саматоха.

— Ах ты Господи! Чистое с тобой наказание! Ну, я возьму мамины часики и брошку, которые в столике у нее лежат.

— Сережек нет ли? — ласково спросил Саматоха, стремясь, очевидно, обставить игру со сказочной роскошью.

VII

Игра была превеселая.

Верочка прыгала вокруг Саматохи и кричала:

— Пошел вон! Не смей трогать Марфушку! Возьми лучше мои драгоценности, только не убивай ее. Постой, где же у тебя нож?

Саматоха привычным жестом полез за пазуху, но сейчас же сконфузился и пожал плечами.

— Можно и без ножа. Нарочно ж...

— Нет, я тебе лучше принесу из столовой.

— Только серебряный! — крикнул ей вдогонку Саматоха.

Игра кончилась тем, что, забрав часы, брошку и кольцо в обмен на драгоценную жизнь Марфушки, Саматоха сказал:

— А теперь я тебя как будто запру в тюрьму.

— Что ты, Миша! — возразила на это девочка, хорошо, очевидно, изучившая, кроме светского этикета, и разбойничьи нравы. — Почему же меня в тюрьму! Ведь ты разбойник — тебя и надо в тюрьму.

Покоренный этой суровой логикой, Миша возразил:

— Ну так я тебя беру в плен и запираю в башню.

— Это другое дело. Ванная — будто б башня... Хорошо?

Когда он поднял ее на руки и понес, она, барахтаясь, зацепилась рукой за карман его брюк.

— Смотри-ка, Миша, что это у тебя в кармане? Ложка?! Это чья?

— Это, брат, моя ложка.

— Нет, это наша. Видишь, вон вензель. Ты, наверное, нечаянно ее положил, да? Думал, платок?

— Нечаянно, нечаянно! Ну, садись-ка, брат, сюда.

— Постой! Ты мне и руки свяжи, будто бы чтоб я не убежала.

— Экая фартовая девчонка, — умилился Саматоха. — Все-то она знает. Ну, давай свои лапки!

Он повернул ключ в дверях ванной и, надев в передней чье-то летнее пальто, неторопливо вышел.

По улице шагал с самым рассеянным видом.

Прошло несколько дней.

Мишка Саматоха, как волк, пробирался по лужайке парка между нянек, колясочек младенцев, летящих откуда-то резиновых мячей и целой кучи детворы, копошившейся на траве.

Его волчий взгляд прыгал от одной няньки к другой, от одного ребенка к другому.

Под громадным деревом сидела бонна, углубившаяся в книгу, а в двух шагах маленькая трехлетняя девочка расставляла какие-то кубики. Тут же на траве раскинулась ее кукла размером больше хозяйки — длинноволосое, розовощекое создание парижской мастерской, одетое в голубое платье с кружевами.

Увидев куклу, Саматоха нацелился, сделал стойку и вдруг как молния прыгнул, схватил куклу и унесся в глубь парка на глазах изумленных детей и нянек.

Потом послышались крики и вообще началась невероятная суматоха.

Минут двадцать без передышки бежал Мишка, стараясь запутать свой след.

Добежал до какого-то дощатого забора, отдышался и, скрытый деревьями, довольно рассмеялся.

— Ловко, — сказал он. — Поди-кось, догони.

Потом вынул замусоленный огрызок карандаша и стал шарить по карманам обрывок какой-нибудь бумажки.

— Эко, черт! Когда нужно, так и нет, — озабоченно проворчал он.

Взгляд его упал на обрывок старой афиши на заборе. Ветер шевелил отклеившимся куском розовой бумаги.

Саматоха оторвал его, крякнул и, прислонившись к забору, принялся писать что-то.

Потом уселся на землю и стал затыкать записку кукле за пояс.

На клочке бумаги были причудливо перемешаны печатные фразы афиши с рукописным творчеством Саматохи.

Читать можно было так:

«Многоуважаемая Вера! *С дозволения начальства.* Очень прошу не обижаться, что я ушел тогда. Было нельзя. Если бы кто-нибудь вернулся — засыпался бы я. А ты девочка знатная, понимаешь, что к чему. И прошу тебя получить... *бинокли у капельдинеров...* сию куклу, мною для тебя найденную на улице... Можешь не благодарить... *Артис ты среди акта на аплодисменты не выходят...* Уважаемого тобой Мишу С.А. Ложку-то я забыл тогда вернуть! Прощ.».

— Вот он где, ребята! Держи его! Вот ты узнаешь, как кукол воровать, паршивец!.. Стой... не уйдешь!.. Собачье мясо!..

Саматоха вскочил с земли, с досадой бросил куклу под ноги окружавших его дворников и мальчишек и проворчал с досадой:

— Свяжись только с бабой — вечно в какую-нибудь историю втяпаешься.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ДЕНЬ У КИНДЯКОВЫХ

Одиннадцать часов. Утро морозное, но в комнате тепло. Печь весело гудит и шумит, изредка потрескивая и выбрасывая на железный лист, прибитый к полу на этот случай, целый сноп искр. Неровный отблеск огня уютно бегает по голубым обоям.

Все четверо детей Киндяковых находятся в праздничном, сосредоточенно-торжественном настроении. Всех четверых праздник будто накрахмалил, и они тихонько сидят, боясь пошевелиться, стесненные в новых платьицах и костюмчиках, начисто вымытые и причесанные.

Восьмилетний Егорка уселся на скамеечке у раскрытой печной дверки и, не мигая, вот уже полчаса смотрит на огонь.

На душу его сошло тихое умиление: в комнате тепло, новые башмаки скрипят так, чго лучше всякой музыки, и к обеду пирог с мясом, поросенок и желе.

Хорошо жить. Только бы Володька не бил и вообще не задевал его. Этот Володька — прямо какое-то мрачное пятно на беспечальном существовании Егорки.

Но Володьке — двенадцатилетнему ученику городского училища — не до своего кроткого меланхоличного брата. Володя тоже всей душой чувствует праздник, и на душе его светло.

Он давно уже сидит у окна, стекла которого мороз украсил затейливыми узорами, и читает.

Книга — в старом, потрепанном, видавшем виды переплете, и называется она: «Дети капитана Гранта». Перелистывая страницы, углубленный в чтение Володя нет-нет да и посмотрит со стесненным сердцем: много ли осталось до конца? Так горький пьяница с сожалением рассматривает на свет остатки живительной влаги в графинчике.

Проглотив одну главу, Володя обязательно сделает маленький перерыв: потрогает новый лакированный пояс, которым подпоясана свеженькая ученическая блузка, полюбуется на свежий излом в брюках и в сотый раз решит, что нет красивее и изящнее человека на земном шаре, чем он.

А в углу, за печкой, там, где висит платье мамы, примостились самые младшие Киндяковы... Их двое:

Милочка (Людмила) и Карасик (Костя). Они, как тараканы, выглядывают из своего угла и все о чем-то шепчутся.

Оба еще со вчерашнего дня уже решили эмансипироваться и зажить своим домком. Именно — накрыли ящичек из-под макарон носовым платком и расставили на этом столе крохотные тарелочки, на которых аккуратно разложены: два кусочка колбасы, кусочек сыру, одна сардинка и несколько карамелек. Даже две бутылочки из-под одеколона украсили этот торжественный стол: в одной «церковное» вино, в другой цветочек — все, как в первых домах.

Оба сидят у своего стола, поджавши ноги, и не сводят восторженных глаз с этого произведения уюта и роскоши.

И только одна ужасная мысль грызет их сердце: что, если Володька обратит внимание на устроенный ими стол? Для этого прожорливого дикаря нет ничего святого: сразу налетит, одним движением опрокинет себе в рот колбасу, сыр, сардинку и улетит, как ураган, оставив после себя мрак и разрушение.

— Он читает, — шепчет Карасик.

— Пойди, поцелуй ему руку... Может, тогда не тронет. Пойдешь?

— Сама пойди, — сипит Карасик. — Ты девочта.

Буквы «к» Карасик не может выговорить. Это для него закрытая дверь. Он даже имя свое произносит так:

— Тарасит.

Милочка со вздохом встает и идет с видом хлопотливой хозяйки к грозному брату. Одна из его рук лежит на краю подоконника; Милочка тянется к ней, к этой загрубевшей от возни со снежками, покрытой рубцами и царапинами от жестоких битв страшной руке... Целует свежими розовыми губками.

И робко глядит на ужасного человека.

Эта умилостивительная жертва смягчает Володино сердце. Он отрывается от книги.

— Ты что, красавица? Весело тебе?

— Весело.

— То-то. А ты вот такие пояса видала?

Сестра равнодушна к эффектному виду брата, но, чтобы подмазаться к нему, хвалит:

— Ах, какой пояс! Прямо прелесть!..

— То-то и оно. А ты понюхай, чем пахнет.

— Ах, как пахнет!!! Прямо — кожей.

— То-то и оно.

Милочка отходит в свой уголок и снова погружается в немое созерцание стола. Вздыхает... Обращается к Карасику:

— Поцеловала.

— Не дерется?

— Нет. А там окно такое замерзнутое.

— А Егорта стола не тронет? Пойди и ему поцелуй руту.

— Ну, вот еще! Всякому целовать. Чего недоставало!

— А если он на стол наплюнет?

— Пускай, а мы вытирем.

— А если на толбасу наплюнет?

— А мы вытирем. Не бойся, я сама съем. Мне не противно.

В дверь просовывается голова матери.

— Володенька, к тебе гость пришел, товарищ!

Боже, какое волшебное изменение тона! В будние дни разговор такой: «Ты что же это, дрянь паршивая, с курями клевал, что ли? Где в чернила убрался? Вот придет отец, скажу ему: он тебе пропишет ижицу. Сын, а хуже босявки!»

А сегодня мамин голос — как флейта. Вот это праздничек!

Пришел Коля Чебурахин.

Оба товарища чувствуют себя немного неловко в этой атмосфере праздничного благочиния и торжественности.

Странно видеть Володе, как Чебурахин шаркнул ножкой, здороваясь с матерью, и как представился созерцателю — Егорке:

— Позвольте представиться, Чебурахин. Очень приятно.

Как все это необычно! Володя привык видеть Чебурахина в другой обстановке, и манеры Чебурахина обыкновенно были иные.

Чебурахин обыкновенно ловил на улице зазевавшегося гимназистика, грубо толкал его в спину и сурово спрашивал:

— Ты чего задаешься?

— А что? — в предсмертной тоске шептал робкий «карандаш». — Я ничего.

— Вот тебе и ничего! По морде хочешь схватить?

— Я ведь вас не трогал, я вас даже не знаю.

— Говори: где я учусь? — мрачно и величественно спрашивал Чебурахин, указывая на потускневший, полуоборванный герб на фуражке.

— В городском.

— Ага! В городском! Так почему же ты, мразь несчастная, не снимаешь передо мной шапку? Учить нужно?

Ловко сбитая Чебурахиным гимназическая фуражка летит в грязь. Оскорбленный, униженный гимназист громко рыдает, а Чебурахин, удовлетворенный, «как тигр (его собственное сравнение) крадется» дальше.

И вот теперь этот страшный мальчик, еще более страшный, чем Володя, вежливо здоровается с мелкотой, а когда Володина мать спрашивает его фамилию и чем занимаются его родители, яркая, горячая краска заливает нежные, смуглые, как персик, чебурахинские щеки.

Взрослая женщина беседует с ним, как с равным, она приглашает садиться! Поистине, это Рождество делает с людьми чудеса!

Мальчики садятся у окна и, сбитые с толку необычностью обстановки, улыбаясь, поглядывают друг на друга.

— Ну, вот хорошо, что ты пришел. Как поживаешь?

— Ничего себе, спасибо. Ты что читаешь?

— «Дети капитана Гранта». Интересная!

— Дашь почитать?

— Дам. А у тебя не порвут?

— Нет, что ты! (Пауза.) А я вчера одному мальчику по морде дал.

— Ну?

— Ей-Богу. Накажи меня Бог, дал. Понимаешь, иду я по Слободке, ничего себе не думаю, ка-ак кирпичиной мне в ногу двинет! Я уж тут не стерпел. Кэ-эк ахну!

— После Рождества надо пойти на Слободку бить мальчишек. Верно?

— Обязательно пойдем. Я резину для рогатки купил. (Пауза.) Ты бизонье мясо ел когда-нибудь?

Володе смертельно хочется сказать: «ел». Но никак не возможно... Вся жизнь Володи прошла на глазах Чебурахина, и такое событие, как потребление в пищу бизоньего мяса, никак не могло бы пройти незамеченным в их маленьком городке.

— Нет, не ел. А, наверное, вкусное. (Пауза.) Ты бы хотел быть пиратом?

— Хотел. Мне не стыдно. Все равно пропащий человек...

— Да и мне не стыдно. Что ж, пират такой же человек, как и другие. Только что грабит.

— Понятно. Зато приключения. (Пауза.) А позавчера я одному мальчишке тоже по зубам дал. Что это, в самом деле, такое?! Наябедничал на меня тетке, что курю. (Пауза.) А австралийские дикари мне не симпатичны, знаешь! Африканские негры лучше.

— Бушмены. Они привязываются к белым.

А в углу бушмен Егорка уже действительно привязался к белым:

— Дай конфету, Милка, а то на стол плюну.

— Пошел, пошел! Я маме скажу.

— Дай конфету, а то плюну.

— Ну и плюй. Не дам.

Егорка исполняет свою угрозу и равнодушно отходит к печке. Милочка стирает передничком с колбасы плевок

и снова аккуратно укладывает ее на тарелку. В глазах ее долготерпение и кротость.

Боже, сколько в доме враждебных элементов... Так и приходится жить — при помощи ласки, подкупа и унижения.

— Этот Егорка меня смешит, — шепчет она Карасику, чувствуя некоторое смущение.

— Он дурат. Тат будто это его тонфеты.

А к обеду приходят гости: служащий в пароходстве Челибеев с женой и дядя Аким Семеныч. Все сидят, тихо перебрасываясь односложными словами, до тех пор, пока не уселись за стол.

За столом шумно.

— Ну, кума, и пирог! — кричит Челибеев. — Всем пирогам пирог.

— Где уж там! Я думала, что совсем не выйдет. Такие паршивые печи в этом городе, что хоть на грубке пеки.

— А поросенок! — восторженно кричит Аким, которого все немного презирают за его бедность и восторженность. — Это ж не поросенок, а черт знает что такое.

— Да, и подумайте: такой поросенок, что тут и смотреть нечего — два рубли!! С ума они посходили там на базаре, чи што! Кура — рубль, а к индюшкам приступу нет! И что оно такое будет дальше, прямо неизвестно.

В конце обеда произошел инцидент: жена Челибеева опрокинула стакан с красным вином и залила новую блузку Володи, сидевшего подле.

Киндяков-отец стал успокаивать гостью, а Киндякова-мать ничего не сказала... Но по лицу ее было видно, что, если бы это было не у нее в доме и был бы не праздник, она бы взорвалась от гнева и обиды за испорченное добро — как пороховая мина.

Как воспитанная женщина, как хозяйка, понимающая, что такое хороший тон, Киндякова-мать предпочла накинуться на Володю:

— Ты чего тут под рукой расселся! И что это за паршивые такие дети, они готовы мать в могилу заколотить. Поел, кажется, — и ступай. Расселся, как городская голова! До неба скоро вырастешь, а все дураком будешь. Только в книжки свои нос совать мастер!

И сразу потускнел в глазах Володи весь торжественный праздник, все созерцательно-восторженное настроение... Блуза украсилась зловещим темным пятном, душа оскорблена, втоптана в грязь в присутствии посторонних лиц, и главное — товарища Чебурахина, который тоже сразу потерял весь свой блеск и очарование необычности.

Хотелось встать, уйти, убежать куда-нибудь.

Встали, ушли, убежали. Оба. На Слободку.

И странная вещь: не будь темного пятна на блузке — все кончилось бы мирной прогулкой по тихим рождественским улицам.

Но теперь, как решил Володя, «терять было нечего».

Действительно, сейчас же встретили трех гимназистов-второклассников.

— Ты чего задаешься? — грозно спросил Володя одного из них.

— Дай ему, дай, Володька! — шептал сбоку Чебурахин.

— Я не задаюсь, — резонно возразил гимназистик. — А вот ты сейчас макарон получишь.

— Я?

В голосе Володи сквозило непередаваемое презрение.

— Я? Кто вас, несчастных, от меня отнимать будет?

— Сам, форсила несчастная!

— Эх! — крикнул Володя (все равно блуза уже не новая!), лихим движением сбросил с плеч пальто и размахнулся...

....

А от угла переулка уже бежали четыре гимназиста на подмогу своим...

....

— Что ж они, сволочи паршивые, семь человек на двух! — хрипло говорил Володя, еле шевеля распухшей, будто чужой губой и удовлетворенно поглядывая на друга затекшим глазом. — Нет, ты, брат, попробуй два на два... Верно?

— Понятно.

И остатки праздничного настроения сразу исчезли — его сменили обычные будничные дела и заботы.

СМЕРТЬ АФРИКАНСКОГО ОХОТНИКА

I. ОБЩИЕ РАССУЖДЕНИЯ. СКАЛА

Мой друг, моральный воспитатель и наставник Борис Попов, провозившийся со мной все мои юношеские годы, часто говорил своим глухим, ласковым голосом:

— Знаете, как бы я нарисовал картину «Жизнь»? По необъятному полю, изрытому могилами, тяжело движется громадная стеклянная стена... Люди с безумно выкатившимися глазами, напряженными мускулами рук и спины хотят остановить ее наступательное движение, бьются у нижнего края ее, но остановить ее невозможно. Она движется и сваливает людей в подвернувшиеся ямы — одного за другим... Одного за другим! Впереди ее — пустые отверстые могилы; сзади — наполненные, засыпанные могилы. И кучка живых людей у края видит прошлое: могилы, могилы и могилы. А остановить стену невозможно. Все мы свалимся в ямы. Все.

Я вспоминаю эту ненаписанную картину и, пока еще стеклянная стена не смела меня в могилу, хочу признаться в одном чудовищном поступке, совершенном мною в дни моего детства. Об этом поступке никто не знает, а поступок дикий и для детского возраста неслыханный: у основания большой желтой скалы, на берегу моря, недалеко от Севастополя, в пустынном месте я закопал в песке, я похоронил одного англичанина и одного француза...

Мир праху вашему — краснобаи и обманщики!

Стеклянная стена движется на меня, но я прикладываю к ней лицо и, сплюснув нос, вижу оставшееся позади: моего отца, индейца Ва-пити и негра Башелико. А за ними в тяжелых прыжках и извивах мощных тел мечутся львы, тигры и гиены.

Это все главные действующие лица той истории, которая окончилась таинственными похоронами у основания большой скалы на пустынном морском берегу.

* * *

Мои родители жили в Севастополе, чего я никак не мог понять в то время: как можно было жить в Севастополе, когда существуют Филиппинские острова, южный берег

Африки, пограничные города Мексики, громадные прерии Северной Америки, мыс Доброй Надежды, реки Оранжевая, Амазонка, Миссисипи и Замбези?..

Меня, десятилетнего пионера в душе, местожительство отца не удовлетворяло.

А занятие? Отец торговал чаем, мукой, свечами, овсом и сахаром.

Конечно, я ничего не имел против торговли... но вопрос: чем торговать? Я допускал торговлю кошенилью, слоновой костью, вымененной у туземцев на безделушки, золотым песком, хинной коркой, драгоценным розовым деревом, сахарным тростником... Я признавал даже такое опасное занятие, как торговля черным деревом (негроторговцы так называют негров).

Но мыло! Но свечи! Но пиленый сахар!

Проза жизни тяготила меня. Я уходил на несколько верст от города и, пролеживая целыми днями на пустынном берегу моря, у подножия одинокой скалы, мечтал...

Пиратское судно решило пристать к этому месту, чтобы закопать награбленное сокровище: скованный железом сундук, полный старинных испанских дублонов, гиней, золотых бразильских и мексиканских монет и разной золотой осыпанной драгоценными камнями утвари...

Грубые голоса, загорелые лица, хриплый смех и ром, ром без конца...

Я, спрятавшись в одному мне известном углублении на верхушке скалы, молча слежу за всем происходящим: мускулистые руки энергично роют песок, опускают в яму тяжелый сундук, засыпают его и, сделав на скале таинственную отметку, уезжают на новые грабежи и приключения. Одну минуту я колеблюсь: не примазаться ли к ним? Хорошо поездить вместе, погреться под жарким экваториальным солнцем, пограбить мимо идущих «купцов», сцепиться на абордаж с английским бригом, дорого продавая свою жизнь, потому что встреча с англичанами — верный галстук на шею.

С другой стороны, можно к пиратам и не примазываться. Другая комбинация не менее заманчива: вырыть сундук с дублонами, притащить к отцу, а потом купить на «вырученные деньги» фургон, в которых ездят южноафриканские боэры, оружия, припасов, нанять нескольких

охотников для компании да и двинуться на африканские алмазные поля.

Положим, отец и мать забракуют Африку! Но Боже ты мой! Остается прекрасная Северная Америка с бизонами, бесконечными прериями, мексиканскими вакеро и раскрашенными индейцами. Ради такой благодати стоило бы рискнуть скальпами — ха-ха!

Солнце накаливает морской песок у моих ног, тени постепенно удлиняются, а я, вытянувшись в холодке под облюбованной мною скалой, книга за книгой поглощаю двух своих любимцев: Луи Буссенара и капитана Майн Рида.

«...Расположившись под тенью гигантского баобаба, путешественники с удовольствием вдыхали вкусный аромат жарившейся над костром передней ноги слона. Негр Геркулес сорвал несколько плодов хлебного дерева и присоединил их к вкусному жаркому. Основательно позавтракав и запив жаркое несколькими глотками кристальной воды из ручья, разбавленной ромом, наши путешественники» и т.д.

Я глотаю слюну и шепчу, обуреваемый завистью:

— Умеют же жить люди! Ну-с... позавтракаем и мы.

Из тайного хранилища в расселине скалы я вынимаю пару холодных котлет, тарань, кусок пирога с мясом, бутылку бузы и начинаю насыщаться, изредка поглядывая на чистый морской горизонт: не приближается ли пиратское судно?

А тени все длиннее и длиннее...

Пора и в свой блокгауз на Ремесленной улице.

Я думаю — скала эта на пустынном берегу стоит и до сих пор, и расселина сохранилась, и на дне ее, вероятно, еще лежит сломанный ножик и баночка с порохом — там все по-прежнему, а мне уже тридцать два года, и все чаще кто-нибудь из добрых друзей восклицает с радостным смехом:

— Гляди-ка! А ведь у тебя тоже появился седой волос.

II. ПЕРВОЕ РАЗОЧАРОВАНИЕ

Не знаю, кто из нас был большим ребенком — я или мой отец.

Во всяком случае, я, как истый краснокожий, не был бы способен на такое бурное проявление восторга, как отец

в тот момент, когда он сообщил мне, что к нам едет настоящий зверинец, который пробудет всю Святую неделю и, может быть (в этом месте отец подмигнул с видом дипломата, разоблачающего важную государственную тайну), останется и до мая.

Внутри у меня все замерло от восторга, но наружно я не подал виду.

Подумаешь, зверинец! Какие там звери? Небось и агути нет, и гну, и анаконды — матери вод, не говоря уж о жирафах, пеккари и муравьедах.

— Понимаешь — львы есть! Тигры! Крокодил! Удав! Укротители и хозяин у меня кое-что в лавке покупают, так говорили. Вот это, брат, штука! Индеец там есть — стрелок, и негр.

— А что негр делает? — спросил я с побледневшим от восторга лицом.

— Да уж что-нибудь делает, — неопределенно промямлил отец. — Даром держать не будут.

— Какого племени?

— Да племени, брат, хорошего, сразу видно. Весь черный, как ни поверни. На первый день Пасхи пойдем — увидишь.

Кто поймет мое чувство, с которым я нырнул под красную кумачовую с желтыми украшениями отделку балагана? Кто оценит симфонию звуков хриплого аристона, хлопанья бича и потрясающего рева льва?

Где слова для передачи сложного дивного сочетания трех запахов: львиной клетки, конского навоза и пороха?..

Эх, очерствели мы!..

Однако когда я опомнился, многое в зверинце перестало мне нравиться.

Во-первых, — негр.

Негр должен быть голым, кроме бедер, покрытых яркой бумажной материей. А тут я увидел профанацию: негра в красном фраке, с нелепым зеленым цилиндром на голове. Во-вторых, негр должен быть грозен. А этот показывал какие-то фокусы, бегал по рядам публики, вынимая из всех карманов замасленные карты, и вообще относился ко всем очень заискивающе.

В-третьих, — тяжелое впечатление произвел на меня Ва-пити — индеец, стрелок из лука. Правда, он был в индейском национальном костюме, украшен какой-то шкурой

и утыкан перьями, как петух, но... где же скальпы? Где ожерелье из зубов серого медведя-гризли?

Нет, все это не то.

И потом: человек стреляет из лука — во что? — в черный кружок, нарисованный на деревянной доске.

И это в то время, когда в двух шагах от него сидят его злейшие враги, бледнолицые!

— Стыдись, Ва-пити, краснокожая собака! — хотел сказать я ему. — Твое сердце трусливо, и ты уже забыл, как бледнолицые отняли у тебя пастбище, сожгли вигвам и угнали твоего мустанга. Другой порядочный индеец не стал бы раздумывать, а влепил бы сразу парочку стрел в физиономию вон тому акцизному чиновнику, сытый вид которого доказывает, что гибель вигвама и угон мустанга не обошлись без его содействия.

Увы! Ва-пити забыл заветы своих предков. Ни одного скальпа не содрал он сегодня, а просто раскланялся на аплодисменты и ушел. Прощай, трусливая собака!

Чем дальше, тем больше падало мое настроение: худосочная девица надевала себе на шею удава, будто это был вязаный шерстяной платок.

Живой удав — и он стерпел это, не обвил негодницу своими смертоносными кольцами? Не сжал ее так, чтобы кровь из нее брызнула во все стороны?! Червяк ты несчастный, а не удав!

Лев! Царь зверей, величественный, грозный, одним прыжком выносящийся из густых зарослей и, как гром небесный, обрушивающийся на спину антилопы... Лев, гроза чернокожих, бич стад и зазевавшихся охотников, прыгал через обруч! Становился всеми четырьмя лапами на раскрашенный шар! Гиена становилась передними ногами ему на круп!..

Да будь я на месте этого льва, я так тяпнул бы этого укротителя за ногу, что он другой раз и к клетке близко бы не подошел.

И гиена тоже обнаглела, как самая последняя дрянь...

Прошу не осуждать меня за кровожадность... Я рассуждал, так сказать, академически.

Каждый должен делать свое дело: индеец снимать скальп, негр — есть попавших к нему в лапы путешественников, а лев — терзать без разбору того, другого и третьего,

потому что читатель должен понять: пить-есть всякому надо.

Теперь я и сам недоумеваю: что я надеялся увидеть, явившись в зверинец? Пару львов, вырвавшихся из клетки и доедающих в углу галерки не успевшего удрать матроса? Индейца, старательно снимающего скальпы со всего первого ряда обезумевших от ужаса зрителей? Негра, разложившего костер из выломанных досок слоновой загородки и поджаривающего на этом костре мучного торговца Слуцкина?

Вероятно, это зрелище было бы единственное, которое меня бы удовлетворило...

А когда мы выходили из балагана, отец сообщил мне ликующим тоном:

— Представь себе, я пригласил сегодня вечером к нам в гости хозяина, индейца и негра. Повеселимся.

Это была та же отцовская черта, которая приводила его к покупке на базаре каракатиц, которых мы потом вдвоем с отцом и съедали. Я — из любви к приключениям, он — из желания доказать всем домашним, что покупка его не носит определенного характера бессмысленности.

— Да-с. Пригласил. Интересные люди.

С таким видом, вероятно, Ротшильд теперь приглашает к себе Шаляпина.

Дух меценатства свил себе в отце прочное гнездо.

III. ВТОРОЕ РАЗОЧАРОВАНИЕ. СМЕРТЬ

Удар за ударом!

Индеец Ва-пити и негр Башелико явились к нам в серых пиджаках, которые сидели на них, как перчатка на карандаше.

Они по примеру хозяина зверинца христосовались с отцом и мамой.

Негр — каннибал — христосовался!

Краснокожая собака — Ва-пити, которого засмеяли бы индейские скво (бабы), — христосовался!

Боже, Боже! Они ели кулич. После жареного миссионера — кулич! А грозный индеец Ва-пити мирно съел три крашеных яйца, измазав себе всю кирпичную физиономию

синим и зеленым цветом. Это — вместо раскраски в цвета войны...

Кончилось тем, что отец, хватив киевской наливки свыше меры, затянул «Виют витры, виют буйны», а индеец ему подтягивал!!

А негр танцевал с теткой польку-мазурку... Правда, при этом ел ее, но только глазами...

И в это время играл не тамтам, а торбан под умелой рукой отца.

А грозный немец, хозяин зверинца, просто спал, забыв своих львов и слонов.

* * *

Утром, когда еще все спали, я встал и, надев фуражку, тихо побрел по берегу бухты.

Долго брел, грустно брел.

Вот и моя скала, вот и расселина — мое пище- и книгохранилище.

Я вынул Буссенара, Майн Рида и уселся у подножия скалы. Перелистал книги... в последний раз.

И со страниц на меня глядели индейцы, поющие: «Виют витры, виют буйны», глядели негры, танцующие польку-мазурку под звуки хохлацкого торбана, львы прыгали через обруч, и слоны стреляли хоботом из пистолета...

Я вздохнул.

Прощай, мое детство, мое сладкое, изумительно интересное детство...

Я вырыл в песке под скалой яму, положил в нее все томики француза Буссенара и англичанина капитана Майн Рида, засыпал эту могилу, встал и выпрямился, обведя горизонт совсем другим взглядом... Пиратов не было и не могло быть; не должно быть.

Мальчик умер.

Вместо него — родился юноша.

* * *

В слонов лучше всего стрелять разрывными пулями.

....

Я – КАК АДВОКАТ

I

— Поздравьте меня! — сказал мне один знакомый — жизнерадостный, улыбающийся юноша. — Я уже помощник присяжного поверенного... Адвокат!

— Да что вы говорите!

— Вот вам и да что! Настоящий адвокат.

Лицо его приняло серьезное, значительное выражение.

— Не шутите!

— Милый мой... Люди, стоящие на страже законов, — не шутят. Защитники угнетенных, хранители священных заветов Александра Второго, судебные деятели — не имеют права шутить. Нет ли дельца какого-нибудь?

— Как не быть дельцу? У литератора, у редактора журнала дела всегда есть. Вот, например, через неделю назначено мое дело. Привлекают к ответственности за то, что я перепечатал заметку о полицеймейстере, избившем еврея.

— Он что же?.. Не бил его, что ли?

— Он-то бил. А только говорят, что этого нельзя было разглашать в печати. Он бил его, так сказать, доверительно, не для печати.

— Хорошо, — сказал молодой адвокат. — Я беру это дело. Дело это трудное, запутанное дело, но я его беру.

— Берите. Какое вы хотите вознаграждение за ведение дела?

— Господи! Как обыкновенно.

— А как обыкновенно?

— Ребенок! (Он с покровительственным видом потрепал меня по плечу.) Неужели вы не знаете обычного адвокатского гонорара? Из десяти процентов! Понимаете?

— Понимаю. Значит, если я получу три месяца тюрьмы, то на вашу долю придется девять дней? Знаете, я согласен работать с вами даже на тридцати процентах.

Он немного смутился.

— Гм! Тут что-то не так... Действительно, из чего я должен получить десять процентов? У вас какой иск?

— Никакого иска нет.

— Значит, — воскликнул он с отчаянным выражением лица, — я буду вести дело и ничего за это с вас не получу?

— Не знаю, — пожал я плечами с невинным видом. — Как у вас там, у адвокатов, полагается?

Облачко задумчивости слетело с его лица. Лицо это озарилось солнцем.

— Знаю! — воскликнул он. — Это дело ведь — политическое?

— Позвольте... Разберемся, из каких элементов оно состоит: из русского еврея, русского полицеймейстера и русского редактора! Да, дело несомненно политическое,

— Ну вот. А какой же уважающий себя адвокат возьмет деньги за политическое дело?!

Он сделал широкий жест.

— Отказываюсь! Кладу эти рубли на алтарь свободы!

Я горячо пожал ему руку.

II

— Систему защиты мы выберем такую: вы просто заявите, что вы этой заметки не печатали.

— Как так? — изумился я. — У них ведь есть номер журнала, в котором эта заметка напечатана.

— Да? Ах, какая неосторожность! Так вы вот что: вы просто заявите, что это не ваш журнал.

— Позвольте... Там стоит моя подпись.

— Скажите, что поддельная. Кто-то, мол, подделал. А? Идея?

— Что вы, милый мой! Да ведь весь Петербург знает, что я редактирую журнал.

— Вы, значит, думаете, что они вызовут свидетелей?

— Да, любой человек скажет им это!

— Ну, один человек — это еще не беда. Можно оспорить. Testis unus testis nullus... Я-то эти закавыки знаю. Вот если много свидетелей, — тогда плохо. А нельзя сказать, что вы спали или уехали на дачу, а ваш помощник напился пьян и выпустил номер?

— Дача в декабре? Сон без просыпу неделю? Пьяный помощник? Нет, это не годится. Заметка об избиении полицеймейстером еврея помещена, а я за нее отвечаю как редактор.

— Есть! Знаете, что вы покажете? Что вы видели, как полицеймейстер бил еврея.

— Да я не видел!!

— Послушайте... Я понимаю, что подсудимый должен быть откровенен со своим защитником. Но им-то вы можете сказать, чего и на свете не было.

— Да как же я это скажу?

— А так: поехал, мол, я по своим делам в город Витебск (сестру замуж выдавать или дочку хоронить), ну, еду, мол, по улице, вдруг смотрю: полицеймейстер еврея бьет. Какое, думаю, он имеет право?! Взял да и написал.

— Нельзя так. Бил-то он его в закрытом помещении. В гостинице.

— О, Господи! Да кто-нибудь же видел, как он его бил? Были же свидетели?

— Были. Швейцар видел.

Юный крючкотвор задумался.

— Ну, хорошо, — поднял он голову очень решительно. — Будьте покойны, — я уже знаю, что делать. Выкрутимся!

III

Когда мы вошли в зал суда, мой адвокат так побледнел, что я взял его под руку и дружески шепнул:

— Мужайтесь.

Он обвел глазами скамьи для публики и, чтобы замаскировать свой ужас перед незнакомым ему местом, заметил:

— Странно, что публики так мало. Кажется, дело сенсационное, громкий политический процесс, а любопытных нет.

Действительно, на местах для публики сидели только два гимназиста, прочитавшие, очевидно, в газетах заметку о моем деле и пришедшие поглазеть на меня.

В глазах их читалось явно выраженное сочувствие по моему адресу, возмущение по адресу тяжелого русского режима, и сверкала в этих открытых чистых глазах явная решимость в случае моего осуждения отбить меня от конвойных (которых, к сожалению, не было), посадить на мустанга и ускакать в прерии, где я должен был прославиться под кличкой кровавого мстителя Железные Очки...

Я невнимательно прослушал чтение обвинительного акта, рассеянно ответил на заданные мне вопросы и вообще все свое внимание сосредоточил на бедном адвокате, который

сидел, с видом героя повести Гюго «Последний день приговоренного к смерти».

Когда председатель сказал: «Слово принадлежит защитнику», — мой защитник притворился, что это его не касается. Со всем возможным вниманием он углубился в разложенные перед ним бумаги, поглядывая одним глазом на председателя.

— Слово принадлежит защитнику!

Я толкнул его в бок.

— Ну, что же вы... начинайте.

— А? Да, да... Я скажу...

Он, шатаясь, поднялся.

— Прошу суд дело отложить до вызова новых свидетелей.

Председатель удивленно спросил:

— Каких свидетелей?

— Которые бы удостоверили, что мой обвиняемый...

— Подзащитный!

— Да... Что мой этот... подзащитный не был в городе в тот момент, когда вышел номер журнала.

— Это лишнее, — сказал председатель. — Обвиняемый — ответственный редактор и все равно отвечает за все, что помещено в журнале.

— Бросьте! — шепнул я. — Говорите просто вашу речь.

— А? Ну-ну. Господа судьи и вы, присяжные заседатели!..

Я снова дернул его за руку.

— Что вы! Где вы видите присяжных заседателей?

— А эти вот, — шепнул он мне. — Кто такие?

— Это ведь коронный суд. Без участия присяжных.

— Вот оно что! То-то я смотрю, что их так мало. Думал, заболели...

— Или спят, — сказал я. — Или на даче, да?

— Защитник, — заметил председатель, — раз вы начали речь, прошу с обвиняемым не перешептываться.

— В деле открылись новые обстоятельства, — заявил мой защитник, глядя на председателя взглядом утопающего.

— Говорите.

IV

— Господа судьи и вы... вот эти... коронные... тоже судьи. Мой обвиняемый вовсе даже не виноват. Я его знаю как

высоконравственного человека, который на какие-нибудь подлости не способен...

Он жадно проглотил стакан воды.

— Ей-Богу. Вспомните великого основателя судебных уставов... Мой защищаемый видел своими глазами, как полицеймейстер бил этого жалкого, бесправного еврея, положение которых в России...

— Опомнитесь! — шепнул я. — Ничего я не видел. Я перепечатал из газет. Там только один швейцар и был свидетелем избиения.

Адвокат — шепотом:

— Тссс! Не мешайте... Я нашел лазейку...

Вслух:

— Господа судьи и вы, коронные представители... Все мы знаем, каково живется руководителю русского прогрессивного издания. Штрафы, конфискации, аресты сыплются на него, как из ведра... изобилия! Свободных средств, обыкновенно, нет, а штрафы плати, а за все отдай! Что остается делать такому прогрессивному неудачнику? Он должен искать себе заработка на стороне, не стесняясь его сущностью и формой. Лишь бы честный заработок, господа судьи, и вы, присяжн... присяжные поверенные! Человек без предрассудков, мой защищаемый в свободное от редакционной работы время снискивал себе пропитание, чем мог. Конечно, мизерная должность швейцара второстепенной витебской гостиницы — это мало, слишком мало... Но нужно же жить и питаться, господа присяжные! И вот, мой защищаемый, находясь временно в должности такого швейцара в витебской гостинице, — сам, своими глазами, видел, как зарвавшийся представитель власти избивал бедного бесправного пасынка великой нашей матушки России, того пасынка, который, по выражению одного популярного писателя, —

...создал песню, подобную стону,
И навеки духовно почил.

— Виноват, — заметил потрясенный председатель.

— Нет, уж вы позвольте мне кончить. И вот я спрашиваю: неужели правдивое, безыскусственное изложение виденного есть преступление?! Я должен указать на то, что юридическая природа всякого преступления долж-

на иметь... исходить... выражать... наличность злой воли. Имела ли она место в этом случае? Нет! Положа сердце на руку — тысячу раз нет. Видел человек и написал. Но ведь и Тургенев, и Толстой, и Достоевский писали то, что видели. Посадите же и их рядом с моим подзащищаемым! Почему же я не вижу их рядом с ним?!! И вот, господа судьи, и вы... тоже... другие судьи, — я прошу вас, основываясь на вышесказанном, вынести обвинительный приговор насильнику-полицеймейстеру, удовлетворив гражданский иск моего обвиняемого и за ведение дел издержки, потому что он не виноват, потому что правда да милость да царствуют в судах, потому что он продукт создавшихся условий, потому что он надежда молодой русской литературы!!!

Председатель, пряча в густых, нависших усах предательское дрожание уголков рта, шепнул что-то своему соседу и обратился к «надежде молодой русской литературы»:

— Обвиняемому предоставляется последнее слово.

Я встал и сказал, ясным взором глядя перед собою:

— Господа судьи! Позвольте мне сказать несколько слов в защиту моего адвоката. Вот перед вами сидит это молодое существо, только что сошедшее с университетской скамьи. Что оно видело, чему его там учили? Знает оно несколько юридических оборотов, пару-другую цитат, и с этим крохотным микроскопическим багажом, который поместился бы в узелке, завязанном в углу носового платка, — вышло оно на широкий жизненный путь. Неужели ни на одну минуту жалость к несчастному и милосердие — этот дар нашего христианского учения — не тронули ваших сердец?! Не судите его строго, господа судьи, он еще молод, он еще исправится, перед ним вся жизнь. И это дает мне право просить не только о снисхождении, но и о полном его оправдании!

Судьи были, видимо, растроганы. Мой подзащитный адвокат плакал, тихонько сморкаясь в платок.

* * *

Когда судьи вышли из совещательной комнаты, председатель громко возгласил:

— Нет, не виновен!

Я, как человек обстоятельный, спросил:

— Кто?

— И вы признаны невиновным, и он. Можете идти.

Все окружили моего адвоката, жали ему руки, поздравляли...

— Боялся я за вас, — признался один из публики, пожимая руку моему адвокату. — Вдруг, думаю, закатают вас месяцев на шесть.

Выйдя из суда, зашли на телеграф, и мой адвокат дал телеграмму:

«Дорогая мама! Сегодня была моя первая защита. Поздравь — меня оправдали. Твой Ника».

ТЕЛЕГРАФИСТ НАДЬКИН

I

Солнце еще не припекало. Только грело.

Его лучи еще не ласкали жгучими ласками, подобно жадным рукам любовницы; скорее, нежная материнская ласка чувствовалась в теплых касаниях нагретого воздуха.

На опушке чахлого леса, раскинувшись под кустом на пригорке, благодушествовали двое: бывший телеграфист Надькин и Неизвестный человек, профессия которого заключалась в продаже горожанам колоссальных миллионных лесных участков в Ленкорани на границе Персии. Так как для реализации этого дела требовались сразу сотни тысяч, а у горожан были в карманах, банках и чулках лишь десятки и сотни рублей, то ни одна сделка до сих пор еще не была заключена, кроме взятых Неизвестным человеком двугривенных и полтинников заимообразно от лиц, ослепленных ленкоранскими миллионами.

Поэтому Неизвестный человек всегда ходил в сапогах, подметки которых отваливались у носка, как челюсти старых развратников, а конец пояса, которым он перетягивал свой стан, облеченный в фантастический бешмет, — этот конец делался все длиннее и длиннее, хлюпая даже по коленям подвижного Неизвестного человека.

В противовес своему энергичному приятелю бывший телеграфист Надькин выказывал себя человеком ленивым, малоподвижным, с определенной склонностью к философским размышлениям.

Может быть, если бы он учился, из него вышел бы приличный приват-доцент.

А теперь, хотя он и любил поговорить, но слов у него вообще не хватало, и он этот недостаток восполнял такой страшной жестикуляцией, что его жилистые, грязные кулаки, кое-как прикрепленные к двум вялым рукам-плетям, во время движения издавали даже свист, как камни, выпущенные из пращи.

Грязная форменная тужурка, обтрепанная, с громадными вздутиями на тощих коленях, брюки и фуражка с полуоторванным козырьком — все это, как пожар Москве, служило украшением Надькину.

II

Сегодня, в ясный пасхальный день, друзья наслаждались в полном объеме: солнце грело, бока нежила светлая весенняя, немного примятая травка, а на разостланной газете были разложены и расставлены, не без уклона в сторону буржуазности, полдюжины крашеных яиц, жареная курица, с пол-аршина свернутой бубликом «малороссийской» колбасы, покривившийся от рахита кулич, увенчанный сахарным розаном, и бутылка водки.

Ели и пили истово, как мастера этого дела. Спешить было некуда; отдаленный перезвон колоколов навевал на душу тихую задумчивость, и, кроме того, оба чувствовали себя по-праздничному, так как голову Неизвестного человека украшала новая барашковая шапка, выменянная у ошалевшего горожанина чуть ли не на сто десятин ленкоранского леса, а телеграфист Надькин украсил грудь букетом подснежников и, кроме того, еще с утра вымыл руки и лицо.

Поэтому оба и были так умилительно-спокойны и неторопливы.

Прекрасное должно быть величаво...

Поели...

Телеграфист Надькин перевернулся на спину, подставил солнечным лучам сразу сбежавшуюся в мелкие складки прищуренную физиономию и с негой в голосе простонал:

— Хо-ро-шо!

— Это что, — мотнул головой Неизвестный человек, шлепая ради забавы отклеившейся подметкой. — Разве так

бывает хорошо? Вот когда я свои ленкоранские леса сплавлю, — вот жизнь пойдет. Оба, брат, из фрака не вылезем... На шампанское чихать будем. Впрочем, продавать не все нужно: я тебе оставлю весь участок, который на море, а себе возьму на большой дороге, которая на Тавриз. Ба-альшие дела накрутим.

— Спасибо, брат, — разнеженно поблагодарил Надькин. — Я тебе тоже... Гм!.. Хочешь папироску?

— Дело. Але! Гоп!

Неизвестный поймал брошенную ему папироску, лег около Надькина, и синий дымок поплыл, сливаясь с синим небом...

III

— Хо-рро-шо! Верно?

— Да.

— А я, брат, так вот лежу и думаю: что будет, если я помру?

— Что будет? — хладнокровно усмехнулся Неизвестный человек. — Землетрясение будет!.. Потоп! Скандал!.. Ничего не будет!!

— Я тоже думаю, что ничего, — подтвердил Надькин. — Все тоже сейчас же должно исчезнуть — солнце, земной шар, пароходы разные — ничего не останется!

Неизвестный человек поднялся на одном локте и тревожно спросил:

— То есть... Как же это?

— Да так. Пока я жив, все это для меня и нужно, а раз помру, — на кой оно тогда черт!

— Постой, брат, постой... Что это ты за такая важная птица, что раз помрешь, так ничего и не нужно?

Со всем простодушием настоящего эгоиста Надькин повернул голову к другу и спросил:

— А на что же оно тогда?

— Да ведь другие-то останутся?!

— Кто другие?

— Ну, люди разные... Там, скажем, чиновники, женщины, министры, лошади... Ведь им жить надо?

— А на что?

— «На что, на что»! Плевать им на тебя, что ты умер. Будут себе жить, да и все.

— Чудак! — усмехнулся телеграфист Надькин, нисколько не обидясь. — Да на что же им жить, раз меня уже нет?

— Да что ж они для тебя только и живут, что ли? — с горечью и обидой в голосе вкричал продавец ленкоранских лесов.

— А то как же? Вот чудак — больше им жить для чего же?

— Ты это... Серьезно?

Злоба, досада на наглость и развязность Надькина закипели в душе Неизвестного. Он даже не мог подобрать слов, чтобы выразить свое возмущение, кроме короткой мрачной фразы:

— Вот сволочь!

Надькин молчал.

Сознание своей правоты ясно виднелось на лице его.

IV

— Вог нахал! Да что ж ты, значит, скажешь, что вот сейчас там в Петербурге или в Москве генералы разные, сенаторы, писатели, театры — все это для тебя?

— Для меня. Только их там сейчас никого нет. Ни генералов, ни театров. Не требуется.

— А где же они?! Где?!!

— Где? Нигде.

— ?!! ?!!

— А вот если я, скажем, собрался, в Петербург проехал, — все бы они сразу и появились на своих местах. Приехал, значит, Надькин, и все сразу оживилось: дома выскочили из земли, извозчики забегали, дамочки, генералы, театры заиграли... А как уеду — опять ничего не будет. Все исчезнет.

— Ах, подлец!.. Ну и подлец же... Бить тебя за такие слова мало. Станут ради тебя генералов, министров затруднять. Что ты за цаца такая?

Тень задумчивости легла на лицо Надькина.

— Я уже с детства об этом думаю: что ни до меня ничего не было, ни после меня ничего не будет... Зачем? Жил Надькин — все было для Надькина. Нет Надькина — ничего не надо.

— Так почему же ты, если ты такая важная персона, — не король какой-нибудь или князь?!

— А зачем? Должен быть порядок. И король нужен для меня, и князь. Это, брат, все предусмотрено.

Тысяча мыслей терзала немного охмелевшую голову Неизвестного человека.

— Что ж, по-твоему, — сказал он срывающимся от гнева голосом, — сейчас и города нашего нет, если ты из него вышел?

— Конечно, нет.

— А посмотри, вон колокольня... Откуда она взялась?

— Ну, раз я на нее смотрю, — она, конечно, и появляется. А раз отвернусь — зачем ей быть? Для чего?

— Вот свинья! А вот ты отвернись, а я буду смотреть — посмотрим, исчезнет она или нет?

— Незачем это, — холодно отвечал Надькин. — Разве мне не все равно — будет тебе казаться эта колокольня или нет?

Оба замолчали.

V

— Постой, постой, — вдруг горячо замахал руками Неизвестный человек. — А я, что ж, по-твоему, если умру... Если раньше тебя — тоже все тогда исчезнет?

— Зачем же ему исчезать, — удивился Надькин, — раз я останусь жить?! Если ты помрешь — значит, помер просто, чтобы я это чувствовал и чтоб я поплакал над тобой.

И, встав с земли и стоя на коленях, спросил ленкоранский лесоторговец сурово:

— Значит, выходит, что и я только для тебя существую, значит, и меня нет, ежели ты на меня не смотришь?

— Ты? — нерешительно промямлил Надькин.

В душе его боролись два чувства: нежелание обидеть друга и стремление продолжить до конца, сохранить всю стройность своей философской системы.

Философская сторона победила:

— Да! — твердо сказал Надькин. — Ты тоже. Может, ты и появился на свет для того, чтобы для меня достать кулич, курицу и водку и составить мне компанию.

Вскочил на ноги ленкоранский продавец... Глаза его метали молнии. Хрипло вскричал:

— Подлец ты, подлец, Надькин! — Знать я тебя больше не хочу! Извольте видеть — мать меня на что рожала, му-

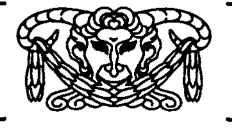
чилась, грудью кормила, а потом беспокоилась и страдала за меня?! Зачем? Для чего? С какой радости?.. Да для того, видите ли, чтобы я компанию составил безработному телеграфистишке Надькину? А? Для него я рос, учился, с ленкоранскими лесами дело придумал, у Гигикина курицу и водку на счет лесов скомбинировал. Для тебя? Провались ты! Не товарищ я тебе больше, чтобы тебе лопнуть!

Нахлобучив шапку на самые брови и цепляясь полуоторванной подметкой о кочки, стал спускаться Неизвестный человек с пригорка, направляясь к городу.

А Надькин печально глядел ему вслед и, сдвинув упрямо брови, думал по-прежнему, как всегда он думал:

— Спустится с пригорка, зайдет за перелесок и исчезнет... Потому, раз он от меня ушел — зачем ему существовать? Какая цель? Хо!

И сатанинская гордость расширила болезненное, хилое сердце Надькина и осветила лицо его адским светом.



ФОМА ОПИСКИН. СОРНЫЕ ТРАВЫ (1914)

сорные травы



ПРЕДИСЛОВИЕ

Прежде чем сказать что-нибудь об этой книге, я считаю необходимым сказать несколько слов об ее авторе.

Кто такой Фома Опискин?

Многие из читателей считали и до сих пор считают «Фому Опискина» псевдонимом какого-нибудь скромного, скрывающего свое настоящее имя писателя; читателей сбило с толку сходство имени и фамилии этого юмориста с именем и фамилией популярного персонажа из повести Достоевского «Село Степанчиково и его обитатели».

Это совершенно случайное совпадение.

Фома Степаныч* Опискин — это настоящее имя и фамилия сатирического писателя и постоянного сотрудника журнала «Новый Сатирикон».

Фома Степаныч происходит из мелкопоместных бедных дворян Екатеринославской губернии Славяносербского уезда. Отец его Степан Селиваныч** служил в должности воинского начальника в г. Славяносербске и в 1890 году вышел в отставку, занявшись воспитанием своего сына.

Молодой Фома рос, окруженный самой нежной заботливостью, самыми нежными попечениями. Он сам рассказывает, что не помнит ни одного случая, чтобы отец когда-нибудь ударил его палкой или каким-нибудь другим предметом. Наоборот, если родительская рука и поднималась или и опускалась на маленького Фому, то только для того, чтобы приласкать его...

---

* И опять совпадение — в отчестве Ф.О. и в названии села у Достоевского (Степаныч — Степанчиково).

** И опять уже третье по счету, удивительное совпадение: «Селиваныч — село Степанчиково» — один и тот же корень «сел».

Ясно, что в этой атмосфере и создалась душа нежная, чуткая, сердце доброе и возвышенное...

Кроме этих свойств я должен указать еще на одно — пожалуй, на самое главное: Фома Степаныч отличается исключительной, пожалуй даже болезненной, скромностью и застенчивостью. В этом всякий читатель может сразу убедиться, едва только раскрыв «Сорные травы». В начале книги помещен портрет Фомы Степаныча — и что же! Фома Степаныч снят там в совершенно оригинальном виде — с лицом, закрытым руками. Даже в таком виде нам стоило громадного труда уговорить его стать перед фотографическим аппаратом. Тщетно мы указывали ему на то, что читателям будет приятно увидеть лицо человека, с которым они духовно сжились и которого они так любят за независимость и ядовитость его сатиры.

— Нет, нет, — кротко упираясь, возражал Фома Степаныч. — Зачем же... кому это интересно?..

— Уверяю тебя, Фома, это нужно, — уговаривал его Ре-Ми. — Ты такой красивый, и всем будет приятно полюбоваться на твое лицо.

— Пусть любуются моим духовным лицом, а не физическим. Физическая красота преходяща, а духовное лицо остается.

— Фома, Фома! Вот поэтому-то и нужно запечатлеть то, что преходяще, то, что исчезнет. А вдруг ты скоро умрешь? Неужели после тебя не останется ни одного следа, ни одного портрета, который бы напоминал твоим читателям и нам, твоим друзьям, о тебе...

— Нет, нет...

Упирающегося писателя подтащили к аппарату, поставили в позу, но одного предусмотреть не могли: в момент, когда фотограф сказал «готово» — Фома целомудренным жестом закрыл лицо руками. В конце концов, как ни бились, пришлось поместить вышеуказанное неполное и малоудовлетворительное изображение писателя.

Эта скромность, это стремление стушеваться, сесть куда-нибудь в уголок, спрятаться — проходит красной нитью через все поступки, через всю жизнь симпатичного писателя.

Фома Опискин почти безвыездно живет в Петербурге, а может ли кто-либо из праздной столичной публики похвастать, что видел его в лицо? Нет! Только три места могут

быть названы теми тремя китами, на которых держится непритязательная тихая жизнь Фомы Опискина: квартирка на Кронверкском, редакция «Нового Сатирикона» и кресло в амфитеатре Мариинского театра — вот и все.

И однако, — что самое удивительное — при такой кротости, скромности и незлобивости Фома Опискин носит в сердце своем ненависть — самую беспощадную, неутолимую, свирепую ненависть — к октябризму и к октябристам!

Я часто думаю: сколько нужно было глупости, пошлости, лжи, низкопоклонства, предательства и недомыслия, чтобы раздуть в сердце этого почти святого человека такое страшное пламя...

И если бы этому человеку, который даже упавшую к нему в стакан с вином муху старается осторожно вынуть из вина и, вытрезвив, выпустить на свободу, если бы этому человеку попался в руки живой октябрист, — я содрогаюсь, представляя себе — что сделал бы с ним «кроткий Фомушка», как прозвали его у нас в редакции. Он выколол бы ему глаза, оборвал уши и кусал бы долго и бил бы его ногами по самым чувствительным частям тела (однажды в минуту откровенности он сам признался мне, что сделал бы так).

Вот почему все его фельетоны об октябристах полны самого тонкого беспощадного яда и злости.

Почти все, что он написал (писал он только у нас, в «Сатириконе»), прошло через мои руки, и я могу с гордостью назвать себя крестным отцом этого удивительного писателя и человека. Начал он писать по моей просьбе, по моему настоянию, и до сих пор у него сохранилось ласковое обращение ко мне — «дорогой папаша». В тон ему и я называю его сынком и очень бываю доволен, когда какой-нибудь фельетон или рассказ «сынка» вызывает восхищение у читателей и товарищей по редакции...

Иногда по условиям редакционной спешности нам случалось писать с ним вместе — и эта работа бывала для меня истинным удовольствием. Быстрота соображения, какая-то молниеносность в понимании моего замысла — всегда поражала меня.

И я всегда удивлялся его точному, ясному языку, ясности его определений и неожиданности сравнений.

После того как нами заканчивалась какая-нибудь вещь, мы поднимали длинные споры — чьим именем подписать ее.

И всегда почти его удивительная скромность выступала на сцену:

— Нет, Аркадий, по праву эта вещь твоя, ты дал и сюжет и внес в исполнение нотку скорбной иронии, которая так украсила фельетон.

— Нет, папаша, фельетон этот по праву твой!

— Но, сынок, — возражал я. — Пойми же, что фельетон весь целиком написан тобой. Ты его писал, а я сделал всего два-три замечания.

— Нет, папаша, и т.д.

И с упрямым видом, поблескивая кроткими, ласковыми глазами, он долго теребил свою рыжеватую маленькую бородку...

Не знаю, может быть, меня упрекнут в пристрастии к Фоме Опискину, но я говорю, что думаю; *я считаю эту книгу замечательной*. Блеск, сила, темперамент, сжатость выкованного мастерской рукой слога, ошеломляющий своей неожиданностью юмор — все это должно поставить эту книгу в ряд интереснейших книг последних лет.

Такие вещи, как «Грозное местоимение», «Виктор Поликарпович», «Новые правила» и несколько других, помещенных в этой книге, должны занять почетное место в любой хрестоматии нашей общественной и политической жизни — если бы такая хрестоматия была кем-нибудь когда-нибудь выпущена в свет.

Аркадий Аверченко

Часть I

ЧЕРТОПОЛОХ И КРАПИВА

БЫЛОЕ
(Русские в 1962 году)

Зима этого года была особенно суровая...

Крестьяне сидели дома — никому не хотелось высовывать носа на улицу. Дети перестали ходить в училище, а бабы совершали самые краткие рейсы: через улицу — в гастрономический магазин или на электрическую станцию с претензией и жалобой на вечную неисправность электрических проводов.

. . . .

Дед Пантелей разлегся на теплой лежанке и, щуря старые глаза от электрической лампочки, поглядывал на сбившихся в кучу у его ног малышей.

— Ну что ж вам рассказать, мезанфанчики? Что хотите слушать, пострелята?

— Старое что-нибудь, — попросила бойкая Аксюшка.

— Да что старое-то?

— Про губернаторов.

— Про гу-бер-на-то-ров? — протянул добродушно-иронически старик. — И чивой-то вы их так полюбили: и вчера про губернаторов и сегодня про губернаторов...

— Чудно́ больно, — сказал Ванька, шмыгая носом.

— Ваня! — заметила мать, сидевшая на лавке с какой-то книгой в руках. — Это еще что за безобразие? Носового платка нет, что ли? Твой нос действует мне на нервы.

— Так про губернаторов? — прищурился дед Пантелей. — Правду рассказывать?

— Не тяни, дед, — сказала бойкая Аксюшка. — Ты уже впадаешь в старческую болтливость, в маразм и испытываешь наше терпение!

— И штой-то за культурная девчоночка, — захохотал Дед. — Ну слушайте, леди и джентльменты... «Это было давно... Я не помню, когда это было — может быть, никогда», как сказал поэт. Итак, начнем с вятского губернатора Камышанского. Представьте себе, детки, вдруг однажды он издает обязательное постановление такого рода: «Виновные в печатании, хранении и распространении сочинений тенденциозного содержания подвергаются штрафу с заменой тюремным заключением до трех месяцев!»

Ванькина мать Агафья подняла от книги голову и прислушалась.

— Позволь, отец, — заметила она, — но ведь тенденциозное содержание еще не есть преступное? И Толстой был тенденциозен, и Достоевский в своем «Дневнике писателя»... Неужели же...

— Вот поди ж ты, — засмеялся дед, — и другие ему то же самое говорили, да что поделаешь: чрезвычайное положение! А ведь законник был, кандидат в министры! Ум имел государственный.

Дед помолчал, пожевывая провалившимися губами.

— А то херсонский был губернатор. Уж я и фамилию его забыл... Бантыш, што ли... Так тот однажды оштрафовал газету за телеграмму Петербургского Телеграфного Агентства из Англии с речью какого-то английского деятеля. Что смеху было!

— Путаешь ты что-то, старый, — сказал Ванька. — Петербургское Агентство ведь официальное?! Заврался наш дед.

— Ваня, — укоризненно заметила Агафья.

Дед снисходительно усмехнулся.

— Ничего... То ли еще бывало! Как вспомнишь — и смех и грех. Владивостокский губернатор закрыл корейскую газету за статью о Японии, симферопольский вице-губернатор Масальский оштрафовал «Тавричанина» за перепечатки из «Нового времени»... Такой был славный, тактичный. Он же гимназистов на улице ловил, которые фуражек ему не снимали, и арестовывал. Те, бывало, клопики маленькие, плачутся: «за что, дяденька?» «За то, что начальство не почитаете, меня на улице не узнаете!» — «Да мы с вами не знакомы!» — «А-а, не знакомы? Посидите в каталажке — будете знакомы!» Веселый был человек.

Дед опустил голову и задумался. И лицо его осветилось тихой задушевной улыбкой...

— Муратова тамбовского тоже помню... Приглашали его однажды на официальный деловой обед. «Приеду, — говорит, — только если евреев за столом не будет». «Один будет, — говорят. — Директор банка». — «Значит, я не буду!» Такой был жизнерадостный...

Телефонный звонок перебил его рассказ.

Аксюшка подскочила к телефону и затараторила:

— Алло! Кто говорит? Дядя Миняй! Отца нет. Он на собрании общества деятелей садовой культуры. Что? Какую книжку? Мопассана? «Бель-Ами»? Хорошо, спрошу у мамы. Если есть — она пришлет.

Аксюшка вернулась от телефона и припала к дедову плечу.

— Еще, дедушка, что-нибудь о губернаторах.

— Да что ж еще?..

Дед рассмеялся.

— Нравится? Как это говорится: «Недаром многих лет свидетелем Господь меня поставил»... Хе-хе... Толмачева одесского тоже хорошо помню. Благороднейший человек был, порывистый! Научнейшая натура. Когда изобрели препарат «606», он и им заинтересовался. Кто, спрашивает, изобрел? Эрлих? Жид? Да не допущу же я, говорит, делать у себя в Одессе опыты с жидовским препаратом. Да не бывать же этому! Да не опозорю же я родного мне города этим шарлатанством!! Очень отзывчивый был человек, крепкий.

Дед оживился.

— Думбадзе тоже помню! Тот был задумчивый.

— Как, дед, задумчивый?

— Задумается, задумается, а потом скажет: «Есть у нас среди солдат евреи?» — «Есть». — «Выслать их». Купальщиц высылал, которые без костюмов купались, купальщиков, которые подглядывали. И всех — по этапу, по этапу. Вкус большой к этапам имел... А раз, помню, ушел он из Ялты. Оделся в английский костюм и поехал по России... А журналу «Сатирикон» стало жаль его, что вот, мол, был человек старый при деле, а теперь без дела. Написали статью, пожалели. А он возьми и вернись в Ялту, когда журнал там получился. И что ж вы думаете, детки: стали городовые по его приказу за газетчиками бегать, «Сатириконы» отнимать, в клочья рвать. Распорядительный был человек! Стойкий...

....

И долго еще раздавался монотонный добродушный дедов голос. И долго слушали его притихшие изумленные дети.

А за окном выла упорная сельская метель, слышались звуки автомобильных сирен и однотонное гудение дуговых фонарей на большой занесенной снегом дороге...

Ежилась, мерзла и отогревалась святая Русь.

РЕДАКТОР «СОБАКИНОЙ ЖИЗНИ»

По пустынной улице города Собакина тихо брел человек. Когда он завернул за угол — ему навстречу попались двое прохожих.

Один из них взглянул на него и сказал товарищу:

— Какое симпатичное лицо. Не знаешь — кто это?

— Это редактор нашей «Собакиной жизни».

— А, это вон кто! Препротивная физиономия. Поколотить его разве, благо никого нет поблизости.

— За что?

— Он вчера в своей газетишке выругал моего тестя, базарного старосту. Эх... только рук марать не хочется!..

Зять базарного старосты обернулся назад и крикнул редактору «Собакиной жизни»:

— Эй, ты, морда! Попадешься ты мне когда-нибудь в темном уголке! Спущу я тебе шкуру.

Редактор, приостановившись, выслушал это обещание и сейчас же забыл о нем. Ему было не до того — нужно было спешить в редакцию.

В редакционной комнате сидел секретарь редакции и высчитывал что-то по пальцам. Увидев редактора, холодно протянул ему руку и ядовито усмехнулся:

— Спасибо-с, дорогой! Удружили-с.

— Что еще?

— Кто вас просил выбрасывать из моей статьи о шоссейных дорогах вторую половину?

— Опасно, милый. Вы там чуть ли не исправника касаетесь.

Секретарь встал, неторопливым движением впутал сухие пальцы в свои длинные волосы, закрыл глаза и тихо сказал:

— Будьте вы все прокляты отныне и до века с вашей трусостью, рассчетливостью, тактичностью, недомыслием,

вашими исправниками, шоссейными дорогами, со всем вашим гнусным тоскливым арсеналом лжи и угодничества! Умный человек никогда не выкинул бы второй половины «о шоссейных дорогах»!..

— Однако на прошлой неделе нас за меньшее оштрафовали на триста.

Закрыв уши и повалившись на диван, секретарь кричал нервно и громко:

— Прокляты! Будьте прокляты!

* * *

В три часа пришел неизвестный посетитель. Он спросил редактора, ввалился к нему в комнату, бросил на стоя какой-то большой тюк и прохрипел:

— Нате, получайте. Отдавайте мои деньги назад!

— Что это такое?

— Это ваша глупейшая «Собакина жизнь». С начала года. Берите вашу газету, отдайте мне мои деньги.

— У нас не принято возвращать подписчикам деньги.

— Да-а-а? — заревел посетитель. — Деньги возвращать не принято, а чепухой кормить подписчика принято? Давать хорошие свежие новости не принято, а «еще об уме слонов» — принято? Освещать жизнь и неустройство провинции не принято, преследовать и обнаруживать злоупотребления мерзавцев не принято, а «простейший способ приготовления замазки для склеивания фарфора» — это принято? И «сколько помещается бацилл в капле воды» — тоже принято? И «материалы к истории завоевания хивинского ханства» — тоже принято? Получайте вашу паршивую газету, отдавайте мои денежки! Тут двух номеров не хватает — жена варенье завязывала — черт с вами, вычтите гривенник... А остальные давайте! Слышите? Начхать мне на то, сколько слонов помещается в капле воды — слышите?.. Пожалуйте денежки-с!

* * *

Выйдя из редакции, редактор «Собакиной жизни» пошел домой обедать.

— Пришел? — встретила его жена. — Явился? Кушать хочешь — лопай вареный картофель! Больше ничего нет!!

— Неужели деньги уже вышли? — опустив голову, пробормотал редактор.

— Ах, дитя прелестное! Институточка в передничке! «Неужели вышли?» На прошлой неделе триста заплатили за «околоточного в нетрезвом виде», да 14-го двести за «что нам нужно, чтобы укрепиться на Желтом море»... Укрепился?.. Забыл? Тебе не жену иметь, а в тюрьме баланду хлебать!.. Тоже! Робеспьер выискался... Буланже!

«Аллон занфан». Туда же...

* * *

Редактор съел картофель, взял из комода чистый платочек и ушел из дому.

— Что вам угодно? — спросили его в передней губернаторского дома.

— Его превосходительство господина губернатора можно видеть? Вызывали меня.

Пошли. Справились. Оказалось — видеть можно.

— А, это вы! — сказал губернатор. — Я вызвал вас затем, чтобы сказать, что вы играете в плохую игру. Вы знаете, о чем я говорю? То-то же... Я понимаю, что означает фраза: «культурные начинания мыслимы лишь в атмосфере настоящего успокоения»! Понимаю-с. Знаете ли вы о существовании статьи 173 параграфа 17-в?

— Какой? Виноват...

— Я говорю: статьи 292 параграфа 9-б?

— Я... не знал...

— Он не знал о существовании 423 статьи параграфа 3-д!! Что же вы тогда знаете? Статья 92 параграфа 7 гласит: виновный — и так далее, подвергается — и так далее.

Редактор вынул чистый носовой платок, сел на пол и заплакал...

— Ваше превосходительство! Где-то в Италии, во Франции, в Германии ходят по улицам люди и улыбаются, и им тепло... и они смеются... и у них есть счастье... и у них есть личная жизнь... деточки радостные бегают... Ваше превосходительство! Чем же я виноват, что я не немец?

— Что за вздор?!

Редактор махнул рукой.

— Ох, не то я хотел сказать... Ну, да все равно... Позвольте мне, пожалуйста, поплакать! Я паркета не испорчу — я

в платочек. Эх, родненький!.. Поговорим, как брат с братом. Все равно уж. Ну что я вам сделал? Зачем параграф 7-д? Смотрите: ну разве я не человек? У меня есть и сердце, и легкие, и кости, как у других людей... зачем же легкие у меня гниют, сердце сжимается, а кости ноют?.. Ваше превосходительство! Возьмите мою голову, обнимите ее одной рукой, прижмите к груди и погладьте мои волосы: «бедный ты, мол, бедный... Нет у тебя ни одного луча светлого, ни одной минуточки теплой, тихой»... Смешались бы наши слезы, и выросло бы вам от этих слез на том свете райское дерево со сладчайшими яблочками!.. Или хотите так: я положу голову на паркетик, а вы каблуком по ней хряснете — и конец... Го-о-осподи! Ах, да и устал же я!..

— Зачем же мне вас каблуком, — нахмурился генерал, Я люблю литературу и уважаю ее представителей. Но все нужно в пределах закономерности, на основании тех законоположений, кои... на срок действия охраны... размером не выше трех месяцев... возбуждение одной части населения против другой... сенатское разъяснение... с заменой в случае несостоятельности.

Генерал долго говорил мягким сочувственным голосом, плавно качая в такт рукой.

А притихший редактор сидел согнувшись у его ног и глядел под письменный стол полузакрытыми спокойными глазами.

Был мертв.

ПОД СВОДОМ ЗАКОНОВ

Во-первых, этот рассказ не заключает в себе ничего такого, что принято называть «внутренней политикой». Первое его несомненное достоинство.

Во-вторых, хотя главное действующее лицо в рассказе и партийный человек — кадет, тем не менее его убеждения не имеют никакого отношения к тому, что с ним случилось. Рассказанное ниже могло произойти со всяким другим человеком. С адвокатом, профессором, живописцем — мало ли с кем. А раз подвернулся кадет — все произошло с кадетом. Таким образом, рассказ не тенденциозен. Второе его ясное, бесспорное достоинство.

В-третьих, я слишком ленив для того, чтобы самому сочинить такой прекрасный интересный рассказ. Передаю его со слов одного веселого человека, который куда-то вчера уехал. Не знаю — куда. Поэтому, если бы даже кто-нибудь и пришел в восторг от рассказа, пусть он не разыскивает автора, не шлет ему благодарственных телеграмм — это совершенно лишнее. Автора нет. Случай такой был. Это третье его несомненное, ясное даже для лиц, обделенных мозгами, достоинство.

Так-то-с.

Кадет жил на даче. Пошел он раз в лес собирать грибы и заблудился. Такая досада.

Начало уже темнеть, когда он усталый, разочарованный в жизни набрел на какое-то дерево, под которым спал человек.

Кадет деликатно дернул его за пиджак и сказал:

— Вот удача! Не можете ли, милостивый государь, указать мне дорогу из этой проклятой трущобы?

Спавший человек проснулся.

— Доро-огу? А который час?

— Да семь.

— Дай-ка мне свои часы...

— Извольте. Вы, вероятно, хотите собственными глазами убедиться в том, о чем я сейчас вам сообщаю на словах? Извольте видеть — семь часов.

Незнакомец взял часы и дернул их к себе так сильно, что цепочка лопнула.

— Осторожнее, — мягко заметил кадет. — Вы, вероятно, насколько я догадываюсь, не рассчитали движения, которое хотели сделать с целью приблизить часы к своим глазам?

— Эк тебя разворачивает... Просто взял у тебя часы — вот и все.

Кадет задумался.

— Виноват... Я не могу себе точно уяснить, каким юридическим термином можно охарактеризовать акт перехода моего имущества (в данном случае — часов) в ваше пользование? Это не есть акт дарения, потому что для такого акта требуется прежде всего наличность воли и согласие дарителя. Нельзя назвать также это и куплей-продажей, ибо

в таком случае кроме согласия владельца последний имеет также право на получение эквивалента, иными словами — стоимости запроданной вещи, выраженной в конкретных денежных знаках.

— Держи карман шире, — пробормотал незнакомец.

Кадет отвернул борт сюртука, оттопырил двумя пальцами карман и доверчиво сказал:

— Держу.

— Те-те-те... Что это у тебя там? Бумажник? А позвольте...

— Мне непонятно, — после некоторого раздумья сказал кадет, — зачем вы взяли мой бумажник с деньгами? Как и в первом случае, я не усматриваю здесь признаков дарения, а тем более купли-продажи, ибо денежные знаки, как имеющие абсолютную ценность, не могут служить продажным товаром. Если же рассматривать происшедший казус как обыкновенное взятие ценностей на хранение...

— Надоел ты мне хуже горькой редьки, — нетерпеливо сказал неизвестный. — Просто я у тебя отнял бумажник и часы! Вот и все.

Кадет изумился.

— От-ня-ли? Но... позвольте... Ведь это незакономерный насильственный акт! Таким образом выходит, что вы присвоили себе чужую собственность. Это несправедливо. Это было бы все равно, если бы я отнял вашу шапку. Вы имели бы полное право тогда заметить мне: «Во-первых, шапка эта не твоя. Я тебе ее не дарил и сам ощущал в ней нужду, как в обычной защите от зноя и непогоды». Видите, что бы вы имели право сказать, если бы я отнял у вас шапку.

— Попробуй! Я тебе дам такого леща, что на карачках полезешь.

— Леща? Простого леща? Но разве он по своей стоимости, как скоропортящийся пищевой продукт может служить компенсацией того материального ущерба, который терплю я, лишившись часов и бумажника.

— Какая там рыба, — усмехнулся незнакомец. — Просто, если ты не перестанешь ныть, я тебя трахну по затылку.

— Как?! Вы стоите на почве насилия, физической расправы — этого печального пережитка и наследия варварских времен? Закон ясно говорит, что отдельные личности не могут присваивать себе функций расправы и возмездия. Это дело суда, избира... кик!

Кадет упал на траву и внушительно сказал:

— Что вы делаете? Драться противозаконно.

— Скидавай сюртук. Суконце, кажется, добротное. Скидавай с лап сапоги.

— Я не могу дать вам своего согласия на переход упомянутых вами вещей в ваше пользование без моего на то согласия. Станьте на мое место, станьте на точку зрения простой элементарной справедливости и — вы меня поймете. Я первый согласился бы с вами, если бы вы указали мне статью Т. Х. части 1, по которой...

— Запонки золотые?

— Золотые.

— Дай-ка.

Кадет с обиженным лицом в одной рубашке сидел на траве и угрюмо говорил:

— Уверяю вас — вы неправы. Скажу больше — я усматриваю здесь наличность злой воли, выразившейся в нанесении мне побоев... И я — как это вам ни неприятно — оглашу ваш поступок в печати, чтобы мыслящая часть общества могла дать должную оценку моральной стороне ваших шагов в отношении моей личности и имущества. А юридически, уверяю вас, я не сомневаюсь, что закон будет на моей стороне.

Незнакомец, насвистывая марш, собирал и связывал в узел брюки, ботинки и сюртук. Темнело.

— Даже и с этической стороны, — говорил кадет, зевая, — и то вы не имели права... если вдуматься...

Темнело.

КОРИБУ

В мой редакторский кабинет вошел, озираючись, бледный молодой человек. Он остановился у дверей и, дрожа всем телом, стал всматриваться в меня.

— Вы редактор?

— Редактор.

— Ей-Богу?

— Честное слово!

Он замолчал, пугливо посматривая на меня.

— Что вам угодно?

— Кроме шуток — вы редактор?

— Уверяю вас! Вы хотели что-нибудь сообщить мне? Или принесли рукопись?

— Не губите меня, — сказал молодой человек. — Если вы сболтнете — я пропал!

Он порылся в кармане, достал какую-то бумажку, бросил ее на мой стол и сделал быстрое движение к дверям с явной целью — бежать.

Я схватил его за руку, оттолкнул от дверей, оттащил к углу, повернул в дверях ключ и сурово сказал:

— Э, нет, голубчик! Не уйдешь... Мало ли какую бумажку мог ты бросить на мой сгол!..

Молодой человек упал на диван и залился горючими слезами.

Я развернул брошенную на стол бумажку.

Вот какое странное произведение было на ней написано:

«Африканские неурядицы

Указания благомыслящих людей на то, что на западном берегу Конго не все спокойно и что туземные князьки позволяют себе злоупотребления властью и насилие над своими подданными, — все это имеет под собой реальную почву. Недавно в округе Дилибом (селение Хухры-Мухры) имел место следующий случай, показывающий, как далеки опаленные солнцем сыновья далекого Конго от понятий европейской закономерности и порядка...

Вождь племени бери-бери Корибу, заседая в совете государственных деятелей, получил известие, что его приближенный воин Музаки не был допущен в корраль, где веселились подданные Корибу. Не разобрав дела, князек Корибу разлетелся в корраль, разнес всех присутствующих в коррале, а корраль закрыл, заклеив его двери липким соком алоэ. После оказалось, что виноват был его приближенный воин, но, в сущности, дело не в этом! А дело в том, что до каких же пор несчастные, сожженные солнцем туземцы будут терпеть безграничное самовластие и безудержную вакханалию произвола какого-то князька Корибу?! Вот на что следовало бы обратить Норвегии серьезное внимание!»

Прочтя эту заметку, я пожал плечами и строго обратился к обессилевшему от слез молодому человеку, который все еще лежал на моем диване:

— Вы хотите, чтобы мы это напечатали?

— Да... — робко кивнул он головой.

— Никогда мы не напечатаем подобного вздора! Кому из читателей нашего журнала интересны какие-то обитатели Конго, коррали, сок алоэ и князьки Корибу. Подумаешь, как это важно для нас, русских!

Он встал с дивана, взял меня за руки, приблизил свое лицо к моему и пронзительным шепотом сказал:

— Так я вам признаюсь! Это написано об одесском Толмачеве и о закрытии им благородного собрания.

— Какой вздор и какая нелепость, — возмутился я. — К чему вы тогда ломались, переносили дело в какое-то Конго, мазали двери глупейшим соком алоэ, когда так было просто — описать одесский случай и прямо рассказать о поведении Толмачева! И потом вы тут нагородили того, чего и не было... Откуда вы взяли, что Толмачев был в каком-то «совете государственных деятелей»? Просто он приехал в три часа ночи из кафешантана и закрыл благородное собрание, продержав под арестом полковника, которого по закону арестовывать не имел права. При чем здесь «совет государственных деятелей»?

— Я думал, так безопаснее...

— А что такое за дикая, дурного тона выдумка: заклеил двери липким соком алоэ? Почему не просто — наложил печати?

— А вдруг бы догадались, что это о Толмачеве? — прищурился молодой человек.

— Вы меня извините, — сказал я. — Но тут у вас есть еще одно место — самое чудовищное по ненужности и вздорности.» Вот это: «Следовало бы Норвегии обратить на это серьезное внимание»? Положа руку на сердце: при чем тут Норвегия?

Молодой человек положил руку на сердце и простодушно сказал:

— А вдруг бы все-таки догадались, что это о Толмачеве? Влетело бы тогда нам по первое число. А так — ну-ка, пусть догадаются! Ха-ха!

На мои глаза навернулись слезы.

— Бедные мы с вами... — прошептал я и заплакал, нежно обняв хитрого молодого человека. И он обнял меня.

И так долго мы с ним плакали.

И вошли наши сотрудники и, узнав в чем дело, сказали:

— Бедный редактор! Бедный автор! Бедные мы!

И тоже плакали над своей горькой участью.

И артельщик пришел, и кассир, и мальчик, обязанности которого заключались в зализывании конвертов для заклейки, — и даже этот мальчик не мог вынести вида нашей обнявшейся группы и, открыв слипшийся рот, раздирательно заплакал...

И так плакали мы все.

* * *

Эй, депутаты, чтоб вас!.. Да когда же вы сжалитесь над нами? Над теми, которые плачут...

ПРОВЕРОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
(*Схема*)

Все уселись за экзаменационный стол. Ждали. Удивлялись:

— Почему это нет мальчиков? Кажется, уже пора, а никто не показывается!.. Эй, сторож! Не знаешь ли, братец, почему это не идут мальчики экзаменоваться?

— Они боятся, — заявлял старый сторож. — Они запрятались. Кто где.

— Чего же им бояться? Вот чудаки. Эй, сторож! Пойди, пошарь по углам — нет ли где мальчиков? Вытащи и давай сюда.

Сторож, ворча под нос, вышел и через пять минут привел пятерых мальчиков..

— А, голубчики! — обрадовались экзаменаторы. — Вас-то нам и надо. А подойдите-ка сюда, подойдите. Хе-хе... А где же остальные? Почему нет, например, Артамонова Семена?

Один из учеников выступил вперед и заявил:

— Он побежал.

— По-бе-жа-ал?!

— Да-с. Побежал. В Центральную Африку.

— Как же он побежал?

— Как обыкновенно путешественники. Захватил шестьдесят копеек, ножницы, ручку от граммофона и побежал.

— Что же он говорил вообще?

— Да ничего. Прощайте, говорит, товарищи. Вы себе тут экзаменуйтесь, а я поеду. Пришлю вам по бизону.

— Вот чудак. А Малявкин Иван? Он почему не пришел?

— Его никак не могут вытащить.

— Как не могут? Экий лентяй! Родители на что же?

— Родители тоже ищут.

— Как ищут? Ты, милый, говоришь вздор. То говоришь, что его не могут вытащить, то, что его ищут? Где ищут?!

— Да в воде же. Второй день. Никак не могут найти и вытащить.

— Купался?

— Нет, так.

— Хорошо-с. Ну, а Синицин, Илья?

— Тоже не пришел. Он не может.

— Почему?

— Лежит. Выпимши.

— Нельзя сказать — «выпимши». Это неправильная форма. Что ж он, пьян?

— Нет, не пьян. А так. Вообще.

— Недоумеваю. Чего ж он «выпимши»?

— Эссенции. Взял еще у меня взаймы гривенник. Пропал теперь мой гривенничек!

— Не хнычь, пожалуйста! Все вы скверные шалуны. Небось, ты к экзамену ничего не приготовил?

Взор разговорчивого ученика померк. Горло перехватило.

— Нет. Приготовил...

— А-а... хорошо-с! Подойди ближе. А скажи-ка ты нам, дорогой мой... в котором году было положено основание династии карловингов?

Ученик проглотил обильную слюну и обвел глазами комнату...

— Каких карловингов?

— Ну, каких?! Будто не знаешь — каких. Обыкновенных. Ну?

— В этом... в тысячу восемьсот...

— Господа! — сказал экзаменатор, с отвращением глядя на ученика. — Сей муж не знает об основании династии карловингов!.. Как это вам понравится?

— Да, да... — покачал головой старичок со звездой. — Хороши они, все хороши! Сегодня о карловингах не знает, завтра пошел — мать зарезал...

— Да-с, ваше превосходительство... золотые слова изволили сказать! Завтра — мать, послезавтра — отца, там опять — мать, и так до бесконечности — по торной дорожке! Садись на свое место, Каплюхин. Вызовем еще кого-нибудь... Малявкин Иван!

— Его еще не вытащили! —раздался робкий голос с задней скамейки.

— Ах, да. Ну, этот... как его... Петерсон! Иди, иди сюда, голубчик... Что ты знаешь о короле Косинусе X?

Глаза Петерсона засверкали мужеством отчаяния. Он махнул рукой и затрещал:

— Король Косинус был королем. Подданные очень любили его за то, что он вел разорительные войны. Он жил в палатке, питался конским мясом и был настоящим спартанцем. Спартанцами называлось племя, жившее на плоскогориях и бросавшее в воду своих детей, которые никуда не годились. Спартанцы вели спартанский обр...

— Нет, постой, постой, — улыбнулся учитель. — Ты о Косинусе что-нибудь расскажи! С какого по какой год он царствовал?

— С 425 года по 974-й!

Учитель засмеялся.

— Дурак ты, Петерсон. Во-первых, я Косинуса нарочно выдумал, чтоб тебя поймать — такого короля и не было, — во-вторых, ты хотел обманным образом переехать на спартанцев, которых ты, вероятно, вызубрил, а в-третьих, у тебя короли живут по пятьсот лет. Садись, брат! В будущем году увидимся на том же месте! Пряников Гавриил? Где Пряников Гавриил? Он же тут был?!

— Под парту залез!

— Зачем же он залез? Спрятаться думает? Тащите его оттуда!

Стали тащить Пряникова. Он уцепился руками и ногами за ножки парты, защемил зубами перекладину и, озираясь на тащивших его людей, молчал.

— Вылезай, Пряников Гавриил! Сторож, попробуй выковырять его оттуда. Не лезет? Ему же хуже! Игнат Печкин! Здесь? Подойди. Это, ваше превосходительство, наша гордость... Первый ученик... Печкин! В котором году умер Гелиагабал? Как? Верно, молодец. Чей был сын Фридрих Барбаросса? Так. Только ровнее стой, Печкин! Какой образ

жизни вел Людовик V? Так, так. Молодец. Не сгибайся только, Печкин! Стой ровнее. Что скажешь нам о семилетней войне?.. Так. Ловко вызубрил! Не надо раскачиваться, Печкин! А ну, зажарь нам что-нибудь, Печкин, о финикиянах. Не ложись на стол! Как ты смеешь ложиться животом на экзаменационный стол? А еще первый ученик! Хочешь, чтобы в поведении сбавили?! Что? Не дышит? Как не дышит? Где доктор? Здесь? Что такое с Печкиным, господин доктор? Умер? Переутомление? Эй, сторож! Карета «скорой помощи» есть?

— Так точно. С утра стоит. Как приказывали.

— Тащи его! Экая жалость! Единственный, которым могли похвастать, который все так отличнейше знал — и вдруг... Бери его за ноги! Петерсон! Ты что это там глотаешь? На экзаменах нельзя есть! Что? Порошки? Какие порошки? Ты не падай, когда с тобой учитель говорит! Зачем падаешь! Ты... что сделал?! Как ты смеешь? Тебе экзамены для чего устроены? Чтоб порошки глотать? Захвати и его, сторож. Каплюхин!! Стрелять в классе из револьвера не разрешается... Что? В себя? Мало ли, что в себя... и в себя нельзя стрелять... Стыдно. Бери и этого, сторож. Ну, кто там еще? Пряников Гавриил остался? Вылезай из-под парты, Пряников. Не хочешь? Ну, скажи оттуда: в котором году было основание ганзейского союза. Молчишь? Не хочешь? Ну и сиди там, как дурак... Ваше превосходительство! Имею честь доложить, что проверочные испытания закончены!

СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ

Съел Октябрист за ужином целого поросенка, кусок осетрины с хреном и лег спать...

Но Октябристу не спалось. Вспомнилась почему-то его нелепая, бессмысленная жизнь, вся та мелкая ненужная ложь, которая сопутствовала ему с детства и которая в конце концов довела его до последней степени падения — до октябризма, и когда вспомнилось все это — Октябрист чуть не расплакался.

Напало на Октябриста такое жгучее раскаяние, что он не мог уснуть, ворочаясь сто раз с боку на бок...

Вот тут-то и пришел мужик. Черный, худой, весь в земле... Взял Октябриста мозолистой рукой за ухо, сказал:

— Пойдем, паршивец!

И потащил перепуганного Октябриста за собой.

Очутившись в деревне, Октябрист первым долгом решил помочь мужикам в их горькой нужде. Для этого ои отыскал нескольких оборванных мужиков и вступил с ними в разговор...

— А что, ребята, мяту вы пробовали сеять? — спросил Октябрист.

— Где нам!

— Вот то-то и оно. Нужно, чтобы культура и знание пришли на помощь деревенской темноте и тому подобное. Сейте мяту!

Октябрист порылся в кармане, нашел коробку мятных лепешек, которые он ел после пьянства, и отдал мужикам на семя.

— Вот вам! Сейте, как сказал поэт, разумную, добрую, вечную мяту!!

Посеяли мужики мятные лепешки. Год в то время был урожайный, и поэтому мята разрослась пышными, большими кустами, покрытыми сплошь коробочками с лепешками.

Октябрист не почил на лаврах.

— Чем бы еще выручить этих бедняг?

Разговорился.

— Гигроскопическую вату сеяли?

Мужики горько улыбнулись.

— Где нам! Прямо будем говорить — беспонятные мы.

Октябрист, вздохнув, вынул из своих ушей вату, отдал ее мужикам и приказал:

— Сейте вату! Сейте... спасибо вам скажет сердечное русский народ! Полушубки будете ватные делать! Жены и дочери бюсты из ваты такие сделают, что пальчики оближете.

Вата разрослась еще лучше, чем мята.

Потом табак сеяли. Все, что было у Октябриста в портсигаре, все он пожертвовал мужикам на посев. Пуговицы

сеяли. Хотя Октябрист после этой жертвы ходил, придерживая брюки руками, но зато на сердце его было светло и радостно.

Был у Октябриста зонтик. Очень жаль было ему расставаться с зонтиком, но долг — прежде всего.

— Посейте зонтики! — сказал Октябрист, отдавая свой зонтик на семя. — Уйдите от ликующих, праздно болтающих. Труд — это благодеяние. Сейте зонтики!

— Землицы больше нетути, — признались мужики. — Последнюю пуговицами засеяли. Нет землицы.

Октябрист поморщился.

— Ну вот, — уже сейчас и революция!.. Сколько у вас, у каждого, земли?

— По две десятины.

Стал думать Октябрист, искренно желая и в этом помочь мужикам.

— Вы говорите, по две десятины? Это сколько же пудов земли будет?

Мужики объяснили, как могли, что земля меряется не пудами, а поверхностью.

— Да что вы! А, знаете... это остроумно! Вот что значит простая мужицкая сметка. Додумались! А сколько в десятине сажен?

— 2400.

— Ого! Это, значит, около пяти верст. У каждого мужика, считая по 2 десятины, десять верст, значит, одной земли! Неужели этого мало?

Октябрист возмутился.

— Стыдитесь! Вы, верно, пьянствуете, а не работаете!..

Сконфуженные мужики оправдывались, как могли.

— Ага! Значит, так нельзя считать? Ну ладно. Я подумаю... сделаю, что могу.

И придумал Октябрист гениальный выход.

— Шестнадцати десятин каждому довольно?

— За глаза, ваша честь!

— Великолепно! Отныне вы должны считать десятиною не 2400, а 300 квадратных сажень. Таким образом, у каждого будет по 16 десятин.

Мужики в ноги повалились.

— Благодетель!!

Проведя аграрную реформу, Октябрист вздохнул свободно.

Мужики благоденствовали.

Из окна своего дома Октябрист часто со слезами на глазах любовался на группы чистеньких поселян в ватных тулупах, застегнутых на прекрасные пуговицы, и поселянок с пышными, бюстами, гуляющих об руку с мужьями под развесистыми, тенистыми зонтиками... Мужчины курили папиросы (в этом году уродились на огородах «Сенаторские»), а дамы кушали мятные лепешки и приятно улыбались друг другу.

— Сейте разумное, доброе, вечное... — смахивал слезу Октябрист.

Во время сна у Октябриста из открытого рта текла слюна и физиономия расплылась в блаженную улыбку.

— Вставай, лысый дурак! — разбудила его жена.

Октябрист подобрал слюну, оделся, застегнулся на все пуговицы, заложил ватой уши, взял папиросы, коробку мятных лепешек и, раскрыв дождевой зонтик, отправился гулять.

МУДРЫЙ СУДЬЯ

— Человек! — сказал Вывихов. — Что у вас есть здесь такое, чтобы можно было съесть?

— Пожалуйте. Вот карточка.

— Ага! Это у вас такая карточка? Любопытно, любопытно. Для чего же она?

— Да помилуйте-с! Кто какое блюдо хочет съесть — он тут найдет и закажет.

— Прекрасно! Предусмотрительно! Колоссальное удобство! Это вот что такое? Гм!.. Крестьянский суп?

— Да-с.

— Неужели крестьянский суп?

— А как же. У нас всякие такие блюда есть. Уж что гость выберет — то мы и подадим.

— Суп? Крестьянский суп? Настоящий?

— Как же-с. Повар готовит. Они знают-с.

Вывихов обратился к старику, сидевшему за другим столиком.

— Вот-с... Мы, русские, совершенно не знаем России. Вы думаете, ее кто-нибудь изучает? Как же! Дожидайтесь. Наверно, кто-нибудь, если и увидит в карточке «крестьянский суп», сейчас же закрутит носом. «Фуй, — скажет, — я ем только деликатные блюда, а такой неделикатности и в рот не возьму». А что ест полтораста миллионов русского народа — то ему и неинтересно. Он, видите ли, разные котлеты-матлеты кушает. А вот же, черт возьми, я требую себе крестьянский суп! Посмотрим, что наша серая святая скотннка кушает. Человек! Одну миску крестьянского супа!

* * *

— Это что т-такое?
— Суп-с.
— Суп? Какой?
— Крестьянский.
— Да? А это что такое?
— Говядина-с.
— А это?
— Картофель, капуста, лавровый лист для запаху.
— И это крестьянский суп?
— Так точно-с.
— Тот суп, что едят крестьяне?

Лакей вытер салфеткой потный лоб и, с беспокойством озираясь, сказал:

— Я вам лучше метрдотеля позову.

— Позови мне черта печеного! Пусть он мне объяснит, кто из вас жулик.

— Виноват... — сказал пришедший на шум метрдотель. — Муха?

— Что такое — муха?

— Они теперь, знаете, по летнему времени... того...

— Нет-с, не муха! Это что за кушанье?

— Крестьянский суп. Обыкновенный-с.

— Да? А что, если я сейчас трахну вас этой тарелкой по голове и стану уверять, что это обыкновенный крестьянский поцелуй.

— Помилуйте... То — кушанье, а то — драка.

— Ах вы мошенники!!

— Попрошу вас, господин, не выражаться.

— Не выражаться? К вам ежедневно ходит тысяча человек, и, если все они попробуют ваш крестьянский суп, — что они скажут? Что в России все обстоит благополучно, никаких недородов нет и крестьяне благоденствуют... Да? Попросите полицию. Протокол! Я вам покажу... Ты у меня в тюрьме насидишься!

* * *

— Помилуйте, господин судья, пришли тихо, смирно, а потом раскричались. Суп, видишь ты, им слишком хорош показался!

— То есть плох!

— Нет-с, хорош! «Почему, — говорит, — мясо да капуста, крестьяне, — говорит, — так не едят». —

— В самом деле, почему вы подняли историю?

— Обман публики, помилуйте! Крестьянский суп? Хорошо-с. А ну-ка дайте мне оный, хочу этнографию и крестьянский быт изучать. «Извольте-с!» Что т-такое? Да они еще туда для вкусу одеколона налили!

— Помиритесь!

— Чего-с? Не желаю!

— А чего же вы желаете?

— Я желаю, господин мировой судья, чтобы вся Россия знала, какой-такой крестьянский суп Россия ест!

— Прошу встать! По указу и так далее — мещанин Вывихов за скандал в публичном месте и за оскорбление словами метрдотеля ресторана «Петербург» приговаривается к трехдневному аресту. А вы... послушайте... Вы больше этого блюда не указывайте в вашем меню.

— Да почему, господин судья?

— Потому что крестьяне такого супа не едят.

— А какой же суп они едят?

— Никакой.

— А что же они едят в таком случае?

— Что?.. Ничего!

ГРОЗНОЕ МЕСТОИМЕНИЕ

Экс-министр торговли и промышленности Тимирязев объяснил стрельбу в рабочих на Ленских приисках тем, что рабочие предъявили политические требования, — например, чтобы их называли на «вы».

Сумерки окутали все углы фешенебельной квартиры его пр-ва.

Его пр-во — бывший глава министерства — со скучающим видом бродило из одной комнаты в другую, не зная, что с собой делать, куда себя девать.

Наконец счастье улыбнулось ему: в маленькой гостиной за пианино сидела молоденькая гувернантка детей его пр-ва и лениво разбирала какие-то ноты...

— А-а, — сказало, подмигнув, его пр-во. — Вот ты где, славный мышонок! Когда же ты придешь ко мне, а?

Гувернантка неожиданно вскочила и крикнула:

— Это что такое?! Как вы смеете говорить мне «ты»?!

Его пр-во было так изумлено, что даже закачалось.

— Ты? На... ты? А как же тебя еще называть?

— Это безобразие! Прежде всего, прошу называть меня на «вы»!..

Его пр-во побледнело как мертвец и крикнуло:

— Караул! Режут! Спасите, люди! Сюда!

В комнату вбежали жена, слуги.

— В чем дело? Что случилось?

С ужасом на лице его пр-во указало пальцем на гувернантку и прохрипело:

— Революционерка!.. Забастовка. Предъявила политическое требование и забастовала.

— Что за вздор? Какое требование?

— Говорит: называйте меня на «вы»!

* * *

С этого началось...

Его пр-во оделось для прогулки и позвонило слугу.

— Что прикажете?

— Тыезд мой готов?

— Чего-с?

— Тыезд, говорю, готов?

— Ты... езд?!

— Вот осел-то! Не буду же я говорить тебе выезд! Ступай, узнай.

— Так точно-с. Тыезд готов.

Его пр-во побагровело.

— Как ты смеешь, негодяй?! Я тебе могу говорить тыезд, но ты должен мне говорить — выезд! Понял? Теперь скажи — какова погодка?

— Хорошая-с, ваше пр-во.

— Солнце еще тысоко?

— Так точно-с, высоко.

— Ну, то-то. Можешь идти.

Спускаясь по лестнице, его пр-во увидело швейцара и заметило ему:

— Почему нос красный? Тыпиваешь, каналья.

— Никак нет.

— То-то. А то я могу тыбрать другого швейцара, не пьяницу. А зачем на лестницу нотый ковер разостлал?

— Это новый-с...

— Я и говорю — нотый. Если не снимешь — завтра же тыгоню.

Потом, усевшись в экипаж, его нр-во завело разговор с кучером.

— Шапка у тебя, брат, потертая. Придется шить новую.

— Так точно.

— Я думаю, тыдра на шапку хорошо будет?

— А не знаю, ваше пр-во. Такого я меха и не слышал.

— Как не слышал? Обыкновенный мех.

— Не знаем. Выдра действительно есть.

— Вот дерево-то, — пожало плечами его пр-во. — Для тебя, может быть, выдра, а для меня тыдра.

— Оно можно бы и выдру поставить.

— Если не найдем тыдры — можно и тыхухоль... А?

Кучер вздохнул и покорно согласился:

— Можно и тыхухоль.

— Дурак, какой он для тебя тыхухоль. Разговаривать не умеешь?!

* * *

Прогуливаясь по стрелке и греясь на солнышке, его пр-во думало:

«Скоро тыборы в Думу. Кого-то они тыберут? Во что тыльется народная воля?.. Уты, прежние времена прошли, — когда можно было тыдрать мужика и тыбить у него из головы эту самую «народную волю».

Увлеченное этими невеселыми мыслями, его пр-во не заметило, как толкнуло какого-то прохожего и наступило ему на ногу.

— Ой! Послушайте, нельзя ли поосторожнее...

— Извини, голубчик, — сказало его пр-во. — Я не заметил твоей ноги..

— Прошу вас, — раздражительно воскликнул незнакомец, — называть меня на «вы»!

— Ш-што-с? Предъявление требований?! Политических?! Забастовка? Баррикады?

Его пр-во выхватило револьвер и скомандовало:

— Пли!

Потом, сжалившись над упавшим от ужаса незнакомцем, его пр-во наклонилось над ним и сказало:

— Вот видишь ли, голубчик, ты мне, конечно, должен говорить «вы», но я могу говорить тебе «ты»...

— Почему?

— Потому что я по чину старше.

И тогда, поднявшись на локте, крикнул незнакомец с деланным восхищением:

— Здорово сказано! Умнейшая голова! Настоящая выква!

ВИКТОР ПОЛИКАРПОВИЧ

В один город приехала ревизия... Главный ревизор был суровый, прямолинейный, справедливый человек с громким, властным голосом и решительными поступками, приводившими в трепет всех окружающих.

Главный ревизор начал ревизию так: подошел к столу, заваленному документами и книгами, нагнулся каменным, бесстрастным, как сама судьба, лицом к какой-то бумажке, лежавшей сверху, и лязгнул отрывистым, как стук гильотинного ножа, голосом:

— Приступим-с.

Содержание первой бумажки заключалось в том, что обыватели города жаловались на городового Дымбу, взыскавшего с них незаконно и неправильно триста рублей «портового сбора на предмет морского улучшения».

— Во-первых, — заявляли обыватели, — никакого моря у нас нет... Ближайшее море за шестьсот верст через две губернии, и никакого нам улучшения не нужно; во-вторых, никакой бумаги на это взыскание упомянутый Дымба не предъявил, а когда у него потребовали документы — показал кулак, что, как известно по городовому положению, не может служить документом на право взыскания городских повинностей, и, в-третьих, вместо расписки в получении означенной суммы он, Дымба, оставил окурок папиросы, который при сем прилагается.

Главный ревизор потер руки и сладострастно засмеялся. Говорят, при каждом человеке состоит ангел, который его охраняет. Когда ревизор так засмеялся, ангел городового Дымбы заплакал.

— Позвать Дымбу! — распорядился ревизор.

Позвали Дымбу.

— Здравия желаю, ваше превосходительство!

— Ты не кричи, брат, так, — зловеще остановил его ревизор. — Кричать после будешь. Взятки брал?

— Никак нет.

— А морской сбор?

— Который морской, то взыскивал по приказанию начальства. Сполнял, ваше-ство, службу. Их высокородие приказывали.

Ревизор потер руки профессиональным жестом ревизующего сенатора и залился тихим смешком.

— Превосходно... Попросите-ка сюда его высокородие. Никаноров, напишите бумагу об аресте городового Дымбы как соучастника.

Городового увели.

Когда его уводили, явился и его высокородие... Теперь уже заливались слезами два ангела: городового и его высокородия.

— Из... зволили звать?

— Ох, изволил. Как фамилия? Пальцын? А скажите, господин Пальцын, что это такое триста рублей морского сбора? Ась?

— По распоряжению Павла Захарыча, — приободрившись, отвечал Пальцын. — Они приказали.

— А-а. — И с головокружительной быстротой замелькали трущиеся одна об другую ревизоровы руки. — Прекрасно-с. Дельце-то начинает разгораться. Узелок увеличивается, вспухает... Хе-хе. Никифоров! Этому — бумагу об аресте, а Павла Захарыча сюда ко мне... Живо!

Пришел и Павел Захарыч.

Ангел его плакал так жалобно и потрясающе, что мог тронуть даже хладнокровного ревизорова ангела.

— Павел Захарович? Здравствуйте, здравствуйте... Не объясните ли вы нам, Павел Захарович, что это такое «портовый сбор на предмет морского улучшения»?

— Гм... Это взыскание-с.

— Знаю, что взыскание. Но — какое?

— Это-с... во исполнение распоряжения его превосходительства.

— А-а-а... Вот как? Никифоров! Бумагу! Взять! Попросить его превосходительство!

Ангел его превосходительства плакал солидно, с таким видом, что нельзя было со стороны разобрать: плачет он или снисходительно улыбается.

— Позвольте предложить вам стул... Садитесь, ваше превосходительство.

— Успею. Зачем это я вам понадобился?

— Справочка одна. Не знаете ли вы, как это понимать: взыскание морского сбора в здешнем городе?

— Как понимать? Очень просто.

— Да ведь моря-то тут нет!

— Неужели? Гм... А ведь в самом деле, кажется, нет. Действительно нет.

— Так как же так — «морской сбор»? Почему без расписок, документов?

— А?

— Я спрашиваю — почему «морской сбор»?!

— Не кричите. Я не глухой.

Помолчали. Ангел его превосходительства притих и смотрел на все происходящее широко открытыми глазами. выжидательно и спокойно.

— Ну?

— Что «ну»?

— Какое море вы улучшали на эти триста рублей?
— Никакого моря не улучшали. Это так говорится — «море».
— Ага. А деньги-то куда делись?
— На секретные расходы пошли.
— На какие именно?
— Вот чудак человек! Да как же я скажу, если они секретные!
— Так-с...
Ревизор часто-часто потер руки одна о другую.
— Так-с. В таком случае, ваше превосходительство, вы меня извините... обязанности службы... я принужден буду вас, как это говорится: арестовать. Никифоров!
Его превосходительство обидчиво усмехнулся.
— Очень странно: проект морского сбора разрабатывало нас двое, а арестовывают меня одного.
Руки ревизора замелькали, как две юрких белых мыши.
— Ага! Так, так... Вместе разрабатывали?! С кем?
Его превосходительство улыбнулся.
— С одним человеком. Не здешний. Питерский, чиновник.
— Да-а? Кто же этот человечек?
Его превосходительство помолчал и потом внятно сказал, прищурившись в потолок:
— Виктор Поликарпович.
Была тишина. Семь минут.
Нахмурив брови, ревизор разглядывал с пытливостью и интересом свои руки...
И нарушил молчание:
— Так, так... А какие были деньги получены: золотом или бумажками?
— Бумажками.
— Ну, раз бумажками — тогда ничего. Извиняюсь за беспокойство, ваше превосходительство. Гм... гм...
Ангел его превосходительства усмехнулся ласково-ласково.
— Могу идти?
Ревизор вздохнул:
— Что ж делать... Можете идти.
Потом свернул в трубку жалобу на Дымбу и, приставив ее к глазу, посмотрел на стол с документами.
Подошел Никифоров.
— Как с арестованными быть?

— Отпустите всех... Впрочем, нет! Городового Дымбу на семь суток ареста за курение при исполнении служебных обязанностей. Пусть не курит... Кан-налья!

И все ангелы засмеялись, кроме Дымбиного.

ПРОСТОЙ СЧЕТ

— Ради Бога! — умоляюще сказал старый, седой как лунь, октябрист. — Вы не очень на него кричите... Все-таки он член Государственного совета. Сосчитаться с ними, как мы проектируем, — это, конечно, хорошо... Но не надо все-таки слишком опрокидываться на беднягу. Можно и пробрать его, но как? Корректно!

— Будьте покойны, — пообещал молодой скромный октябрист, выбранный посланником. — Я не позволю себе забыться. Сосчитаюсь — и сейчас же назад!

— Ну, с Богом.

Молодой октябрист сел на извозчика и поехал к влиятельному члену Государственного совета *считаться.*

* * *

Пробыл он у члена Государственного совета, действительно, недолго.

Через пять минут вышел на крыльцо и тут же столкнулся с товарищем по фракции, который, горя нетерпением, прибежал, чтобы пораньше узнать результаты...

— Ну, что? — спросил товарищ. — Сосчитался?

— Кажется...

— А ты... разве... не уверен?

— Нет, я почти уверен, но он какой-то странный...

— Они все странные какие-то.

— Да... Представь себе, вхожу я в кабинет и начинаю речь, как и было условлено. А он... послушал немного, поднялся с кресла, отвел в сторону правую руку, быстро-быстро приблизил ее к моему лицу и коснулся ладонью — щеки. Потом говорит: «А теперь ступайте!» Я и ушел. Что бы это значило?

Товарищ сел на ступеньки подъезда и призадумался.

— Действительно, странно... Что бы это могло значить? Ты говоришь: отвел в сторону правую руку, быстро-быстро приблизил ее к твоему лицу и коснулся щеки? Долго он держал руку около твоей щеки?

— Нет, сейчас же взял ее и спрятал в карман.

— Ничего не понимаю... Может, он заметил, что тебе было жарко, и обмахнул лицо?

— Нет! В том-то и штука, что мне не было жарко. Щека сделалась розовая не сначала, а потом.

— Непостижимо. Пойдем к другим товарищам — спросим.

* * *

Седой октябрист переспросил:

— Как, вы говорите, он сделал?

— Да так, — в десятый раз начал объяснять недоумевающий посланник. — Сначала встал, потом отвел в сторону правую руку, быстро-быстро-быстро приблизил ее к моему лицу и коснулся ладонью щеки.

— Поразительно! Что он хотел, спрашивается, этим сказать? Гм... Может быть, у вас на щеке сидела муха, а он из вежливости отогнал ее?..

— Скажете тоже! Какие же зимой бывают мухи?..

— Ну, тогда уж я и не знаю — в чем тут дело.

Третий октябрист, стоявший подле, сказал:

— А может быть, он просто хотел попросить у вас папироску?

— Тоже хватили! Зачем же ему трогать мою щеку? Ведь не за щекой у меня лежат папиросы. Нет, тут не то...

— Не хотел ли он попрощаться?

— Как же это так? Кто будет за щеку прощаться?.. Прощаются за руку.

— Убейте меня, ничего не понимаю...

— Как вы, говорите, он сделал?

Посланник вздохнул и терпеливо начал:

— Так: встал, отвел в сторону правую руку, быстро-быстро-быстро приблизил ее к моему лицу и коснулся ладонью щеки.

— Да, странно... А вы вот что: спросите какого-нибудь из правых; они эти штуки знают.

* * *

Когда правый пришел, все обступили его и засыпали вопросами...

— Обождите! Не кричите все зараз. Как он сделал?

— Так: встал, отвел в сторону правую руку, быстро-быстро-быстро приблизил ее к моему лицу и коснулся ладонью щеки.

— А, как же! Знаю! Еще бы...

— Что ж это? Ну? Что?

— Это пощечина. Обыкновенная оплеуха!

— Не-у-же-ли?!

Все были потрясены. Но подошел седой октябрист и внушительно спросил:

— Вы почувствовали боль в щеке после его прикосновения?

— Ого! Еще какую.

— А он... как вы думаете? Чувствовал в руке боль?

— Я думаю!

— Ну и слава Богу! — облегченно вздохнул опытный старик. — Вы чувствовали боль, он чувствовал боль. Значит — сосчитались!!

КУСТАРНЫЙ И МАШИННЫЙ ПРОМЫСЕЛ

То сей, то оный набок гнется...

Сидя на скамейке Летнего сада, под развесистым деревом, я лениво рассматривал «Новое время».

Низенькая полная женщина в красной шляпе и широких золотых браслетах на красных руках присела возле меня, заглянула через мое плечо в газету и после некоторого молчания заметила:

— Чи охота вам читать такую гадкую газету?

Я удивленно взглянул на свою соседку.

— Вам эта газета не нравится?

— Да, не нравится ж.

— Вот как! Вы, вероятно, недовольны той манерой угодничества и пресмыкания перед сильными, которая создала этой газете такую печальную извест...

— Ну — создала она, чи не создала — это меня не касается. То уж ихнее дело.

— А чем же вы недовольны? Может быть, меньшиковским нудным жидоедством, которое из номера в номер...

— Я вам, господин, не о том говорю, что там нудное или не нудное, а что гадости делать — это они мастера! Уж такие мастера, что даже им вдивляешься. Ах, господин!..

Она поставила зонтик на землю, сжала его массивными коленями и освободила таким образом руки — исключительно для того, чтобы всплеснуть ими. Очевидно, у моей словоохотливой соседки что-то чрезвычайно накипело в сердце, и она жаждала излиться.

— Прямо-таки скажу вам — ну, мое дело бабье, значит, я понимаю в этом, ну, мне, как говорится, и книгу в руку. Так вы думаете, что? Они тоже воображают, что понимают, и уже они готовы мне дорогу перейтить!

— В чем же дело? — удивился я.

— Это даже, я вам скажу, и не дело, а так себе, занятие. Ну, один там, скажем, торгует булками, другой имеет шляпочный магазин или шлепает картины, тот банкир, этот манкир, а я тоже — должна жить или не должна? Ой-ёёй! Раньше все было гладко, как какое-нибудь зеркало. Все мои четыре девицы, которые снимали у меня квартиру, держали себя ниже воды, тише травы! «Тебе что нужно?» — «Ах, мамаша, мне нужно то-то. Или мне нужно то-то». Враг я им? Нате вам то-то. Нате вам то-то! Они были до мене ласковые, я до их. А теперь они такие хамки сделались, такие настырные, что я даже у нас, в Харькове, таких не видела. Слова ей не скажи, унушения ей не сделай. Себя не соблюдають, меня не соблюдають, посетителя не соблюдають. «Манька, причешись! Что ты ходишь растрепанная, как какая-нибудь Офелия! Что за страм!» Так вы знаете, что она мне теперь гаворит? «Отвяжись, толстая самка», — она мне гаворит! Да я бы из нее, шибенницы, в прежнее время мочалы на целый гарнитур надрала, а теперь — попробуй-ка пальцем тронуть...

Она умолкла, рисуя зонтиком на песке какое-то слово. Я спросил.

— А что же будет, если тронуть?

— Попробуй-ка. Пальцем не тронь, слова не скажи. Сейчас же: «Ах, этак-то? Да начхать же я на вас хотела! Сейчас же в «Новое время» пойду».

Я изумился.

— Как... в «Новое время»?

— Чи вы ж не знаете, как в «Новое время» ходят? Публиковаться. И идет ведь, дрянь этакая. Идет! Уже им прежняя мамаша не нужна, уже они себе новую мамашу нашли — «Новое время». Здравствуйте! Уже они все на этом «Новом времени» сдурели. Ленивая там не публикуется! Она думает, что публикации от такого же слова, как и ее занятие. Я, вы думаете, их держу? Идите, я говорю им, идите. Поищите себе в «Новом времени» такую мамашу. Кто их там научит, чему надо? Кто им даст совет? Вы думаете, публичный канторщик научит? Или сам господин Меньшиков с ними будет заниматься? От-то-ж дуры! Мало у Меньшикова и без них работы! До кого им там доторкнуться? Буренину до них есть забота или господину Астолыпину? Пойдите вы им поговорите! «Я иду в «Новое время!» Иди, миленькая моя, опять придешь ко мне, чтоб тебе пропасть с той публикацией!! Такое я вам расскажу: была у меня Муся Кохинхинка... Девушка — мед! Пух. Масло. Кротости, доброты вдивительной. Говорю я ей как-то: «Ты что же это, ведьма киевская, чулки на подзеркальнике бросаешь? Холера тебя возьмет или что, если ты их на место положишь?» И как бы вы думаете? Надулась, ушла. Приходит на другой день: «Дозвольте, мамаша, вещи!» — «Муся! Кохинхиночка! Куда ж ты?» — «Не желаю я, гаворит, мамаша, ничего. Я теперь, гаворит, массажистка!» — «Мусенька! Да когда ж ты успела? Ведь ты вчера еще не была массажисткой?» — «Это, гаворит, мамаша, сущая чепуха. Пишется так, а читается, может быть, и иначе». Заплакала я. «Новую мамашу нашла?» Смеется. «Новую-с. Не вам чета. На двенадцати столбцах печатается. Хорошую публику иметь буду!» Ушла... Забрала свои хундры-мундры и ушла. Так что же вы думаете — вернулась! Через две неделечки. Статочное ли дело этим дурам без хорошего глазу жить. Рази ж газета за усем усмотрит? Обобрал ее какой-то фрукт, тоже из публикующих. Прожила она у меня полтора месяца, потом из-за чего-то, из-за какой-то паршивой ротонды, ка-ак фыркнет! Адью-с — не вернусь! Куда, Мусичка? Я, гаворит, теперь натурщица. «Мусенька! Да какая же ты натурщица? Только одного художника ты и видела, который у меня в прошлом году стекла побил». — «Это, гаворит, ничего не значит.

Желаю, гаворит, быть чудно сложена»! «Модель, чудно сложена, классические линии, позирует на любителя». И вы думаете, не ушла? Ушла! Такая большая газета и такую со мной, представьте, войну завела. Сегодня девушка у меня называется — Муся Кохинхинка, завтра в «Новом времени» — дама для компаний; на этой неделе она у меня Муся Кохинхинка, на той неделе она уже «пикантная брунетка в безвыходном положении»; в этом месяце она, как честная порядочная девица, живет у меня в номере седьмом с мягкой мебелью, а в том месяце она живет уже в номере двенадцать тысяч пятьсот третьем на пятом столбце — прямо-таки ума непостижимо! Все посдурели. Вот вы, господин интеллигентный, в красивом пальте, в котелке — ну что вы мне посоветуете?

Я подавил улыбку и сказал, стараясь быть серьезным:

— Они делают конкуренцию вам, а вы сделайте им: начните издавать такую же газету.

— Тоже вы скажете! У меня восемь номеров, а у них двенадцать тысяч. У меня шесть девушек, а у них, может быть, пятьсот! Нет, вы, господин, знаете? Я думала бы другое: что, если бы нам с ними войти в компанию?

Я подумал.

— Ну, что ж... Этим, вероятно, и кончится. Нынче все предприятия должны быть капиталистическими. Фабрика всегда пожрет мелких кустарей...

Мы оба молчали, думая каждый о своем. Закат красными лучами осветил меня и мою соседку, сидевшую с понуренной головой. И, щурясь на красное солнце, соседка со вздохом прошептала:

— Ох, любовь, любовь! Какое ты трудное занятие.

ТИХИЙ ОКЕАН

Русский писатель Аргусов был бодр и полон самых светлых надежд на будущее...

— Эх! — говорил он, весело хохоча. — Да и отмочу же я летом штуку!

— Какую штуку?

— Купаться поеду за границу.

— Почему именно за границу?

— Широкие, дорогой, у меня горизонты!.. Океана хочу... Неизмеримого, безбрежнего океана! Море — как хотите — не то. А представьте, например, Тихий океан! Ведь подумать только о его величине и раздолье — голова кругом идет!

Однажды мечтательный, тихо-восторженный Аргусов уложил чемоданчик и собрался ехать.

Пришли.

— Ты... куда? Куда собрался?

— Прощайте, братцы! Купаться еду в Тихий океан. Хе-хе!

— Нет, не прощайте; нет, не братцы; нет, не купаться; не Тихий океан... Нет, не «хе-хе». Давай подписку! Артамонов, бери с него подписку!

Побледнел писатель.

— Какую?

— На белой бумаге. О невыезде за границу. Над тобой, братец, еще три литературных дела висят! Видали? За границу захотел, на Тихий океан. Эх, ты! Тихоокеанец...

Даже рассмеялись, уходя.

Смеялся и писатель. Не особенно, впрочем.

— Еду, — говорил писатель. — Купаться. На Черное море еду! Хе-хе! Вы подумайте — какая прелесть: Черное море! Это тебе не река какая-нибудь или озеро. Выйдешь это к воде: ого-го — горизонта не видно! Прелестная, должен я вам сообщить, вещь — Крым!

Собрался. Поехал.

— Вам чего?

— То есть? Мне даже странно... Вам-то что? Купаться приехал.

— Нельзя тут купаться. Писатель? Нельзя. Артамонов, проводи их.

— Как вы смеете? Ваше, что ли, Черное море?

— Идите, идите! Вот чудак! Подумаешь — черноморец выискался.

Встретили писателя совсем недавно. С узелочком шел.

— Вы куда?

— Купаться буду. Прекрасное это учреждение — Фонтанка. Утонуть нельзя, а выкупаться можно. А горизонты — если вдуматься, на кой они мне, в сущности, прах.

Пришел писатель на Фонтанку. Остановился. Уже жилетку стал снимать.

— Эй, эй! Господин! Чего такого делаете? Нельзя!

— Да я купаться. Можно?

— Купаться тут нельзя. Правилов таких не исделано. Ежели, будем говорить, утопленники — с ними другой разговор. А — купальщик, он не тово-с. Купальщику тут невозможно.

— Ну, ладно... Я топиться буду.

— Тоже на виду нехорошо. Ежели тишком, с плохого надзору — твое счастье! А так — это что же... Артамонов! Проводи их на сухое место.

Поливали дворники мостовую. Мимо проходя, приблизился к ним писатель и попросил:

— Я вам пятачок дам, а вы меня из кишки искупайте!..

— Да Господи ж, — обидились добрые дворники... Разве ж мы за деньги или что? Да мы и так рады облить человека.

Брызнула струя... Только поворачивался ликующий, просветленно-восторженный писатель.

Пробегал мимо мальчишка, только что выдранный кем-то за уши...

Увидев такую картину, увидя потоки холодной воды, забыл мальчишка все свои горести, заплясал на одной ножке и завопил радостно:

— Брраво! Воды-то сколько!.. Тихий океан!!

ОТЦЫ И ДЕТИ

...Семья состояла из трех лиц: самого хозяина дома Гниломозгова — члена Государственной Думы четвертого созыва, его жены Анны Леонтьевны и сына Андрюши — крохотного вихрастого гимназиста.

Сегодня в семье Гниломозговых был большой шум и скандал...

Началось с того, что Андрюша покрасил белого маминого шпица в черный цвет; почуяв запах чернил, резвая собака вырвалась из рук юного вершителя ее судеб, прибежала в гостиную и стала кататься по диванам и креслам...

Пораженная ужасом, Анна Леонтьевна схватила собаку, засунула ее в шкапчик, на котором стоял граммофон, но при этом запачкала себе руки и пеньюар чернилами.

И ударил на Андрюшу гром:

— Чтоб тебе до завтрашнего дня не дожить, паршивец ты несчастный! Чтоб тебя всего перекорежило, подлеца! Извольте видеть — собак ему нужно перекрашивать! Вместо того чтобы задачи решать — собак красить!! Обожди ж ты... Да нет, нет, не спрячешься... Ты думаешь, я тебя отсюда не достану? Достану, голубчик... Вот, вот... Пойди-ка сюда, пойди... Вот тебе, вот!! Что, нравится? А теперь посиди-ка у меня в темной ванной. На тебе еще раз — на память!

Избитый, униженный был брошен Андрюша в темную ванную. А разъяренная Анна Леонтьевна побежала в кухню мыться и чиститься.

В кухне она увидела следующее: ее муж, член Государственной Думы четвертого созыва, держал за руку краснощекую полномясую Дуню и говорил ей грешные слова:

— А вот возьму да поцелую!

— Да зачем же, Иван Егорыч?

— А вот возьму да поцелую.

— Господи! Да зачем же это? К чему вам беспокоиться!

— А вот возьму да поцелую! Ги-ги...

— Ну к чему же это?

Затрудняясь ответить на этот ленивый, бессодержательный вопрос, Иван Егорыч безмолвно припал к Дуниной пышной груди и... сейчас же отлетел к кухонному столу...

— Опять?! — закричала Анна Леонтьевна. — Ах подлец! Весь в сынка: тот собаку перекрашивает, этот жену меняет на черт знает что! Поди сюда... Пойди, сладострастник проклятый! Я с тобой поговорю после, а пока ты у меня посиди-ка в ванной, чтобы тебя перекорежило!

И был Иван Егорыч сильной рукой жены ввергнут в темную холодную ванную комнату.................................

....

* * *

— Ой, кто тут такой?! — вскричал испуганно депутат.

— Это я, папа, не бойся... — сквозь слезы отвечал Андрюша. — Тебя — мама?

— Мама, — со вздохом прошептал депутат, усаживаясь на плетеную корзину для белья.

— Меня тоже мама...

Оба помолчали. Было так темно, что друг друга не видели. Почему-то разговаривали шепотом.

Чувство нежности к сыну наполнило сердце Гниломозгова.

— Бедные мы с тобой, Андрюша, — всхлипнул он. — Не живем, а мучаемся. Тебя за что?

— Собачку хотел перекрасить. Все белая да белая — прямо-таки надоело. А тебя за что?

— За горничную.

— Поколотил ее, что ли?

— Да нет, напротив. Я к ней очень ласково...

— Странно... — вздохнул невидимый Андрюша. — Значит, просто придирается.

Нашел отцовскую руку, пожал ее и погладил.

— Ничего-о... Может, скоро выпустит.

«Хороший у меня сынок, — подумал тронутый Гниломозгов, — а совсем я забросил мальчишку. Поговорить с ним даже не приходится...»

Разговорились...

— Ну, что у вас в гимназии, — спросил депутат. — Распустили вас на масленую?

— Да, — прошептал Андрюша. — На три дня. А вас?

— Э, нас! — самодовольно улыбнулся депутат. — Нас, брат, на десять дней распустили.

— Счастливые! А на Рождество как?

— На Рождество тоже месяц гуляли...

— А мы две недели.

— На Пасху нас дней на сорок распустят...

Даже в темноте было видно, как Андрюшины глазенки засверкали завистью.

— Господи! Вот лафа! А летом вас когда распускают?

— В июне.

— Одинаково, значит. А когда обратно, в училище?

— В Думу, а не в училище! В октябре.

— Да ну?! Значит, почти ни черта не делаете?! А мы-то, несчастные... Чуть не с августа... А как у вас с экзаменами-то?

— Никаких экзаменов! Ни-ни. Просто так.

— А мы-то! — простонал в темноте Андрюша. — Прямо печально! И отметок тоже не получаете?

— Отметок?.. Каких это? Нет, теперь нет. В третьей Думе, кажется, Годнев получил отметку... от городового... А так, вообще — нет.

— А задают вам много?

— Задают-то? Да иногда много. Вот это, говорят, рассмотри и пропусти, и это. А этого не пропускай.

— Зубрить-то, значит, не надо?

— Нет, просто в двери проходим. А вы как? — осведомился шепотом депутат.

— Да приходится позубривать. У нас, брат, подтрудней. Прижимисто...

Андрюша глубоко вздохнул.

— В поведении иногда тоже сбавляют.

— Чего сбавляют?

— Отметку. Если нашалишь.

— И у нас, — сказал депутат. — Раньше мы не отвечали, были безответственны — понимаешь? — А теперь нам сказали, что мы отвечаем за свои слова.

— И наказывают?

— Наказывают.

Товарищи по несчастью погрузились в молчание.

Андрюша долго и тщетно размышлял: чем бы таким поразить отца, чего у того не было.

— А у нас обыски делали! У гимназистов.

— И у нас, — подхватил отец.

— Ну, это ты выдумал, — с досадой возразил Андрюша. — Если я сказал, так тебе нужно тоже похвастать...

— Ей-Богу, делали! — оживился отец. — У депутата Петровского. Мне хвастаться, брат, нечего. Это уж факт!

Чтоб было удобнее, отец сполз с корзины и улегся спиной вверх на мягкий половичок; сын нащупал отца и лег рядом с ним. Придвинув лицо к бороде отца, он тихо стал рассказывать:

— Сидят все, чай пьют — никто ничего не думает; вдруг — звонок! Что такое? И говорят оттуда, из-за дверей: «Примите: телеграмма пришла!» Ну, когда поверили, открыли

двери — они и вскочили... «У нас, говорят, какое-то там расписание есть для обыска»...

— Предписание.

— Ну да, или там предписание. Все, конечно, испугались, а они стали обыскивать...

Потом раздался тихий шепот отца:

— И у нас тоже... Тоже пришли к депутату Петровскому... И телеграмма была, и предписание... Все как у вас........

....

Долго еще раздавался на половичке в ванной комнате еле слышный шепот.

Оба, растроганные одинаковостью своей судьбы, долго поверяли друг другу свои маленькие горести и неудачи.

* * *

И когда Анна Леонтьевна открыла дверь и сказала сердито: «Ну, вы, шарлатаны, выходите, что ли!..» — оба товарища по несчастью вышли, держа друг друга за руку и щурясь от яркого света.

Пили чай рядышком, а вечером, склонившись около лампы, долго перелистывали Андрюшины учебники и отцовы законопроекты.

Отец объяснял Андрюше задачи, а Андрюша рассмотрел несколько законопроектов и высказал по каждому из них свое мнение, внимательно выслушанное притихшим отцом.

ЧЕЛОВЕК-ЗВЕРЬ

(Материалы для нижегородской истории)

В приемной нижегородского губернатора Хвостова сидел мещанин города Одессы М. Циммерман; сидел он долго, изредка вздыхал и время от времени поглядывал на часы.

Наконец двери кабинета его пр-ва распахнулись и полицеймейстер Ушаков, выкатившись из кабинета, крикнул:

— Подтянись! Их превосходительство изволят идти!

Хвостов обвел взглядом приемную и, улыбнувшись благосклонно, подошел к Циммерману.

— А! Господин Циммерман! Очень рад вас видеть... Как поживаете?

— Ваше пр-во! — растроганно воскликнул Циммерман. — Поверьте... я... такое счастье!

— Ничего, ничего! Я, вообще, всегда... Ну, как идут дела вашей фирмы?

— Фир... мы? Да спасибо, хорошо.

— Я, милый мой, вызвал вас вот почему... мне нужен, видите ли, этакий... рояль... Гм! Да. Так вот: не можете ли вы прислать мне рояль? У вас ведь их много.

— У меня? Рояли? Ваше пр-во! Да у меня нет ни одного рояля.

— Ну что вы говорите! Неужели все распродали?

— Да я ими никогда и не торговал.

— Вы меня ошеломляете! Такая солидная фирма...

— Какая, ваше пр-во?

— Да ваша же: Юлий Генрих Циммерман.

— Простите, ваше пр-во, но я не тот Циммерман. Другой.

— Ага! Родственник. Ну, может быть, вы бы похлопотали там: «Вот, мол, дорогой Юля, есть тут у меня приятель один... Хвостов, мол...»

— Да он даже не родственник мой. Я его совсем не знаю.

— Экая жалость! Ну, автомобиль-то... Автомобиль... Можете мне прислать?

— Откуда же мне взять автомобиль, ваше пр-во...

— Как откуда? С вашего завода.

— У меня нет завода, ваше пр-во.

— Вы разве не Бенц?

— Нет, я Циммерман.

— Ага! Значит, однофамилец. Так, так, так, так... Но, во всяком случае, чем же вы занимаетесь? Что вы можете мне предложить?

— Я антрепренер оперного театра, ваше пр-во.

— Так, так, так, так! И он, злодей, молчит, а? Хе-хе-хе! У вас как же... тово, а? И женщины тоже поют, в опере? Или только мужчины?

— И женщины, ваше пр-во.

— А как они; тово?

Градоправитель пошевелил в воздухе пальцами.

— Чего, ваше пр-во?

— Ну, этого... знаете? Как его...

— Какие у них голоса?

— Ну, да и голоса, конечно... Это, конечно, тоже интересно... Ну, а как они, вообще... этого, как его?..

— Вы хотите знать их фамилии, ваше пр-во?

— Ну да, конечно, и фамилии... это тоже любопытно... Да нет, не фамилии! Как они, одним словом... Ну как это называется?

Градоправитель сделал рукой около своего лица округлый жест.

— Вы хотите спросить, гримируются ли? Да, конечно, перед спектаклем гримируются. Это уж такое правило — кто участвует в пьесе, тот гримируется.

— Да нет же! Хе-хе-хе! Вы скажите мне вот что...

— Что, ваше пр-во?

Градоправитель залился добродушным смехом и пощекотал посетителя пальцем под мышкой.

— Ах вы греховодник! Вы скажите просто: хорошенькие они?

— Да, есть очень приятные дамы.

— Это хорошо, что приятные. Я люблю; это украшает город. Садитесь, пожалуйста!

— Не беспокойтесь!

— Скажите... Гм!.. Они у вас, вообще... тово?..

— Чего, ваше пр-во?

— Этого самого... Вообще, ужинают?

— Помилуйте, ваше пр-во. И ужинают, и обедают, и завтракают! На этот счет у нас, как полагается.

— Значит, ужинают? Это хорошо, что ужинают. Ужины — хорошее дело. Вы мне на завтра пришлите парочку.

— Ужинов, ваше пр-во?

— Да нет, не ужинов, а этих самых... певичек...

— Певиц, ваше пр-во.

— Ну да. Вам там виднее, кого. Так вот, вы им и скажите, чтобы ехали.

— Передам, ваше пр-во. Если захотят — приедут.

— Да они, в том-то и дело, что не хотят. Мы их уже приглашали. Ушаков! Ты приглашал?

— Так точно, приглашал!

— Что ж они?

— Говорят — не хотим. С незнакомыми, говорят, не ужинаем.

— Как это вам понравится, — воскликнул изумленно губернатор, переплетя пальцы и поглядывая на Циммермана. — Губернатор — и вдруг незнакомый! Что они у вас — бомбистки или как?

— Я им передам ваше приглашение; может, они и приедут.
— Милый! Так ничего не выйдет. Вы им прикажите... Ведь вы начальство!
— Не могу, ваше пр-во. Это частная жизнь.
Градоправитель поморщился.
— Ушаков!
— Есть!
— Убеди!
Полицеймейстер приблизился к антрепренеру.
— Послушайте... Я вам по-дружески советую...
— Не могу.
— Слушайте! По-товарищески советую...
— Ей-Богу, не могу.
— Добра вам желаю!
— К сожалению...
— Ну!
— Поймите, господа, что...
— Ну?!!
— Да, право же, никак не воз...
— Стой! — крикнул полицеймейстер. — Вы кто такой? Как ваша фамилия?
— Циммерман.
— Антрепренер?
— Д... да.
— Ваше пр-во! — воскликнул полицеймейстер. — Поздравляю вас! В наши руки попался опасный преступник...
— Ну?! — испугался губренатор. — А что он... тово... что сделал?
— Он? Не внес полностью залога в обеспечение жалованья труппе.
— Какой ужас! — воскликнул губернатор, с отвращением глядя на Циммермана. — Душа холодеет от деяний этого человека-зверя!
— Да уж... — содрогнулся полицеймейстер. — Вероятно, наследственность. Дегенеративный череп...
— Дикий зверь, тигр, пантера — и те не были бы способны на такую гнусность. Тигр бы бенгальский даже внес залог в обеспечение труппы. Боже! До какой бездны может пасть человек! Земля содрогается от ужаса, что носит на себе это чудовище! Во Франции его бы гильотинировали, а у нас... в нашу эпоху слюнявого сентиментализма... Посади-ка его,

Ушаков, на три месяца в порядке охраны!

— Ваше пр-во!!!

— Ни слова более! Можете сами кататься с вашими певицами на автомобилях и бренчать на роялях!.. Эй, люди! Возьмите этого человека-зверя!!

Звякнули кандалы.

Рассказав вышеизложенное, я, в силу справедливости, должен привести опровержение бывшего губернатора Хвостова (ныне — члена Государственной Думы):

— Ничего подобного не было! Я просто однажды хотел угостить купечество и пригласил артисток в гостиницу для дивертисмента. А Циммермана я арестовал за то, что он не внес полностью залога.

Один флегматичный хохол прочел это возражение и тоже возразил на него:

— От-то-ж! Не вмер Данила — болячка задавила.

НОВОЕ О ЧЕХОВЕ

Не так давно редактор, подойдя ко мне (он человек не гордый и иногда запросто беседует с сотрудниками), сказал:

— Не можете ли вы, Фома, достать что-либо новое об Антоне Павловиче Чехове?.. Пусть это будет вещь не юмористическая — все равно. Незабвенный писатель так дорог нам всем, что даже случайные воспоминания о нем, обрывки воспоминаний будут бесконечно близки нашему сердцу.

Я, прослезившись, отвечал:

— Хорошо. Надеюсь, что за места, которые будут бесконечно близки вашему сердцу, вы заплатите гонорар соответствующий... До свиданья. Еду.

* * *

Первый встреченный мною человек, который мог, по его словам, рассказать мне о Чехове, был очень словоохотлив и сейчас же начал свои воспоминания.

— Как же, помню, помню!.. Теперь покойничку было бы уже 60 лет, царство ему небесное...

— Что вы! На днях ему только 50 исполнилось... Об этом я сам читал.

Мой собеседник засмеялся.

— Узнаю покойника... Всегда любил десяточек лет сбросить... Он даже собственным детям не открывал своих лет.

— Детям! Разве у него были дети?!

— Семеро было. Неужели вы не знали?

— Я не верю своим ушам! Насколько я знаю...

Но тут я скромно замолчал. Это была интимная жизнь незабвенного писателя, и касаться ее мне казалось неделикатным. Я перевел разговор:

— Вы помните какие-нибудь любопытные случаи из жизни покойника?

— Сколько угодно! Однажды мы с ним пили в железнодорожном буфете водку. «Хочешь, — говорит, — я аршин водки выпью? Ставь рюмки в ряд, отмеривай аршином, и я пить буду!» Что хохоту было тогда... Умора!

— Гм... А еще вы ничего не помните из его личной жизни?

— Как же! Однажды получил он из имения деньги... Что-то тысяч десять...

Я изумился.

— Неужели у него было имение?

— Сколько угодно! Три имения было. Два самарских, одно подмосковное... Получил он деньги, я ему и говорю: «Чем эти деньги на цыганок бросать, ты бы, Вася»...

— Антоша, — подсказал я.

— Вася! Какой там Антоша?

Я вспылил:

— Да ведь вы мне об Антоне Павловиче Чехове рассказываете? О писателе?

Он с дурацким удивлением взглянул на меня.

— О каком Антоне Палыче, государь мой? Я рассказываю о гусарского полка штабс-ротмистре Василии Дорофеиче Чехове-Чеховиче! Рубаха-парень был!..

— Тьфу!!

— Вы не плюйтесь... За это ответите.

* * *

Я встретился с другим господином и завел с ним разговор о Чехове.

— Вы знаете что-нибудь о Чехове? Именно об Антоне Павловиче Чехове, а не о ком другом.

— Я? О Чехове? Сколько угодно. Мы ведь с ним вместе писали в «Стрекозе». Его, надо признаться, терпели там, как неизбежное зло, а меня редактор очень любил. Однажды я прихожу к редактору, а он мне и говорит: прекрасный рассказ вы дали нам, дорогой Петр Иваныч...

— А Чехов?

— Что Чехов?

— Был при этом?

— Да зачем же ему обязательно быть при этом?

— Вы мне лучше что-нибудь о Чехове расскажите. Как он, вообще, работал?

— Кто, Чехов? Так, знаете, писал разные рассказы... А я в то время уже драму написал. Прекрасная драма. Снес к Суворину, а он и говорит мне: «Талантище у тебя, Петя!»

— Послушайте! Я вас о Чехове прошу рассказать, а вы о себе рассказываете... О вас мы еще поговорим... даю вам честное слово! Вот будет ваш юбилей — тогда и поговорим... А вы мне сейчас о Чехове что-нибудь...

— Да что ж о Чехове... Можно и о Чехове. Встречаю я его как-то на улице. Спрашивает: «Куда идешь?» В «Ниву»! Прихожу я в «Ниву», секретарь встречает меня восторженно: «Ну, знаете, батенька, ваша повестушка»...

Я злобно посмотрел на собеседника и прошипел:

— Идиот.

Он пожал плечами:

— Не скажите!

* * *

Наконец я нашел настоящего человека, с которым мог поговорить о Чехове: с первых слов я заметил, что он о себе скромно умалчивает, не путает Чехова с кем-нибудь другим и о дорогом покойнике говорит с вполне понятным благоговением:

— Чехова? Антон Палыча? Как же не знать... Очень даже хорошо.

— Интересные случаи какие-нибудь из его жизни помните?

— Есть. Как-то прихожу я к нему, а он выходит, хромает... Что такое? «Да, сапог, — говорит, — что-то жмет». «Э, — говорю, — пустяки! На колодки их натянуть, да разбить»...

— Ну?

— Ну, и, действительно, после колодок сапоги не жали.

— Это мелкий факт. Других нет ли?

— Есть и другие. Приезжает как-то он ко мне. «Нынче, — говорит, — пошла мода на ботинки с широкими носками... Как ты посоветуешь»? Усмехнулся я: «Выдумывают все»!..

— Ну?

— Ну, все-таки заказал покойник. Любил хорошую обувь. В последнее-то время он больше в мягких туфлях ходил. Ковровые такие...

— Да нет, вы мне расскажите, как он писал?!

— Да так и писал. «Ежели, — говорит, — Панфилыч, сапог у меня узкий, так я, — говорит, — и писать не могу, как следует. Беспокойно, значит».

Терпение мое лопнуло.

— Господи! Что вы мне сапог да сапог, туфли да туфли... Будто вы сапожник какой.

— Это точно. Сапожник и есть. Покойник пятнадцать лет сапоги у меня шил...

Когда я принес редактору вышеприведенное «Новое о Чехове», он прочел рукопись и благосклонно сказал:

— Страшный вздор! При чем здесь в серьезной статье какой-то сапожник, Чехов-Чеховский, какой-то Петя!..

Я всплеснул руками.

— Боже ты мой! Да здесь же, в этой одной статье, три статьи:

1) «Антон Чехов и его читатель».

2) «Антон Чехов в воспоминаниях и характеристиках современников».

3) «Антон Чехов и критика о нем».

И я, подбоченившись, потребовал себе тройной гонорар.

ЖВАЧКА

Однажды на обеде в память Чехова несколько критиков говорили речи.

Один сказал:

— Чехов был поэтом сумерек, изобразителем безвольной интеллигенции...

— Браво! — зааплодировали присутствующие.

Другой критик заявил, что и он тоже хочет сказать речь...

Подумав немного, он сказал:

— Изобразитель российских сумерек, Чехов в то же время был певцом интеллигентского безволия.

Третий критик объявил, что если присутствующие ничего не имеют против, то и он готов возложить скромный словесный венок на могилу «певца сумерек».

— Браво!

Критик поклонился и начал:

— В дополнение к прекрасным характеристикам Чехова, сделанным моими коллегами, я скажу, что талант Чехова расцветал в сумерках русской жизни, в которых текла и жизнь безвольной интеллигенции... Да, господа! Чехов, если так можно выразиться, поэт сумерек...

И встал четвертый критик.

— Говоря о Чехове, многие забывают указать на ту внешнюю обстановку, в которой жил великий писатель. Время тогда было серенькое, и это отражалось на героях его произведений. Все они были серенькие, сумеречные, ибо то время было время сумерек, и Чехов был его поэтом. Безвольная, рыхлая интеллигенция того времени нашла в нем своего бытописателя; и, подводя итоги деятельности Чехова, о нем можно выразиться в заключительных словах: «Чехов был настоящим поэтом сумерек, изобразителем безвольной интеллигенции...»

* * *

Я отозвал этого четвертого критика в сторону и спросил:

— Откуда вы узнали, что Чехов был поэтом сумерек?

Он тупо посмотрел на меня.

— Я знаю это из достоверных источников.

— Изумительно! Так-таки — поэт сумерек?

— Ей-Богу. И еще — певец безвольной интеллигенции.

— Да?!

Я потихоньку подводил его к открытому, по случаю духоты, окну и в то же время с интересом говорил:

— Как вы все это ловко и оригинально подмечаете!..

Опершись на подоконник, он сказал:

— Интеллигентское безволие, расцветшее в сумерках чеховск...

Кивая сочувственно головой, я неожиданно схватил его за ноги и выбросил в окно.

Оно находилось на высоте четвертого этажа.

Одним глупым критиком сделалось меньше.

* * *

Это была моя жертва на алтарь прекрасного, чуткого писателя...

Певца сумерек...

ДУШЕВНАЯ ДРАМА ФЕДИ ЗУБРЯКИНА

Это случилось в купе вагона железной дороги.

Новый курский депутат Пуришкевич купил себе место в вагоне, но оно ему не понравилось.

Тогда Пуришкевич стал искать места получше.

Ему понравилось место барона Клодта. Спрятавшись за дверью, Пуришкевич устерег момент, когда барон Клодт отлучился куда-то, — выскочил из-за двери, сбросил вещи барона Клодта на пол и улегся на месте барона Клодта.

Вернувшийся барон Клодт был очень огорчен случившимся.

— Виноват, — сказал он. — Вы заняли, вероятно, по ошибке мое место...

По словам газетного корреспондента, Пуришкевич возразил на слова барона Клодта.

Но это возражение было — «песня без слов».

Пуришкевич «в ответ на это лег на живот и заболтал ногами».

Это было возражение, к которому барон мог и не прислушиваться; это возражение можно было *видеть*.

Барон позвал кондуктора.

В ответ на просьбу кондуктора Пуришкевич снова возразил: заболтал ногами.

Оживленный разговор этот продолжался недолго: когда взгляд кондуктора перешел с быстро мелькающих ног на голову пассажира, он всплеснул руками и вскричал:

— Это Пуришкевич! Бежим! Оставим его в покое — Бог с ним.

И оба, подхватив вещи барона, убежали, а Пуришкевич остался лежать на животе, болтая вслух сам с собой ногами.

* * *

Этим дело не кончилось.

Маленький второклассник Федя Зубрякин видел все происшедшее и решил, что сама судьба дает ему в руки ключ к счастью и благосостоянию. Он понял, что уменье устраиваться в жизни — вещь простая, и пути к достижению благополучия всецело находятся если не в его руках, то в ногах.

Посмеиваясь, маленький хитрец собрал свои вещи, перенес их в купе первого класса и улегся на бархатный диван.

— Виноват, — раздался над ним чей-то голос. — Это мое место. Потрудитесь уступить.

Федя Зубрякин был малый не промах: он лег на живот и заболтал ногами.

— Послушайте! Я вам говорю!..

«Шалишь, брат», — подумал Федя и еще больше заболтал ногами.

— Уйдите отсюда, слышите?

Федя болтал ногами.

— Айяяй, — укоризненно сказал пассажир. — Такой большой малчик, а поступает, как маленький поросенок.

«Говори себе, что хочешь, — внутренно усмехнулся Федя, — а мое дело правое».

— Подумай! — сказал пассажир. — Ведь ты уже ученик гимназии, а поступаешь, как какой-нибудь дурак!

Федя болтал ногами.

— Нет, это, наконец, невыносимо! Кондуктор!

— Что прикажете? — спросил кондуктор.

— Уберите этого нахала. Он уже не дитя, чтобы болтать ногами, заняв чужое место!

— Эй, мальчик! Уходи-ка отсюда... Это место чужое.

«И чего они ломаются, — подумал Федя. — Знают же, что меня с места согнать нельзя!»

— Нечего тут ногами болтать! Уходите! А еще гимназист.

На шум пришли пассажиры соседних купе.

— Что тут случилось?

— Да вот: занял мое место, а когда я прошу его уйти — он болтает ногами.

Сзади кто-то соболезнующе сказал:

— Может, эпилептик?

— Еще что скажете! Просто озорничает мальчишка.

— Господи! Такая здоровая дубина — лет десять, если не все двенадцать, а ведет себя, как кретин.

— Может, отсталость в развитии? Это бывает.

— Хорошая отсталость: занял чужое место и болтает ногами. Пошел вон!

«Почему же они не убегают от меня? — подумал Федя, начиная внутренно сомневаться в правильности занятой им позиции. — Может быть, я недостаточно быстро болтаю ногами? А ну, попробуем так»...

— Ах, какая дрянь, мальчишка!

— Форменная свинья!

— Такой огромадный мальчишка, а дурак!

— Осел какой-то упрямый.

— Да чего там на него смотреть: тащите за уши, да на пол!

...И вдруг Федя Зубрякин почувствовал себя висящим в воздухе. Кто-то дал ему подзатыльник, кто-то энергично дернул за ухо.

— Так ему! Так этому мальчишке и надо. Чтоб в другорядь было неповадно.

— Хе-хе!

— Выставили голубчика.

— Ах, нахал! Да и нахал же нынче пошел мальчишка.

— Сущая дрянь.

— Вот она — революция-то!.. ....

....

Понурившись и еле таща чемоданчик, брел Федя Зубрякин из вагона в вагон. Уши горели, как уголья, и затылок болел.

А пуще всего болело маленькое доверчивое сердечко, впервые столкнувшееся с несправедливостью взрослых.

— За что? Господи, за что же? — шептали дрожащие от обиды бледные губки ребенка.

Мороз крепчал.

ЗАНЗИВЕЕВ

Был в Государственной Думе депутат...

Лицо он имел самое незначительное, даже немного туповатое, держался всегда скромно, был молчалив, речей не произносил ни разу, а во время перерывов бродил, одинокий, по кулуарам и все усмехался про себя, шевеля пальцами, будто о чем-то втихомолку рассуждая...

Вне Думы все время проводил в своих меблированных комнатах, шагая со скучающим видом из угла в угол, и только изредка чему-то усмехаясь.

Так как он не принадлежал ни к какой партии, то депутаты не обращали на него ни малейшего внимания и многие даже не знали его фамилии...

А фамилия у него была Занзивеев.

И нельзя было узнать — кто такой Занзивеев? За какие заслуги был он выбран своими избирателями? Кому нужно было это пустое место?

По ночам Занзивеев иногда просыпался на своей узкой постели, всплескивал руками, поджимал худые колени к подбородку и, свернувшись таким образом в комок, хохотал долго и весело.

Занзивеев был страшный человек.

* * *

Однажды какой-то добрый мягкосердечный журналист, давно уже следивший за одиноким, скромно бродившим по кулуарам Занзивеевым, подошел к нему и снисходительно сказал, протягивая руку:

— Позвольте познакомиться... Я давно уже хотел вас спросить... Зачем вы ходите всегда особняком? Что заставляет вас ходить вдали от партий, никогда не выступать на трибуне, не заявить вообще каким-нибудь образом о своем существовании?

Занзивеев пожал плечами и сказал еще более снисходительно, чем журналист:

— Ах вы. вьюноша... Да зачем же мне это нужно?

Так как Занзивеев сделал ударение на слове «мне», то журналист возразил:

— Другие же делают это!.. Люди, находящиеся в одном положении с вами...

Занзивеев охнул и закатился тоненьким смехом:

— В одном положении? Нет, дорогой мой, не в одном положении... Хе-хе! Я, миленький, совсем другое!..

— Да что же вы такое? — спросил с некоторым любопытством журналист.

— Я-то? Я, миленький, большая персона. За меня голой рукой не берись. Депутатов-то может четыреста штук одинаковых, а я особенный...

— Что ж вы, — усмехнулся журналист, — в министры думаете попасть?

Занзивеев сделал серьезное лицо.

— Видите ли, дорогой вьюноша... Министров-то несколько штук, а я один. Губернаторов разных, тайных там советников — много, а я один.

Он задумался.

— Я не говорю, конечно, министр — большая власть, а все же я больше...

— Именно, вы? Вы — один?!!

— Я, миленький. Я. Захочу я, чтоб были броненосцы, — будут. Захочу, чтобы неприкосновенность личности была, — будет! Я-то не честолюбив... А захоти я — ездил бы в золотой карете на каких-нибудь редчайших розовых лошадях, и народ отдавал бы мне королевские почести. Вот как! Потому я — единственный, все во мне и все от меня!

Занзивеев оживился. Глаза его сверкали, руки бешено махали в воздухе, и торжествующий голос звучал как труба.

— Я скромный! — кричал он, пронзительно смеясь. — Меня никто не знает... А кто провалил те законопроекты, которые мне не нравились, кто может подарить России мир и преуспеяние или — если у меня скверное настроение — новую бурю, новый взрыв народного возмущения? Кто может облагодетельствовать народ? Занзивеев! Конечно, Занзивеев не рекламист, он не говорит с трибуны глупостей, Занзивеев скромный. А вы, вьюноша, ха-ха! думали

снизойти до меня, обласкать, пожалеть меня... Ха-ха. Не-ет, миленький... Занзивеев-то самый, может, сильный, самый страшный человек и есть!

— Черт возьми! — рассердился журналист. — Если у вас не мания величия — расскажите, в чем дело.

Занзивеев взял его за руку, отвел в угол, огляделся и пронзительным шепотом сказал:

— Кто я? Вы знаете, что у нас большинства нет? Вы знаете, что все последние голосования по важнейшим вопросам в Думе решаются большинством одного голоса...

— Ну да, знаю.

Занзивеев наклонился к самому лицу журналиста и, дрожа от внутреннего восторга, прошипел:

— Так вот этот один голос — именно я! Захочу — будут у нас броненосцы, захочу — не будут... Как — смотря по настроению.

— Черррт возьми! — только и мог сказать потрясенный журналист.

* * *

Снова Занзивеев ходил по кулуарам из угла в угол, одинокий, шевелящий пальцами и усмехающийся.

Тихо и скромно ходил, держась у стенки, страшный человек.

Журналист, спрятавшись за колонной, следил за ним. Потом подошел, взглянул робко и почтительно на Занзивеева и прошептал:

— Пропустите законы о печати.

— Вы мне нравитесь, — подумав, сказал Занзивеев. — У вас нос симпатичный. Хорошо, пропущу.

КАВКАЗСКАЯ ИСТОРИЯ

В тифлисский полицейский участок пришла какая-то армянка и, разливаясь в три ручья, сообщила:

— Моего мужа украли!

Пристав удивился.

— Как украли? Что ты врешь! Будто это самовар какой или сапоги... Кто украл?

— Разбойники. Пришли к нам и взяли его.

— Да что же они его, в узел, что ли, завязали?

— Зачем в узел? Просто взяли и увели в горы.

— Странно... Ну, для чего он им нужен? Будь он еще съедобный...

— Они выкуп хотят. Тысячу рублей за мужа требуют!

— А ты не давай! — посоветовал после долгого раздумья пристав.

— Да как же не дать, ежели мне без мужа никак невозможно. Или пусть полиция мне его отыщет, или выкуп платить надо.

— Отыскать... Это легко сказать — отыщите! Ты говоришь — в горы его увели?

— В горы.

— Ну, вот видишь! Как же его найти... Гор много есть: Кавказские, Уральские, Карпатские, Монбланы разные... Нешто так сразу найдешь...

Армянка повалилась в ноги.

— Найдите, ваше благородие!

На другой день в участок пришли три женщины и двое мужчин.

— Что нужно?

— Господин пристав! Ради Бога! Разбойники нынешней ночью увели наших мужей!

Пристав заинтересовался.

— Да как же они их увели? Неужели так: привязали веревкой за ноги и утащили?

— Мы уже не знаем как... Только знаем, что увели в горы. Вы уже отыщите их, господин пристав!

— Легко ли сказать: отыщите! Гор, братцы, много есть — Кордильеры, Тибетская возвышенность, Уральские... Впрочем, сделаю, что могу.

Вечером пристав снарядился в экспедицию: взял сто стражников, пушку и пошел по направлению к горам. Подошел к первой горе, потрогал ее рукой, почесался:

— Здоровая, шельма!

В голове у него мелькали грандиозные планы: срыть все горы, чтобы некуда было уводить горожан... Или расклеить везде обязательное постановление, воспрещающее увоз в горы под угрозой штрафа в 500 рублей с заменой в случае несостоятельности...

Но, по зрелом размышлении, у пристава явилась третья идея, наиболее удобоисполнимая и не менее радикальная: он вернулся в город, произвел обыск у одной заподозренной сельской учительницы и выслал двух евреев-музыкантов:

— Посмотрим, осмелится ли кто теперь уводить мирных граждан в горы?

К его удивлению, на другой день пришло известие, что разбойники увели в горы полтораста граждан, а еще через день — пятьсот.

Пристав сделал последнюю отчаянную попытку: выслал аптекарского ученика и оштрафовал трех гимназистов за ношение оружия.

К концу недели было уведено около шести тысяч!

Убыль граждан росла с головокружительной быстротой. Разъезжая со стражниками по безлюдным улицам, пристав втайне уже жалел, что выслал музыкантов и аптекарского ученика:

— Все-таки народонаселения было бы больше.

Наконец — это было в ясный солнечный день — город опустел окончательно. Разбойники уже не показывались в городе, запропастившись в своих горах, и только самые неугомонные из них еще изредка наезжали на безлюдный город, уводили те жалкие крохи, которые накапливались из приезжего элемента, — и опять пропадали.

Пристав делал все, что мог: расклеил обязательные постановления о вреде увоза в горы и запретил въезд в город труппе акробатов, среди которых было двое под фамилией Юделевичей.

Однажды, когда он, печальный, брел по вымершей улице, на него налетели несколько джигитов и пристав впервые узнал всю простоту их приемов, лишенных завязывания в узел и привязывания веревкой за ногу.

Узнал также пристав адрес тех гор, которые служили джигитам местом для заселения уведенными гражданами, и увидел он в глухой котловине целый город, шумный, многолюдный, пополненный теми тысячами народа, которых в свое время лишился Тифлис.

— Да это тот же Тифлис! — воскликнул удивленный и обрадованный пристав.

Поселился.

Назвал город Тифлисом и построил себе участок.

И пока не было на этом месте полиции, не считалось оно городом.

А как появился участок, тут все и увидели, что это — такой же город...

Когда же джигиты узнали, что в «Новом Тифлисе» завелась полиция, то сейчас же стали увозить граждан, но уже не в горы, а из гор в долину — на место прежнего Тифлиса.

Чем эта история кончится — неизвестно.

НОВЫЕ ПРАВИЛА

Я спросил:

— Все в сборе?

— Все.

— Бабушку и тетю захватили?

— Ну как же.

— Попугай тут?

— Тут.

— Бедного Мишу не потеряли?

— Бедный Миша тут. Миша, не жуй галстух! Это нехорошо.

— Стол и гардины захватили?

— Сзади носильщики тащат.

— Прекрасно. Эй, извозчики! На телеграф.

Мы поехали.

На телеграф вошли гуськом, как индейцы ходят по тропинке войны: впереди я — предводитель — с телеграммой в руке; за мной тетя, бабушка, гимназист Котя, горничная с попугаем, Бедный Миша, и в арьергарде носильщики со столом и гардинами.

Я скомандовал:

— Смирррно! Паспорта на-голо!

Все остановились и по команде обнажили паспорта.

— Миша! Выплюнь спичку.

Я подошел к окошку и поклонился телеграфной барышне.

— Имею честь кланяться. Телеграмма!

И подал телеграмму. В ней было написано:

«Ялта набережная дом Мамас-оглы Евгении Брыкиной соскучились возвращайся переехали на зиму город у тети Ани горе Миша впал тихий идиотизм твой попугай прихва-

рывает думаю тебе комнату поставить красный письменный стол гардины моль съела бабушка тетя кланяются пиши целую пудик».

Барышня внимательно прочла телеграмму, вернула ее и сказала:

— Не могу принять. Вы ведь знаете, что по новому циркуляру мы не имеем права принимать телеграмм шифрованных и заключающих в себе тайный смысл.

— Тут смысл явный, — твердо заявил я. — Что вам кажется тайным?

— Что? Гм!.. Вот, например, набережная. В Ялте, насколько я знаю, нет никакой набережной...

— Константин! — скомандовал я. — Карту Ялты на-голо!

Котя обнажил карту города Ялты и взмахнул ею.

— Я захватил на всякий случай карту. Извольте видеть — набережная есть.

— Кто такая Евгения Брыкина?

— Моя жена. Вот-с брачное свидетельство, вот копия выписки из приходских книг, кото...

— Ладно. Мне только подозрительно: зачем вы просите ее возвращаться на зиму в Петербург? Может, вы с ней бомбы собираетесь делать.

— Нет, бомб не делаем.

— Так зачем же она вам?

— Да так. Все-таки, знаете, жена.

— Все это, согласитесь сами, чрезвычайно подозрительно, — вздохнула барышня. — Э, э! Послушайте! Ну как вам не стыдно?!

— Что такое? В чем дело?!

— Да?! Вы будто не знаете? Младенец невинный! Вы можете в душе быть несогласным с последним распоряжением по почтово-телеграфному ведомству об отказе в приеме телеграмм, имеющих тайный смысл, но зачем же над этим распоряжением глумиться?

— Я глумился? Да когда же я глумился?

— А это... Что такое тут написано: «У тети Ани горе Миша впал тихий идиотизм...» Я понимаю, что вы хотели этим сказать... Знаю, на кого вы намекаете...

— Помилуйте! Я вам докажу! Миша!

Бедный Миша приблизился.

— Миша! Выплюнь окурок. Нельзя есть табак. Фи! Вот видите: Миша. Он впал в тихий идиотизм. Об этом я и сообщаю жене..

— Гм! Чрезвычайно подозрительно. Лицо у него, кажется, умное.

— Бутылка калабалда, — подтвердил Миша.

— Что это он?

— Это он говорит «бутылка молока».

— Ну, допустим. А что это за условная фраза: «попугай прихварывает»?

— Даша! Попугая! Вот этот попугай. Он, видите ли, прихварывает.

— Дурак! — сказал попугай.

— Послушайте! Это вы его научили, — возмутилась барышня. — Если вам не нравится новое распоряжение, то...

— Это он меня, — успокоил я ее. — Ей-Богу, он болен.

— А вот тут у вас сказано «красный письменный стол поставлю комнату». Это, может, о революции тут.

— Позвольте, кто же революцию ставит в комнату?

Я прочел в глазах барышни сомнение.

— А вдруг... комната... иносказательно.

— Носильщики! Давайте стол! Вот, позвольте вам представить: стол. О нем и говорится. Видите — красный.

— Так, так. А, может быть, вы согласитесь вычеркнуть «гардины моль съела».

— Почему?

— Я думаю, что истинный смысл этого такой: «полиция арестовала тайную типографию».

— Да вот же я и гардины захватил. Видите, моль съела.

— А может, вы для отвода глаз устроили... что моль съела...

— Да что ж я, каждую моль ловил да научал — «съешь, моль, эту гардину!». Что вы, барышня... Зачем мне вас обманывать.

— Да... «Зачем, зачем...» Это еще какая-такая бабушка, тетя?

— Вот эти. У них все в порядке. Это вот Мишина мама.

— Мама? Вы говорите — мама? А почему она на него не похожа?

— Помилуйте — как же можно. Человек впал в тихий идиотизм — какое же может быть сходство?

— Чрез-вы-чай-но подозрительно, — раздумчиво повторила барышня. — Послушайте! Непонятных слов нельзя писать.

— А где они?

— А вот. Слово: «пиши».

— Не пиши, а пиши. Ударение на последнем слоге.

— Вы что-то путаете. Почему же вы писали «пиши целую пудик». Это безграмотно. Надо сказать «пиши целый пудик».

— Что же это за смысл будет?

— Ну... смысл тот, чтобы она вам побольше писала. Целый пудик. А не це́лую.

— Да у меня — не це́лую, а целу́ю. Понимаете: от слова поцелуй. Ударение на предпоследнем слоге.

— Все это чрез-вы-чай-но подозрительно. То там у вас ударение, то тут. Потом, почему у вас телеграмма без подписи?

— Как без подписи? «Пудик». Это жена меня так зовет. Мое имя Пуд.

— Повернитесь, — сказала барышня.

Я повернулся.

— Это не вы!

— Почему?..

— В вас больше.

— Ну, так что же!

— Вы не то лицо, за которое вы себя выдаете... Телеграмма не может быть принята. Ха-ха... Хороший пуд!

Я побледнел: столько хлопот, столько расходов — и все это рушится из-за пустяка...

Но тут меня озарила мысль:

— Сударыня! — сказал я. — Честное слово, я то лицо, за которое себя выдаю. Но дело, видите ли, в том, что, как известно, имена даются в раннем детстве. И вот, клянусь вам, когда меня так назвали — во мне был ровно пуд. Я и сохранил без изменения это имя, памятуя, что, по основным законам Российской Империи, внешние изменения в физическом организме индивидуума не могут отражаться на таком постоянном институте, как принадлежащее человеку имя.

— Например, Пипин Короткий, — подсказал Котя.

— Ну ладно, — с сомнением сказала барышня, кивая головой. — Телеграмму я приму. Но все-таки все это чрез-вы-чай-но подозрительно.

Я обернулся к своему отряду и скомандовал:

— Вольно! Оправсь! Паспорта отставить!

И все весело засуетились: носильщики закурили папиросы, бабушка закашлялась, Бедный Миша съел черновик телеграммы, а попугай захлопал крыльями и восторженно закричал:

— Дурак! Дурак! Дурак!..

ПЕРВЫЙ ВЕСЕННИЙ ВЫХОД МЕНЬШИКОВА

Михайло Осипович Меньшиков подсмотрел в окно, что на дворе светлая, радостная весна, подслушал в замочную скважину веселое щебетание птиц и нерешительно подумал: «Донести, что ли? Эх, была не была: не донесу!»

И вслед за этим сказал сам себе:

— Семь-ка я пойду, посижу в сквере.

Когда он вышел на улицу, солнце, не разобрав за дальностью расстояния, что это Меньшиков, бросило на него пару-другую живительных, теплых лучей.

«Хорошее солнце! — одобрительно подумал Меньшиков. — Хорошо было бы подарить его немцам...»

Идя по улице, он то и дело встречал бывших знакомых, которые, увидев его, начинали внимательно рассматривать трубы шестиэтажных домов или заинтересовывались ползущим по небу облачком.

А один, проходя в это время мимо извозчичьей пролетки, отвернулся, посмотрел на лошадь и процедил сквозь зубы:

— Скотина!

«Чего это он лошадь выругал? — подумал, недоумевая, Меньшиков. — Жаль, что он меня не узнал... Можно было бы с ним раскланяться. Давно я ни с кем не раскланивался... Догоню-ка я его!»

Меньшиков поравнялся со своим бывшим знакомым, снял шляпу и ласково сказал:

— Здравствуйте, Павел Иванович!

Павел Иванович, взглянул на него, пожал плечами и пошел дальше:

— Доброго здоровья, Павел Иванович, — повторил Меньшиков, семеня около господина и заглядывая ему в лицо.

Так как господина заинтересовала какая-то вывеска, то Меньшиков хихикнул и, взяв его за рукав, заискивающе сказал:

— Это я, Меньшиков. Не узнали?

Выпятив нижнюю губу, господин посмотрел на Меньшикова:

— Ну-с?

— Меньшиков я, знакомый ваш... хи-хи.

— Ну, так что же?

— Изволили узнать?.. Михайлой меня зовут... Осипыч по батюшке. Знакомы мы были!

— Виноват, что вам нужно?

— Хе-хе! Не узнаете-с? Очень странно, очень странно! Я просто так, поздороваться хотел...

— Ну-с?

— Я ничего-с. Извините, если обеспокоил. Погодка какая весенняя!

Господин посмотрел на пробегавшую собачонку, проворчал, глядя ей вслед:

— Скотина!

И быстро зашагал дальше.

«Престранный человек, — подумал Меньшиков, оставшись позади. — Теперь собачку скотиной назвал. Такие, право, странные поступки! А меня, я уверен, он не узнал. Близорукие нынче какие-то пошли. А почему? Секли в детстве мало! Вон в Германии...»

Он задумался о Германии и, входя в сквер, сказал про себя:

— Отдать бы и сквер Германии! Вон теперь мы должны на него деньги тратить, садовника содержать и прочее, а тогда немцы бы это делали! Ведь вот, кажется, просто, а пойди-ка додумайся до этого...

Он опустился на скамеечку сквера около какой-то дамы с ребенком и строго посмотрел на нее:

— Развратом занимаются только... Детей рожают!

Ребенок потянулся к нему и, смотря на него широко раскрытыми глазами, прошептал:

— Дяя... Дяя...

Меньшиков покосился на ребенка и, не зная, как приласкать его, ткнул его указательным пальцем в щеку.

— Ваш?

— Мой, — улыбнулась дама. — Не правда ли, хорошенький?

— Забавноватый мальченко, — кивнул головой Меньшиков и, ухмыльнувшись, добавил:

— А вырастет — развратничать будет!

Дама вспыхнула.

— Почему вы так думаете?

— Все развратничают! Пить будет. Ночью подымут его пьяненького, грязного на улице и притащат в участок... Клопы там, вонь. Изобьют еще, пожалуй. А утром придет он к вам в синяках, с сивушным запахом, одна нога босиком, другая в калоше... «Маменька, скажет, дай на похмелье!..»

Дама нервно вскочила и, забрав ребенка, со слезами на глазах быстро зашагала к выходу.

— Хи-хи! — потихоньку засмеялся ей вслед Меньшиков. — Не любишь, стерва?..

Его веселый взгляд быстрыми прыжками перебегал с одного предмета на другой и наконец остановился на жирном глупо-радостном воробье, прыгавшем у ног Меньшикова.

«Божья птичка», — умиленно подумал Меньшиков и ласково посмотрел на птицу.

От его взгляда воробей съежился и тихо запищал...

Меньшиков посмотрел на него еще более ласковым, добрым взглядом.

Воробей распустил крылышки, открыл клюв и, закатив глаза, свалился на песок дорожки...

Мимо ног Меньшикова мягко прошуршал большой резиновый мяч, и вслед за этим послышались звонкие детские голоса:

— Лови его! Лови, я бросаю!

— А теперь я брошу!

Меньшиков с грустной ласковостью прислушался к звонкому смеху и поманил к себе мальчика, у которого был мяч.

— А покажи-ка свой мяч, покажи.

Мальчик робко посмотрел на незнакомца.

— Не бойся, милый мальчик. Я отдам. Мне нужно будет тоже купить одному мальчику мяч, так вот я хочу посмотреть: хороши ли нынче мячи...

Получив от мальчика мяч, Меньшиков сделал вид, что внимательно рассматривает его, но вместо этого вынул потихоньку изо рта папиросу и прожег ею мяч насквозь.

— На, иди, играй с ним! Вот вам, скверные мальчишки! Визжите здесь, как поросята, да по клумбам сигаете, вместо того чтобы уроки учить! Хе-хе! Поиграйте-ка теперь со своим мячом! Поиграйте...

Он доброжелательно улыбнулся плакавшему мальчику и поднялся со скамейки.

— Ну вот и весну Господь Бог послал, — умиленно вздохнул он, шагая по улице, — птички всякие, травки... букашечки... О, сколь разнообразен Ты, Всевышний, в творчестве дел Твоих... Отче наш, иже еси на небесех!..

ЗАПИСКИ ТРУПА

Не могу сказать, чтобы я, в качестве трупа, испытывал какие-нибудь совершенно новые, еще никем не испытанные ощущения. Я уверен, что большинство нас, русских, в последнее время превосходнейшим образом прошло всю гамму переживаний выдержанного в гробу трупа; но дело в том, что все остальные, как самые настоящие трупы, не отдавали себе в этих переживаниях отчета. А я могу дать полный отчет и не требую за это никаких почестей и наград, от которых на моем месте не отказался бы всякий другой разоткровенничавшийся труп.

Я не знаю — есть ли в жизни каждого трупа такая резкая граница, до которой он чувствовал бы себя настоящим живым, жизнерадостным человеком, а перешагнув эту границу, должен бы заявить поспешно и категорически:

— Ага! А вот с этого момента я делаюсь трупом! Со мной это случилось. Я уловил этот роковой момент.

Третьего дня я был жив: мы сидели целой компанией у Тихоходова и рассуждали о том, что в России не разрешаются самые безобидные союзы и общества.

— Вы знаете, — кричал я, — почему они не разрешили какого-то Бахлушского союза поощрения полезных ремесел? Потому что «союз, видите ли, взял на себя непосильную задачу, которая невыполнима по местным условиям». Да вам-то что?! Вам какое дело — выполнима или не выполнима?!

— Безобразие!

— Возмутимый произвол!

— И чего это полиция смотрит? — машинально проревел кто-то, желая, по русскому обыкновению, свалить всякую вину на полицию.

Я хрипло кричал, размахивая руками:

— А где, я вас спрошу, нормальные законы о печати?! Где они? Может быть, у вас в кармане? Или у Черта Иваныча за пазухой?

Было пять часов утра.

* * *

На другой день я проснулся утром очень поздно и долго лежал в кровати. Думать не хотелось, была невыносимая, какая-то предсмертная тоска.

Я взял свежую газету и развернул ее.

— Из Москвы высылают пятилетнего сына акушерки еврейки Юдиулевич, который не имеет права жительства. Мать его, по закону, имеет право жительства.

Я прочел это известие, и меня удивило то обстоятельство, что я не возмутился.

— Отчего же мы не возмущаемся? — спросил я сам себя. — Ведь это же неслыханный факт! Как может маленький, крохотный еврейчик угрожать государственному спокойствию? За что его высылают? Ну же — возмущайся!

Внутри меня все молчало.

Тщетно я старался раздразнить себя, поставить на место акушерки, у которой отнимают сына, или на место этого маленького мальчика, которого лишают матери.

Тяжелая равнодушная мысль свернулась комком и залегла куда-то на самое дно.

Тогда я попробовал придать всему факту юмористическую окраску, чтобы рассмешить себя, чтобы хоть этим расшевелить себя, если мне не удается возмутиться или растрогаться.

— Смешно, должно быть, — сказал я вслух, — как этот маленький еврейчик убегает по московским бульварам от целого отряда конной и пешей полиции, а сзади бежит встревоженная мать и щелкает акушерскими щипцами.

— Нет, — равнодушно сказал я, зевая. — Это не смешно. Нет здесь ничего смешного и ничего ужасного... Пусть

вышлют маленького еврея, вышлют большого — пусть! Дума там какая-то заседает — пусть. Хочет, пусть заседает, не хочет — не надо. Гегечкори там разный, или Гучков, или еще кто — пусть себе живут. А не хотят — могут умереть. И Финляндию пусть по кусочкам растащат — не важно.

И спросил я сам себя:

— А интересно знать — что же важно?

И правдивая мысль ответила:

— Во-первых, ничего нет на свете важного, дорогого, а во-вторых, зачем ты говоришь «интересно»?.. Тебе ведь ничего не интересно... Зачем же произносить пустые звуки?

И почувствовал я, что шагаю через границу.

— Баста, — равнодушно прошептал я. — Труп. Ну и труп. Ну и наплевать.

Вот как я сделался трупом.

* * *

Я одевался, когда пришел Тихоходов.

— Здравствуй, — сказал я. — А знаешь, маленького еврейчика из Москвы высылают. От матери отнимают.

— Да, — ответил Тихоходов. — Акушерка. Администрация высылает.

— Что ты на это скажешь?

— Да что... Придется ему уехать.

— А какого ты мнения на этот счет? — спросил я, подозрительно глядя на него.

— Да какого же мнения: высылают, и пусть себе высылают.

— А тебе ничего?

— А мне что — не меня же высылают!.. Будут высылать — тогда и закричу.

— Может, и тогда не закричишь?

— Может, и не закричу.

— Труп, — одобрительно сказал я.

— Что?

— Труп. Нашего полку прибыло. Трупы мы с тобой, Тихоходов. Ты и я.

— Неужели? — прошептал он. — Вдвоем страшно. Мало нас.

— Может быть, и еще есть.

Я позвонил. Вошел слуга.

— Слушай, Павел... знаешь, новый закон вышел. Если ты будешь нехорошо вести себя — я имею право тебя высечь.

— Что ж, — равнодушно сказал Павел. — Секите.

— Разве тебе не обидно?

— Что ж там обижаться. Пусть!

— Труп, — засмеялся я. — Ступай. Тихоходов, пойдем на улицу.

Вышли на улицу. Сели на извозчика.

— Ну, ты! Пошевеливайся.

Извозчик обернулся к нам, и его провалившийся рот благодушно засмеялся.

— А чего же шевелиться?

— Как чего? Плохо будешь ехать — мы тебя оштрафуем.

— Тихо буду ехать — оштрафуете, скоро буду ехать — оштрафуют. Для нас все едино.

— Труп, — радостно сказал я. — Нас много, нас много.

На улицах кипела жизнь. Мимо нас пробегали солидные трупы, спешащие на службу, и элегантные, шикарно одетые трупы в модных шляпах и легких весенних платьях. Эти трупы были женские, и они гуляли. Проносились маленькие утомленные трупики с ранцами за плечами, а за ними плелись страшные, зеленые трупы целой вереницей с досками за плечами. На досках было написано: «Сегодня решительная борьба».

Все — и солидные трупы, и шикарные трупы и дети — делали вид, что они живые, и поэтому все с натугой разговаривали, смеялись. Но всем было страшно, потому что каждый был уверен, что только он один труп, а кругом все живые.

Никто не догадывался.

А мы с Тихоходовым знали и смеялись.

* * *

Первое время нас забавляло это стремительное шествие веселых, преувеличенно живых трупов, но потом мы утомились.

Свернули в тихую улицу.

— Теперь мне интересно, — сказал Тихоходов, — остался ли в городе кто-нибудь в живых?

— Во-первых, тебе это неинтересно, а во-вторых, никого, вероятно, нет в живых.

Но я ошибся. Сейчас же мы увидели живого человека.

Это был постовой городовой — единственный, который не напоминал собой унылого трупа.

Он веселился: проходивший парень сдернул с головы торговки платок и надел его на себя — городовой расхохотался; дворник окатил из рукава водой задремавшего извозчика — это страшно развеселило городового. Но смех его звучал одиноко: торговка машинально сдернула с головы парня платок и надела на себя, а парень равнодушно пошел дальше. Обливающий дворник и обливаемый извозчик были каменно-молчаливы и апатичны.

И только гулко и одиноко смеялся городовой.

— Жутко ему, поди, среди покойников, — пожалел его Тихоходов.

— Сторож при морге, — покачал я головой. — Не сладко им. Тихоходов! Зайдем в эту мертвецкую, где кормят.

Мы зашли в ресторан, а потом, когда наступил вечер, поехали в анатомический театр смотреть какой-то фарс, весело разыгранный несколькими разложившимися трупами.

Так теперь и живем. Ничего, пустое.

ДЕШЕВАЯ ЖИЗНЬ

Сим победиши...

— ...Что это за бурда? — удивленно спросил муж, отодвигая тарелку с супом.

— Бурда? — обиженно воскликнула жена. — Это прекрасная вещь! Суп из сена. Очень питательное меню, и, кроме того, в нашем бюджете получается поразительная экономия: 95 процентов! В крестьянском быту это питание незаменимо.

— Так то — в крестьянском, — возразил муж, осторожно размешивая ложкой суп. — А я зарабатываю двадцать тысяч в год!

— Мы должны подавать пример... Надо же кому-нибудь начать!

Муж вздохнул и печально спросил:

— А что будет на второе?

— На второе? Бифштекс из жареных кочерыжек. К нему салат: кожуха картофеля в уксусе; потом сладкое: компот из моркови с медом. Это уж я тебя побаловать хотела.

— Спасибо...

— Кстати, знаешь сколько стоит сегодняшний обед? Шесть копеек с персоны. Суп полторы копейки, жаркое две с половиной и сладкое две копейки. И еще прекрасная сторона моей системы питания: желудок не ощущает никакой тяжести.

Муж проглотил сразу пару жареных кочерыжек и подтвердил:

— Что верно, то верно.

* * *

С утра муж зашел в кухню.

— Что сегодня на обед?

— Щи из бурьяна, курица из жареных кочерыжек и пломбир из конопляных выжимок. Ты чувствуешь какую-то такую легкость?

Муж признался:

— Какую-то такую? Да, чувствую. А на ужин что будет?

— Я думаю, что-нибудь полегче: чай из укропа, да по паре бутербродов с паюсной икрой из давленого чернослива. копейки на две... А то и так сегодня обед в шестнадцать копеек вскочил.

Когда обедали, муж, повесив голову, молчал и лишь изредка вздыхал.

— Чего ты вздыхаешь? Ведь тебе должно быть легко!

— Мне легко...

— Ты, может, обременил свой желудок чем-нибудь лишним, а? Ну, признайся!

Муж сконфузился и стал растерянно водить пальцем по пустой тарелке.

— Я... немножко... Ночью... Сегодня... Из тюфяка морской травы клочок вытащил и съел!..

— В уме ты?! Морская трава стоит рубль с четвертаком фунт, а он себе пиры устраивает. Умоляю тебя — не делай этого больше! Ну, будет Рождество —тогда можно себе

позволить. Наделаем колбас из морской травы, поросенка из дубовых листьев изжарим...

Муж облизнулся и умолк.

* * *

На другой день он зашел в кухню с запыленной пустой бутылкой в руках.

— Что я нашел! — радостно вскричал он. — Бутылка из-под ямайского рома, оплетенная соломой! Можно ободрать солому и сварить из нее пунш.

— Какая ты умница! — восхищенно воскликнула жена. — Дай я тебя поцелую.

За обедом муж прищурил глаза и лукаво сказал:

— А я своей маленькой женке сюрприз приготовил!

— Какой?

— У нее будет скоро варенье из стула.

— Что ты говоришь?

— Да-с! Я на чердаке нашел соломенный стул... Сиденье у него все равно продавлено, так что сидеть нельзя, а камышовые ножки расшатались! Из соломы сварим варенье, а камыш пойдет на спаржу!

— А я тебе тоже сюрприз приготовила, — ласково сказала жена. — Папиросы! Твои, набитые табаком, стоят бешеных денег, а я сделала практичнее: накрошила старый кокосовый половичок из передней и набила им гильзы.

Муж громко вскрикнул и прослезился с примесью восторга.

* * *

В понедельник супруги поспорили. Муж громко возмущался, жена робко оправдывалась.

— Это ни на что не похоже! — кричал муж. — Мы живем не по средствам!! Вчера обед опять обошелся в одиннадцать копеек! У меня не денежная фабрика, матушка! Нужно было бы это сообразить!

— Но я... тебя же хотела вчера побаловать. Правда, может быть, мне не следовало жарить индейки из свеклы, но зато я сэкономила на щах, в которые вместо сена положила дубовых опилок.

— Я в эти мелочи не вмешиваюсь, но прошу тебя запомнить и пре-ду-преж-да-ю, что в долги я влезать не желаю! Кстати, можешь завтра на сладкое ничего не покупать;

я нашел в одной старой книге засушенную чайную розу и два левкоя. Сделай из них гурьевскую кашу! Вообще, матушка, должен заметить, что ты могла бы экономить там, где это возможно. В хозяйстве всегда можно найти много ненужных вещей, которые с успехом заменят нам осточертевшую зелень. Отломанная фортепьянная клавиша, коробочка из-под пилюль, зубная щетка, старая камышовка для выбивания пыли из ковров...

— Камышовка, — угрюмо проворчала жена, — та же зелень...

— Да, положим...

* * *

— Зачем ты покупаешь себе галстуки? — поморщилась жена. — И дорого, и обременяет желудок...

— Какой желудок?

— То есть, я хотела сказать, — шею. Обременяет шею. Гораздо легче и проще — возьми нарисуй на сорочке чернилами черный галстук и носи его на здоровье. Стоит не больше полкопейки.

— Это идея, — кивнул головой муж. — Кстати, я недавно прочел, что газеты и вообще бумага превосходно согревают. Я придумал для тебя очень удобный костюм — из газетной бумаги. Стоит 7½ копейки. Тепло и практично.

— Но... это некрасиво!!

— Красиво, милая, красиво. Вообще у женщины всегда есть тенденция разорять мужа на наряды. Ты подумай, какая экономия получится в крестьянском быту, если крестьянки начнут носить семикопеечные костюмы.

— Так то крестьянки...

— Пример, милая! Мы должны подавать пример... Я даже могу сделать тебе так: из утренних газет матинэ, из вечерних — изящный выходной наряд. В театр куда-нибудь или на вечер. Потом еще: ты имеешь крайне разорительную привычку вытираться по утрам одеколоном... Можно самому сделать очень практичный цветочный одеколон: настоять укроп на денатурированном спирте. Почти одно и то же, а стоит вместо рубля три с половиной копейки.

Жена промолчала. Все время до ужина (суп из обгоревших спичек и осетрина из ореховой скорлупы) ходила угрюмая, а ночью плакала.

* * *

— Ну вот, — сказал муж, одобрительно похлопывая жену по спине. — Эти газеты очень идут тебе. В особенности эта «Речь» на животе выглядит очень мило. Серьги можно сделать из разбитой бутылки («$\frac{1}{20}$ копейки), а шляпу из лопуха. Когда износишь — съедим. Ну, я пойду почитать газеты. Эй, Лукерья! Поди купи мне сегодняшнюю «Речь».

— Это еще что?! — вскричала жена. — На мне экономите, а сами тратитесь, как старый кутила?! Вам нужно читать газеты? Читайте их на мне! Это не только не стоит $\frac{1}{20}$ копейки — это ничего не будет стоить. Не смущайтесь, если я уже прочитана вами. Жена всегда должна интересовать мужа.

Муж скрипнул зубами, но сдержал себя и проворчал:

— Ну, повернись боком! Где у тебя тут фельетон?

Вечером, ложась спать, муж сказал:

— Ты просила у меня денег на туфли. Я придумал превосходные туфли из двух пустых коробок консервов. Коробки лежат на чердаке, а ножка у тебя такая маленькая, что они будут тебе как раз впору.

— Чтоб ты пропал! — прошептала жена.

Засыпавший муж переспросил:

— Что?

— Ничего. Надоел ты мне смертельно.

* * *

На другое утро муж уехал по делам. Приехал к обеду. Спросил:

— А туфли? Почему ты не в тех туфлях, которые я тебе придумал?

— Иди уж! — вместо ответа сказала жена. — Иди уж... обедать!!

Муж вышел в столовую и увидел на столе то, что и ожидал: несколько бутылок вина и пива, розовую прозрачную ветчину, коробку омаров, икру и дымящийся ароматный бульон из курицы с румяными пирожками на блюде.

ГЛУПЫЕ И УМНЫЕ

Я никак не могу забыть одного пустякового, пожалуй даже глупого, случая...

Однажды на репетиции моей пьесы, когда режиссер носился по пыльной сцене как ураган, актеры устало бродили из угла в угол с тетрадками в руках, а я кричал до хрипоты, стараясь внушить им, что играть нужно гениально, — в это время освободившийся скромный актер на вторые роли, слонявшийся с задумчивым видом за кулисами, подошел к премьеру и грустно сказал ему:

— Если вдуматься — какой это ужас!

— Что такое? — встревожился мнительный премьер, отрываясь от тетрадки.

— Лермонтов-то...

— Ну?!

— Умер 27-и лет, а? Убили... в самом расцвете жизни... А? Не ужасно ли!

— Ну так что?!

— Да вот я и говорю: стоит только вдуматься — какой это ужас!

— А убирайтесь вы к черту! Ну что вы лезете со всякой ерундой.

— Это Лермонтов, по-вашему, ерунда? — с горьким выражением в лице прошептал актер. — Нечего сказать, интеллигенция.

Тряся с огорченным видом головой, он подошел к режиссеру и сказал:

— Вдуматься если — какой ужас!

— Что?! Опять ролью недовольны? Ну, уж я, милый мой, и не знаю...

— Да нет, я не о том. Вы подумайте только, вдумайтесь в этот ужас: Лермонтов умер 27-и лет!! Об этом уже все забыли, с этим как-то странно примирились, но если так, на свежую голову...

— У вас не свежая голова, а глупая, — с досадой вскричал режиссер. — Чего вы от меня хотите?

— Я говорю: если вдуматься!! Двад-ца-ти се-ми лет от роду!! Ведь это ужас!..

— Да вам-то что такое? — родственник вы ему, что ли?-

— Нет, я не родственник, но ужасно то, что с этим уже все свыклись и никто не обращает внимания...

Подходил он и к премьерше, и ко мне.

— Простите, я занят, — пробормотал я.

— Да я от вас ничего не хочу. Но неужели вас, литератора, не ужасает тот факт, что такой гениальный поэт прекратился на 28-м году жизни. Что бы он мог дать еще! Господи! 27 лет! Умереть юношей!

На глазах его стояли слезы.

— Да вы что, — насмешливо спросил я. — Только сейчас об этом узнали?

— Нет, не сейчас, конечно. Но почему-то вспомнилось, и я в такой ужас пришел...

Подходил он и к суфлеру.

— Подумай-ка, Николаич... Какой ужас, а?

— Проигрался?

— Нет... А Лермонтов-то! На 28-м году жизни помер.

— Товарищи были?

— Что ты! Он несколько десятков лет тому назад помер.

— Так чего ж ты лезешь, идиот. Смотрите-ка, чего человек разнюнился? Мне подавать надо, а он...

Надоел всем этот странный слезливый актерик страшно. Подходил даже к бутафору и декоратору:

— Лермонтов-то!

— Ну?

— На 27-м году застрелили.

* * *

Недавно мне этот актерик вспомнился.

Я прочел газету, побледнел, закусил губу и побежал к своему знакомому Симеону Плюмажеву.

— Симеон! — сказал я, глядя на него влажными глазами. — Какой ужас-то: в Харьковской тюрьме повесили уголовного преступника за несколько часов до помилования, которое ожидалось всеми. И именно местные власти спешили его повесить до получения помилования. Виселицу строили наспех, и даже гроба не успели сделать. Подумай: так спешили, что не успели сделать гроба! Вешали тайком, а когда арестанты, услышав отчаянные крики казнимого (они тоже знали о помиловании), спросили, в чем дело, — им объяснили, что это кричит тифозный в бреду!!

— Ну? — удивленно поднял брови Симеон Плюмажев.

— Ты только подумай: спешили, чтобы успеть до помилования! Не успели гроба сделать!

— А чего ж они не купили готовый гроб, — удивился Плюмажев. — Я, конечно, понимаю: какой-нибудь глазетовый с кистями дорого стоит; а простой, некрашеный — да ведь ему красная цена 2 целковых.

— Да я тебе не о том говорю. Ты вдумайся: они спешили!

— Да уж, — покачал головой Плюмажев. — Поспешишь, людей насмешишь. У нас тоже в имении один повесился. Его сняли, а он кричит: водки! Настоящая русская натура.

Я вздохнул, отошел от Плюмажева и подошел к одному из его гостей.

— Читали? Насчет тюрьмы-то. Какой ужас! Я не могу думать без дрожи.

— Вы что же, родственник его были, что ли?

— Нет, так...

— «Так» только вороны летают, — пошутил гость. — А тифозный-то что ж... Так на самом деле и не кричал?

— Конечно! Это надзиратель сказал, чтобы успокоить арестантов.

— А ловко придумано, — пришел гость в восхищение. — Простой надзиратель, а какой шустрый...

* * *

Однажды я проезжал по Чернышеву переулку и снова увидел ту невероятную вывеску, о которой уже однажды писал, думая, что на мое указание кто-нибудь, кому подлежит, обратит внимание.

Именно: в Чернышевом переулке (угол Загородного) висит большая вывеска:

«Приготовительное училеще».

Снова я был возмущен таким безграничным цинизмом, таким разгулом безграмотности ведомства народного просвещения...

Приехал к Плюмажеву (у него снова были гости) и сказал:

— Прямо невероятно! Подумайте только: в центре Петербурга на фасаде училища, того самого, которое должно насаждать грамотность, висит вывеска: «Приготовительное училеще».

— Как? — прислушался Плюмажев.

— Учи-ле-ще!

— А как же, по-твоему?

Я отошел от него и обратился к даме, слушавшей меня сочувственно.

— Подумайте: у-чи-ле-ще. Ведь это символ нашей поголовной безграмотности.

— Да, да! Это они, значит, вместо «сч» поставили «щ». Положим, раньше так все писали: щасгье, щот.

Я отвернулся; поймал за пуговицу молодого человека.

— Подумайте, какой ужас!.. Какая поголовная безграмотность. Учи-ле-ще!

— Да вам-то что? Вот чудак: привязался к слову...

— Но ведь это не «мелочная» лавка, а именно храм грамотности.

— Да ведь от того никто не заболеет, если одна буква не такая. Не все же буквы перепутаны. Вот если бы эта вывеска была плохо прибита и на голову кому-нибудь упала — тогда нехорошо.

— Я вижу, — съязвил я, — что вы часто проходили под плохо прибитыми вывесками.

— Может быть, может быть, — простодушно согласился он. — Разве заметишь?

* * *

— Читали? — спросил я. — Какой ужас! Крестьяне, оказывается, усиленно пьют денатурированный спирт, и от этого часто умирают!

— Да ведь он дешевле, — рассудительно возразил Симеон Плюмажев.

— Дело не в том. А вы вдумайтесь, какой ужас: акцизное ведомство нарочно отравляет спирт особым способом, чтобы его не пили, так как он продается дешевле обыкновенного — а его именно поэтому и пьют.

— Так чего ж вы волнуетесь? Дешевле — значит экономия в крестьянском хозяйстве! Развивается благосостояние...

— Да ведь помирают!!

— А не пей; не будешь и помирать.

— Так ведь они этого не понимают... Неужели же поэтому их и морить, как глупых тараканов? И ужаснее всего, что

доктора не знают противоядия, потому что способ отравления спирта — секрет акцизного ведомства.

— Вы, значит, хотите сказать, что нужно удорожить денатурированный спирт?

— А ну вас!

— Так чего ж вы пристаете ко всем с вашим спиртом. Не с одним привяжется, так с другим.

* * *

И сердце мое ожесточилось...

* * *

Маленькая девочка, моя дочь, пришла ко мне сейчас в кабинет, таща за руку безголовую куклу и заливаясь горькими слезами.

— Ну, что еще?

— Борька...

— Что Борька?

— Его мама наказала, а он плакал, а мне сделалось жалко, а я взяла свои рукодельные ножницы — «На, Боренька, вырезывай картиночки», — а он взял ножницы и отрезал мою куклину голову.

— Ну? — сурово спросил я.

— Зачем он отрезал куклиную голову!..

— Да ведь не твою отрезал, а куклиную?

— А мне было его жалко, а я ему дала ножницы для картиночек, а он куклиную голову отрезал. Разве можно?

— Ты скажи мне, скверная девчонка, как к тебе попали ножницы?

— Мама подарила. Я ему для картиночек, а он куклу... голову...

— Так ведь кукле не больно, чего же ты плачешь, дурочка?

— Я его пожалела, дала ножницы, а зачем он голову отрезал...

— А по-моему, безголовая кула еще смешнее, — сказал я, заливаясь циничным смехом.

Она долго билась, стараясь убедить меня в том, что дело не в «куклиной голове», а в невероятном, чудовищном нарушении простой человеческой справедливости; что весь

ужас в том, что Борька растоптал ногами ее маленькое доброе доверчивое сердечко.

Но она не могла убедить меня.

Где же было это сделать ей — маленькому, беспомощному червяку, у которого и слов-то таких не было, которыми обладал я, взрослый очерствевший русский человек...

КОНЕЦ ЖУРНАЛИСТА

(*Сказочка*)

Однажды женщина обняла журналиста и сказала ему: — У тебя есть усы, и ты брюнет... Я люблю брюнетов с усами! Ты мне нравишься — я тебя съем!

Вырвался журналист из объятий, побежал...

Бежит, а навстречу ему Брешко-Брешковский идет.

— Какой приятный журналист бежит, — облизнулся Брешко. — Ты мчишься искрометными прыжками, словно сын знойного Туниса, под которым развернулась могучая пружина... Переплетемся с тобой — как гном Тюрингенских гор с золотистым леопардом загадочной Берберии, как стремительный скиф — с несокрушимым железным утесом... Ты мне нравишься — я тебя съем!

— Где тебе съесть меня, — сказал журналист, — женщина, которая брюнетов с усами любит, и то меня не съела...

Побежал дальше.

Повстречался с граммофоном.

— А, журналист! Я, брат, тебя съем! «Я вас ждала-а-а!..»

— Где тебе меня съесть... Женщина, которая брюнетов любит, меня не съела, Брешко меня не съел...

Бежит дальше.

А навстречу ему олеография с картины Юлия Клевера — громадная-прегромадная — так и ломит: белые деревья, снег и красное солнце заходит.

Стра-ашная.

— Стой! — как зарычит олеография с картины Клевера. — Я тебя слопаю!!

— Не слопаешь, — отвечает, запыхавшись, журналист. — Женщина, что брюнетов любит — не слопала, Брешко не слопал, граммофон не слопал — где же тебе слопать!

Побежал дальше, вдруг — на газету наткнулся.

— Чего расскакался? — усмехается газета. — Дело бы лучше делал, чем козлом скакать...

— Да какое же дело мне делать?

— А вот пиши, — говорит газета, — что в Думе толку нет, что октябристы иезуитствуют, что Пуришкевич скандалист, что успокоение наступило, а реформ не дают, что черносотенцы обнаглели, что евреи такие же люди, как и другие, что у нас бюрократический режим и что реакция снова поднимает голову...

Вздохнул журналист, сел писать. Все меньше и меньше делался...

Наконец сделался величиной с маковое зерно, а на самый конец пискнул — и вовсе исчез.

Проходил народ, заинтересовался.

— Кто пищал?

— Журналист. Газета тут журналиста слопала.

КРЕМЕНЬ

Перед маленькой, сухонькой женщиной с молитвенным выражением лица сидела пожилая толстая иоаннитка и благоговейно говорила:

— Деньги, матушка, от дьявола!

— Так, так... От дьявола, говоришь?

— От его.

— Поди ж ты!

— Ими он, злокозненный, смущает христианскую душу...

— Смущает?!

— Смущает. В грех, в блуд, в пьянство вводит...

Хозяйка всплеснула руками:

— Этакий ведь паршивец!

— То-то вот и оно. А ты, матушка, люди говорят, тысчонку в сундуке прячешь. Ты б ее отдала.

— Да кому же ее отдать, это дьяволово сотворение?

— Нам бы внесла... И благодати бы сподобилась.

— Это какой же такой благодати?

— Да разной. Мало ли...

— Оно-то правда, только одно меня смущает, коли они от дьявола, так что же я сделаю — себя-то очищу, благодати сподоблюсь, а вас под дьявола подведу.

Гостья пожевала губами.

— Ну не всю тысячу — восемьсот можно дать.

— Да что ж... Оно бы можно восемьсот — так ведь двести все равно останется, душеньку мою грешную смущать.

— Вот видишь! Тысячу бы и отдала.

— Милые вы люди! Неужто я ж вас захочу под монастырь подвести: отдать их вам, а потом чтобы вы от дьявола искушенье имели.

— А мы тогда вот что сделаем... Мы их, матушка, на процентные бумаги переведем...

— Нешто тогда от них вреда не будет?

— Ни-ни. Какой же вред, ежели процентными бумажками.

— Ведь вот поди ж ты! Всякую мудрость знать сподобились. Уж божьему человеку всегда такое от Бога пошлется, чтоб понять: как и что. А только ведь я свою тысчонку и сама бы могла на бумаги перевести. А?

— Можешь и сама. Уж мы все приемлем по христианскому смирению — кредитками ли, процентными ли...

— Чего ж там — приемлем... Раз дьявольской печати на них нет — могут и у меня полежать.

Гостья вздохнула:

— Так-то так...

— То-то и оно.

— А все-таки, если жалко тебе их для божьего дела, благодати не получишь.

— Да куда мне с ней на всю тысячу! Ведь это выйдет целая уйма благодати. Баба же я, будем говорить, мелкая, тихая... Куды мне столько.

— Грехи!.. — сокрушенно прошептала собеседница хозяйки и обвела взглядом комнату.

Увидела на шкафу самовар и сказала:

— Чай-то пьешь! Дьяволово зелье!! Нечистым духом выращенный злак из живота блудницы!

— Да неужто?!

— Истинный бог! Дьявол посеял на людскую слабость.

— Гм... Этакий мошенник!

Гостья помолчала.

— Нехорошо держать такую вещь в доме. Хочешь сподобиться благодати духа свята — избався от него.

— Да как же мне от него избавиться?

— Отдала бы нам на скит. Божье дело!

— Нешто это возможно — отдать самовар на ваш скит? Я избавлюсь от него — спасу свою душу, а вы опоганитесь.

— Устав церковный гласит, что, ежели окропить машину дьяволову четверговой водой, всякая нечисть от нее отходит.

— Мерси вас.

— Видишь!.. Самоварчик-то... сегодня можно забрать?

— Как забрать?

— Яко жертвенный дар ко престолу...

— Экая ты какая! Да зачем же мне его отдавать, ежели он по окроплении мне безопасно служить может?

— Ну ладно, — саркастически сказала гостья. — Самовар окропишь — зелье чайное по-прежнему от дьявола останется.

— Ты бы, матушка, порылась в церковном уставе: может, и к чаю есть какое окропление?

Гостья встала.

— Пойду я. А только если хочешь благодать заслужить, пожертвовала бы что-нибудь божьим угодникам от щедрот вдовьих.

— Это можно. Так бы и сказала. Вот тебе, помолись за здравие рабы божьей Лизаветы.

— Да ты что ж, мать моя, гривенник-то мне в руку суешь? Шутки шутишь? Да я на одного извозчика, к тебе едучи, семь гривен истратила.

Хозяйка развела руками:

— Убыток, значит. Что делать... не знаешь, где потеряешь, где найдешь.

И когда гостья вышла, хлопнув дверью, хозяйка крикнула ей вслед:

— Я сама, милая моя, на Песках пятнадцать лет в гадалках состояла. Дураками и без меня пруд пруди!

СЛУЧАЙ С РЕВИЗОРОМ

В город Заворуев приехала сенаторская ревизия.

Ревизор из гостиницы, где остановился, позвонил первым долгом в управление полицеймейстера.

— Алло! Центральная?

Центральная молчала.

— Алло! Алллло!!!

Центральная не отвечала.

— Эй, центральная! — ревел раздраженный ревизор. — Если вы сию секунду не ответите, я сейчас же вызову вашего начальника и уволю вас в 24 часа. Центральна-а-ая!!

Коридорный подошел к ревизору и сказал:

— Да не звоните. Все равно ведь... Ее украли.

— Центральную? — ужаснулся ревизор.

— Нет, проволоку.

— Гм... Как же мне вызвать полицеймейстера? Вот что... Позовите мне постового городового.

— Его нет.

— Украли?

— Нет, но городовые у полицеймейстера сад перекапывают.

— Так достаньте мне автомобиль, и я...

— Автомобиля нет.

— Что ж... он тоже у полицеймейстера сад перекапывает?

— Нет-с. Но последний автомобиль вчера конокрады украли.

— Конокрады?.. Да какие же они конокрады, если автомобиль угнали.

— Да лошадей-то уже всех перекрали, за автомобиль взялись.

— Автомобилекрады?

— Да-с...

Ревизор покачал головой и отправился пешком в управление полицеймейстера.

— Где полицеймейстер?

— Их нет, — сказала баба, мывшая пол в пустынном управлении.

— Где же он?! Конокрады его украли или сад перекапывает?

— Нет-с. На службе они.

— Где же?

— В холодную пошел, арестантов по мордасам лупить.

— За что?

— Не попадайся.

С трудом разыскал ревизор полицеймейстера.

— Здравствуйте. Позвольте ваши книги.

Полицеймейстер побледнел.

— Ей-Богу, я их не брал, честное слово. На что они мне... Мне чужого не надо.

— Да нет, не то: я спрашиваю ваши полицейские книги, в которых записывается расход разных сумм.

— А! — сказал, приободрившись, полицеймейстер. — Сердюков! Позови заведующего канцелярией.

Пришел жирный угрюмый человек.

— Вот, — сказал ревизор. — Насчет расходуемых на содержание полиции сумм...

Угрюмый человек упал на колени.

— В глаза не видел! Отсохни руки, если хоть копеечку взял. Маковой росинки во рту не было.

— Что вы... успокойтесь! Я не о том. Ведь по полиции были какие-нибудь расходы?

— Были! — подхватил полицеймейстер. — А вот ей-Богу же были. Целая уйма была.

— Ну, вот... Вы эти расходы куда-нибудь записывали?

— А как же! Сколько раз.

— Ну, вот и прекрасно... Где же эти книги?

— В самом деле, — подхватил полицеймейстер. — Где же книги?

— Их нет, — улыбнулся угрюмый человек.

— Где же они? — спросил ревизор. — Может, они сад у полицеймейстера перекапывают, или арестантов в холодной по мордасам бьют, или их конокрады угнали?

— Вот именно, украли.

— Кто же?

— Книгокрады. И совсем недавно. Какой-то человек пришел. «Это что такое, — спрашивает, — книги?» Схватил и убежал.

— Схватил и убежал? Экая жалость. А где ваши городовые?

— А мы сейчас... Эй, Сердюков!

Явился Сердюков.

— Вот городовой, — отрекомендовал полицеймейстер.

Сердюков повалился ревизору в ноги и заплакал.

— Ни в чем не виновен, — вскричал он. — Я только до его затылка дотронулся, а он — трах и помер.

— Кто?

— Который без пашпорта.

— Это все после, после... А вот, нам в Петербург писали, что у вас тут развито взяточничество?

— У нас? — удивился полицеймейстер. — Вот подлец Терентеев... Таки пожаловался!

— Терентеев? Кто такой?

— Тут один есть...

— Позовите-ка сюда Терентеева.

Послали за Терентеевым. Когда он явился и увидел ревизора, то заплакал и сказал:

— Погода была точно плохая, дождливая, а суконцо хорошее.

— Что вы! Успокойтесь... Какое суконцо?

— Которое я ставил городовым на шинели. В хорошую погоду ему бы сносу не было. А плохая... известно... шести дён не прошло... Говорил я этому дураку Оськину.

— Позвать Оськина.

Прибежал запыхавшийся Оськин.

— Вот это, — сказал Терентеев, — мой компаньон Оськин.

— Пошел к черту! — воскликнул Оськин. — Сам на постройке моста десять тысяч украл, да на меня хочешь...

— Нет, — сказал ревизор. — Мы насчет городовых...

— Я не крал! — возразил Оськин. — Действительно, убежище для престарелых городовых строил... Но красть?.. Правда, те восемь тысяч, которые у меня в несгораемом шкафу лежат, — от вывозки мусора с постройки остались... Да ведь я их потому и держу, чтобы не сгорели.

— Гм... Вот что... Я принужден буду сейчас поехать произвести выемку этих денег и документов. Позовите мне извозчика! Понятых пригласите!

Через минуту в управление вбежал извозчик и свирепо закричал:

— Это что же? За одну старуху да два раза брать? Извините-с. Что ж это нынче, выходит, раздавленные старухи так вздорожали, что к ним и приступу нет? Околоточному дал, приставу дав...

— Тссс! — сказал полицеймейстер. — Молчи, дурак!.. Отвезешь этого барина. Понятые пришли?

В этот момент вошли понятые.

— При чем же мы тут, — сказали они. — Мы не знаем. Только сели на него, дернули какую-то штучку, а он и по-

катись. Так мы-то как же?.. Не спрыгивать же на ходу. Мы знаем, что чужую вещь брать нельзя.

— Какую? — удивился ревизор.

— Да автомобиль же. Мы его не брали. Это он нас увез. Другие бы еще пожаловались на хозяина, а мы молчим.

— Значит, это вы украли автомобиль?

— Зачем нам автомобиль красть? Разве можно такое делать. Мы конокрады. Спросите даже у братьев Завирухиных... Купцы врать не будут; вместе работаем.

— Позвать Завирухиных!

Через час густая толпа наполнила управление полицеймейстера. Много лиц расположилось даже на ступеньках лестницы и на улице.

Сначала все держались робко, а потом разговорились. Стали пересмеиваться...

Ревизора окружила большая толпа. Все кричали, галдели, так что нельзя было разобрать ни одного слова.

Из толпы вышел седовласый купец, перекрестился и подал ревизору пакет:

— Десять тысяч.

— Для чего?

— Взятка.

— Как вы смеете! — крикнул ревизор. — Я не беру взяток!

— То есть... как же это так?

— Так — не хочу!

— Господа! — сказал полицеймейстер. — Ввиду такого поступка господина ревизора, я принужден буду арестовать его. Он отказывается? Хорошо-с. Он за это ответит. Завтра я назначаю над ним суд!..

Изумленного, растерянного ревизора схватили и куда-то повели.

Ночь ревизор провел плохо... Неизвестность мучила его.

Ворочаясь с боку на бок на жесткой койке тюремной камеры, он думал:

— Боже мой! Что-то со мной будет? Что грозит мне но закону за то, что я не беру взяток? Бедная моя матушка... Знаешь ли ты, что твой сын преступник? Воспитывала ты его, думала сделать из него человека, а он — накося!..

И рыдания терзали ревизорову грудь.

Утром ревизора повели судить. На пути его стояла большая толпа горожан, провожавшая ревизора свистками и угрожающими криками.

— Кровопийца! — ревели горожане. — Жулик! Взяток не хотел брать?! Покажут тебе!

— Ишь ты! А по виду никак нельзя сказать, что мошенник.

— Да уж эти самые...

— И не говорите. Сегодня взятки не взял, завтра подлога не сделал, послезавтра, смотри, гербовый сбор оплатил, — что же это такое?

Какой-то человек с добрым лицом заметил:

— Может, он в состоянии аффекта это сделал?

— Чего-с?

— Взятку-то... Может, он ее не взял в состоянии умоисступления.

— Эге! — сказали в толпе наиболее подозрительные. — Заступаешься? Не из одной ли ты с ним шайки?

Человек с добрым лицом побледнел и сказал:

— Еще что выдумаете! Я скромно подделываю духовные завещания, кушаю свой кусок хлеба, но все-таки, ежели человек попался, нужно исследовать причины... Может, у него наследствен...

Кто-то ударил человека с добрым лицом по этому доброму лицу, и толпа снова набросилась на ревизора с бранью...

Конвой оттеснил толпу от преступника и благополучно довел его до здания публичного дома, где был наскоро организован суд.

Председателем суда единогласно выбрали поджигателя Аверьянова, членами суда Митю Глазкина — альфонса, Кокурикина — конокрада и Перелраева — газетного шантажиста. Прокурором вызвался быть письмоводитель пристава, составивший себе имя тем, что однажды содрал взятку с самого пристава. Одним словом, ревизора судил весь город.

Адвокат был по назначению от суда. Он не верил в оправдание подзащитного, но этика пересилила в нем вопрос личного самолюбия.

С обвинительным актом произошла досадная задержка... Когда секретарь собрался прочесть его, оказалось, что обвинительный акт украден.

— Отдайте, граждане, — говорил председатель. — Ну, на что он вам? Я понимаю, если бы это еще было пальто,

ну, я бы и сам украл, — его, по крайней мере, можно носить. А то — глупейшая исписанная бумажка... Право, отдайте.

— По-моему, если эта бумажка не нужная, то ее украл какой-нибудь идеалист семидесятых годов, — высказал мнение альфонс.

— А по-моему — он не идеалист, а дурак, — с досадой сказал председатель.

Из публики кто-то возразил:

— Сам ты дурак.

— Прошу соблюдать тишину! — крикнул председатель. — Где мой колокольчик? Господи! Только сейчас тут стоял, и уже исчез. Братцы, отдайте... Кто взял?

Член суда Переграев посмотрел на потолок и сделал вид, что не слышал вопроса.

— Ты взял, Переграев?

— Очень нужно, — вздернул плечами Переграев.

Грудь его при этом звякнула.

— Да черт с ним, с колокольчиком. Словно дети какие-то. Тянут, тянут... Говори, прокурор.

— Господа! — сказал прокурор. — Моя речь будет не длинна. — Пусть всякий из вас станет на место купца, предложившего преступнику взятку, и пусть всякий спросит себя: как бы он чуствовал, если бы то лицо, которому предлагается взятка, не взял ее? Помимо того, что отказ от взятки означает нежелание сделать дело так, как желает этого дающий, значит, провал всего задуманного дающим предприятия, значит, крушение надежд дающего и подрыв развития промышленности и торговли. Скажу проще: сегодня этот субъект отказался взять взятку, завтра он бросит пить и курить, а послезавтра — застрахует дом и позабудет поджечь его. До чего же так можно дойти? Я думаю, господа присяжные, что совесть ваша подскажет вам, как оценить поступок преступника... Я же требую для него, для этого выродка, представителя целой цепи предков-дегенератов — наивысшей меры наказания. Я думаю, что вам даже не придется долго совещаться. Сейчас, кажется, два час... Э, черт! Где же мои часы? Ну, и публика... Я кончил!

Встал адвокат.

— Милостивые государи! Моего клиента обвиняют в том, что он не взял взятки... Кто из вас без греха — пусть первый бросит в него камень.

— Нахальство! — крикнули судьи. — Наглость.

— Еще раз спрашиваю: кто из вас без греха? Вот вы, г. председатель, всегда брали взятки?

— Что за вопрос? — смутился председатель. — Конечно, всегда.

— Да? — ядовито прищурился прокурор. — А сейчас... Берете?

— Это разница! Мне никто не предлагает, а ему прямо в руки совали.

— Да? А хотите, я предложу вам взятку, и вы откажетесь...

— Ни за что!

— Даже если это будет пощечина?

— Гм... Это разница. То пощечина, а то деньги.

— Так вот, — воскликнул адвокат, — для моего подзащитного деньги и были пощечиной. Почему вы не можете себе представить, что бывают такие болезненные, надломленные натуры, которые не могут жить и чувствовать, как мы с вами, которые, может быть, и взяли бы взятку, да их тошнит от этого... Да! Я согласен, что, с юридической стороны, мой подзащитный совершил преступление, но, господа судьи, ведь есть же у вас сердце? Почем вы знаете, какое ужасное детство, какие унижения пришлось пережить в своей жизни этому неудачнику, чтобы он мог отказаться от взятки. Да и полно... Отказался ли он? Не взял ли он взятки другим каким-нибудь образом. Скажите, обвиняемый... Вот вы провели ночь в тюрьме... Вы, так сказать, воспользовались помещением и пищей... Вы, конечно, не заплатили за это, пользуясь своим официальным положением. Не есть ли это бесплатное пользование благами жизни — замаскированная взятка?

— С чего вы взяли, что я не заплатил? — возразил ревизор. — Тюремный сторож сегодня же взял с меня десять рублей. Прямо из рук выхватил.

— Кто вас за язык тянет, — прошептал адвокат. — Вот, господа судьи! Из того, что мой подзащитный мог бы умолчать об этом и выставить себя взяточником с самой выгодной стороны, но не воспользовался этим случаем, — не вытекает ли отсюда, что мой подзащитный — просто дурак. А разве дураков судят? Их пожалеть нужно. Посмотрите на это тупопростодушное лицо, на эту младенческую наивность, и вам станет жалко его до слез. У меня, по крайней мере, слезы на глазах... Смотрите, я утираю их платк... О, черт!

Где мой платок? Кто его взял? Вот ловкие ребята. Послушайте! Подсудимый... вы не брали... А! Что это у вас из кармана торчит?

И адвокат выхватил из кармана ревизора свой платок и взмахнул им в воздухе.

— Вот его оправдание! Человек, который сегодня украл платок, завтра возьмет взятку. Господа судьи. Он уже начал исправляться. Дайте же ему возможность исправиться совсем!!

— Да я не брал вашего пла...

— Тсс!.. Молчите вы, глупец. Не все ли вам равно?.. Итак, господа судьи, ждем вашего слова!

И, посовещавшись немного, суд под общие аплодисменты вынес приговор:

— Оправдан! Отдать его на попечение Ильи Кокуркина, конокрада, впредь до полного исправления.

Все поздравляли ревизора. Адвокат пожал ему руку, потом одной рукой потрепал по плечу, другой — незаметно вытащил из ревизорова кармана бумажник и сказал:

— О гонораре не будем говорить. Для меня важнее всего самолюбие, а деньги — вздор.

ХЛОПОТЛИВАЯ НАЦИЯ

Когда я был маленьким, совсем крошечным мальчуганом, у меня были свои собственные, иногда очень своеобразные, представления и толкования слов, слышанных от взрослых.

Слово «хлопоты» я представлял себе так: человек бегает из угла в угол, взмахивает руками, кричит и, нагибаясь, тычется носом в стулья, окна и столы.

«Это и есть хлопоты», — думал я.

И иногда, оставшись один, я от безделья принимался хлопотать. Носился из угла в угол, бормотал часто-часто какие-то слова, размахивал руками и озабоченно почесывал затылок.

Пользы от этого занятия я не видел ни малейшей, и мне казалось, что вся польза и цель так и заключаются в самом процессе хлопот — в бегстве и бормотании.

С тех пор много воды утекло. Многие мои взгляды, понятия и мнения подверглись основательной переработке и кристаллизации.

Но представление о слове «хлопоты» так и осталось у меня детское.

Недавно я сообщил своим друзьям, что хочу поехать на Южный берег Крыма.

— Идея, — похвалили друзья. — Только ты похлопочи заранее о разрешении жить там.

— Похлопочи? Как так похлопочи?

— Очень просто. Ты писатель, а не всякому писателю удается жить в Крыму. Нужно хлопотать. Арцыбашев хлопочет. Куприн тоже хлопочет.

— Как же они хлопочут? — заинтересовался я.

— Да так. Как обыкновенно хлопочут.

Мне живо представилось, как Куприн и Арцыбашев суетливо бегают по берегу Крыма, бормочут, размахивают руками и тычутся носами во все углы... У меня осталось детское представление о хлопотах, и иначе я не мог себе вообразить поведение вышеназванных писателей.

— Ну что ж, — вздохнул я. — Похлопочу и я.

С этим решением я и поехал в Крым.

* * *

Когда я шел в канцелярию ялтинского генерал-губернатора, мне казалось непонятным и странным: неужели о таком пустяке, как проживание в Крыму, нужно еще хлопотать? Я, православный русский гражданин, имею прекрасный непросроченный экземпляр паспорта — и мне же еще нужно хлопотать! Стоит после этого делать честь нации и быть русским... Гораздо выгоднее и приятнее для собственного самолюбия быть французом или американцем.

В канцелярии генерал-губернатора, когда узнали, зачем я пришел, то ответили:

— Вам нельзя здесь жить. Или уезжайте немедленно, или будете высланы.

— По какой причине?

— На основании чрезвычайной охраны.

— А по какой причине?

— На основании чрезвычайной охраны!

— Да по ка-кой при-чи-не?!!

— На осно-ва-нии чрез-вы-чай-ной ох-ра-ны!!!

Мы стояли друг против друга и кричали, открыв рты, как два разозленных осла.

Я приблизил свое лицо к побагровевшему лицу чиновника и завопил:

— Да поймите же вы, черт возьми, что это не причина!!! Что — это какая-нибудь заразительная болезнь, которой я болен, что ли. ваша чрезвычайная охрана?!! Ведь я не болен чрезвычайной охраной — за что же вы меня высылаете?.. Или это такая вещь, которая дает вам право развести меня с женой?! Можете вы развести меня с женой на основании чрезвычайной охраны?

Он подумал. По лицу его было видно, что он хотел сказать:

— Могу.

Но вместо этого сказал:

— Удивительная публика... Не хотят понять самых простых вещей. Имеем ли мы право выслать вас на основании охраны? Имеем. Ну, вот и высылаем.

— Послушайте, — смиренно возразил я. — За что же? Я никого не убивал и не буду убивать. Я никому в своей жизни не давал даже хорошей затрещины, хотя некоторые очень ее и заслуживали. Буду я себе каждый день гулять тут по бережку, смирненько смотреть на птичек, собирать цветные камушки... Плюньте на вашу охрану, разрешите жить, а?

— Нельзя, — сказал губернаторский чиновник.

Я зачесал затылок, забегал из угла в угол и забормотал:

— Ну, разрешите, ну, пожалуйста. Я не такой, как другие писатели, которые, может быть, каждый день по человеку режут и бросают бомбы так часто, что даже развивают себе мускулатуру... Я тихий. Разрешите? Можно жить?

Я думал, что то, что я сейчас делаю и говорю, и есть хлопоты.

Но крепкоголовый чиновник замотал тем аппаратом, который возвышался у него над плечами. И заявил:

— Тогда — если вы так хотите — начните хлопотать об этом.

Я с суеверным ужасом поглядел на него.

Как? Значит, все то, что я старался вдолбить ему в голову, — не хлопоты? Значит, существуют еще какие-то другие загадочные, неведомые мне хлопоты, сложные, утомительные, которые мне надлежит взвалить себе на плечи, чтобы добиться права побродить по этим пыльным берегам?..

Да ну вас к...

Я уехал.

* * *

Теперь я совсем сбился:

Человек хочет полетать на аэроплане.

Об этом нужно «хлопопать».

Несколько человек хотят устроить писательский съезд.

Нужно хлопотать и об этом.

И лекцию хотят прочесть о радии — тоже хлопочут.

И револьвер купить — тоже.

Хорошо-с. Ну, а я захотел пойти в театр? Почему — мне говорят — об этом не надо хлопотать? Галстук хочу купить! И об этом, говорят, хлопотать не стоит!

Да я хочу хлопотать!

Почему револьвер купить — нужно хлопотать, а галстук — не нужно? Лекцию о радии прочесть — нужно похлопотать, а на «Веселую вдову» пойти — не нужно. Откуда я знаю разницу между тем, о чем нужно хлопотать, и — о чем не нужно? Почему просто «О радии» — нельзя, а «Радий в чужой постели» — можно?

И сижу я дома в уголке на диване (кстати, нужно будет похлопотать: можно ли сидеть дома в уголке на диване?) — сижу и думаю:

«Если бы человек захотел себе ярко представить Россию — как она ему представится?»

Вот как:

Огромный человеческий русский муравейник «хлопочет».

Никакой никому от этой пользы нет, никому это не нужно, но все обязаны хлопотать: бегают из угла в угол, часто почесывают затылок, размахивают руками, наклеивают какие-то марки и о чем-то бормочут, бормочут.

Хорошо бы это все взять да изменить...

Нужно будет похлопотать об этом.

ТЯЖЕЛОЕ ЗАНЯТИЕ

Недавно в Думе какой-то депутат сказал речь приблизительно следующего содержания:

— Я не говорю, что нужно бить инородцев, вообще... Поляков, литовцев и татар можно и не бить. Но евреев бить можно и нужно — я удивляюсь, как этого не понимают?![*]

---

[*] Подлинные слова, сказанные Марковым 2-м с трибуны III Думы.

Тогда же многие заинтересовались — как, каким образом депутат мог додуматься до сказанного им? Многие изумлялись:

— Что это такое? Как человеческая голова может родить подобную мысль?

Вот как.

Однажды депутат не пошел в Думу, а остался дома и сидел в кабинете злой, угрюмый, раздражительный.

— Что с тобой? — спросила жена.

— Речь бы мне нужно сказать в Думе. А речи нету.

— Так ты придумай, — посоветовала жена.

— Да как же — придумай! Вот сижу уже третий час, стараюсь, как ломовая лошадь, а голова все не думает!

— Удивительно! Как же это человеческая голова может не думать?

— Да так вот. Вот сижу и твержу сам себе: ну, думай же, черт тебя возьми... Придумывай речь. Ну! И тут же глядишь на обои — думаешь: какие красивые красные цветочки! Или на стол посмотришь: хороший, мол, стол. Дубовый... Двести рублей за него плачено. Тут же сам себя и поворачиваешь: да ты о речи лучше думай! И думаешь: «Речь» — газета такая есть. Кадетская. Речь... Можно иначе сказать — разговор. Только речь короче — в ней четыре буквы, а в разговоре девять... Речь!! Имя существительное... Тьфу!

— А самой речи не выходит?

Депутат скорбно заморгал глазами:

— Не выходит. Не думается.

— А голова-то у тебя большая, — сказала задумчиво жена, смотря на мужа. — Тяжелая. С чего бы?

— Да черт ли в ней, что большая! Чего не надо — то она думает: о цветочках там, о столе. А как к речи обернешься — стоп, анафемская. Молчит.

— А ты поболтай ею так! Пошибче... Может, мозги застоялись.

Депутат покорно поболтал головой.

— Ну?

— Ничего. Молчит. Вот в окно сейчас посмотрелось и подумалось: что, если у того дома крышу снять — смешно будет или не смешно? Должно, смешно и странно.

Жена вздохнула и вышла из комнаты.

— Тише! — крикнула она детям. — Не мешайте папе. Ему нехорошо.

— А что с ним? — спросили дети.

— Голова молчит.

А в кабинете сидел отец опечаленных малюток, тряс тяжелой головой и бешено шипел:

— Да думай же, анафемская! Думай, проклятая.

К обеду вышел еще более злой, с растрепанными волосами и мутными остановившимися глазами.

Проходя в дверь, злобно стукнул головой о косяк и заревел:

— Будешь ты думать? Вот тебе! Думай, думай!..

Дети испугались. Заплакали.

— Что это он, мама?

— Не бойтесь. Это он голову разбудить хочет. Голова у него заснула.

После обеда несчастный депутат снова перешел в кабинет. Повернулся спиной к столу, к обоям, закрыл глаза.

Жена подходила, прислушивалась. Все безмолвствовало.

Около семи часов из кабинета послышался легкий стук и потом шорох, будто кто-нибудь перебирал камушки.

— Славу Богу! —перекрестилась жена. — Кажется, задумал.

Из кабинета доносилось легкое потрескивание, шорох и скрип.

— Что это скрипит, мама? — спрашивали дети, цепляясь за юбку матери.

— Ничего, милые. Не бойтесь. Это папа думает.

— Тяжело, небось? — в ужасе, широко открыв глаза, спросил малютка Ваня.

— А ты как полагаешь!.. Никогда в роду у нас этого не было. Чтобы думать.

Депутат стоял на трибуне.

— Говорите же! — попросил председатель. — Чего ж вы молчите?

— Сейчас, сейчас, — тяжело дыша, прошептал депутат. — Дайте начать... О чем бишь я хотел...

На лбу надулись черные жилы. Теплый пот струился по лицу, скатываясь за воротник.

— Ну же! Скорее.

— Сейчас, сейчас...

Глаза вылезли из орбит. Голова качнулась на шее, вздрогнула... послышался явственный треск, лязг и потом шорох, будто бы где-то осыпалась земля или рукой перебирали камушки. Что-то затрещало, охнуло... депутат открыл рот и с усилием проревел:

— Я не говорю, что нужно бить инородцев, вообще. Поляков, литовцев и татар можно и не бить... Но евреев бить можно и нужно — я удивляюсь, как этого не понимают!

Вот откуда взялась эта речь.

КАТОРГА

Однажды, развернув газету, бросил я на нее беглый взгляд, и сердце мое похолодело: мне показалось, что увидел я перед собой зияющую сырую отвратительную могилу, в которой мне придется пролежать до скончания веков.

Передовая газеты трактовала о «темных деньгах в союзе русского народа», другая статья заключала в себе благородное негодование по поводу непристойной выходки Пуришкевича с письмом Гучкову... Обозрение газет началось с таких строк:

— Иудушка Меньшиков скоро предложит просто взять, да и перебить всех евреев! По крайней мере, в последнем фельетоне он как будто намекает на это...

А «маленький фельетон» (написанный журналистом с большим, от Бога ниспосланным, дарованием) назывался: «Новые откровения Маркова второго».

Это было год тому назад. Это было три года тому назад. Это будет через год. Не окончится оно и через три года.

У меня явилось сильное желание закричать, завопить, вертясь волчком, наброситься на прохожих и искусать их.

Я чувствовал, что при слове «Пуришкевич» могу перервать сказавшему это слово глотку, а понятия «Гучков» и «Марков» делали меня больным изнурительной морской болезнью...

А в голове раскачивалась мысль:

«Так может продолжаться еще три года... И еще пять лет! И еще восемь лет!»

Российская песня пелась на испорченной пластинке граммофона: на спирали стерлась зарубка и игла без исхода

попала на одну и ту же окружность и визжит без конца одни и те же полтакта...

И пошел я к товарищам журналистам и сказал:

— Товарищи журналисты! Ведь вам скучно, противно, ведь вы с холодным отвращением пишете фельетоны и статьи о Пуришкевиче, Маркове втором, Меньшикове, Гучкове и других... Ведь это все людишки жалкие, мизерные, недостойные, в сущности, и одного фельетона в пятьдесят строк?!..

Тогда заплакали все и сказали:

— Правда!

— Давайте сразу вырвем этот отвратительный больной зуб. Давайте сразу утопим их: и Пуришкевичей, и Марковых, и других...

Если бы кто-нибудь видел свирепую радость журналистов, их отверстые хохочущие рты, их сверкающие глаза!

— В реку их! Топить, как ненужных щенят!!

И каждый схватил по Пуришкевичу, по Меньшикову, и с веселым улюлюканьем, порсканьем и гиком помчались все к реке.

На полдороге кто-то радостно засмеялся и сказал:

— То-то вздохнем свободно!.. То-то красивая жизнь настанет!

— Да здравствует свободное творчество!

Пуришкевичи и Меньшиковы боролись, визжали, но их крепко держали за затылки и, подбежав к реке, с криком пошвыряли в холодную воду.

— На дно! Ступайте к ракам на обед! Туда вам и дорога!

Один журналист стоял у берега и задумчиво, безмолвно смотрел на круги, расходящиеся по воде.

Потом обернулся к веселым братьям и сумрачно спросил:

— Ну, Марковых и Пуришкевичей мы утопили... Хорошо-с. А о чем же мы писать будем? О чем нам писать можно?

Все притихли. Открыли рты. Подумали.

Потом побледнели.

— Ах, черт возьми...

Через десять минут большинство журналистов, поснимав верхнюю одежду, бродили в воде и вылавливали Пуриш-

кевичей. Некоторые ныряли за тяжелыми, налитыми, как свинец, Марковыми и, поймав их, швыряли на берег.

— Держите, товарищи!

На берегу сидел вытащенный из воды мокрый, облипший Пуришкевич и, отплевываясь, мрачно ругался:

— Черти! Топите нас! Делают все так: с бухты-барахты... Чем у вас головы набиты?

— Да-с, — язвил покрытый тиной и грязью Меньшиков. — Они уж такие: сначала сделают, а потом думают.

— Тоже нынче, — хрипел Марков, — не очень-то расшвыряешься Марковыми! Тоже это понять бы нужно.

Журналисты, столпившись около них, угрюмо слушали эти разговоры.

Потом, когда Пуришкевичи и Марковы немного обсохли. — толкнули их бедные журналисты ногами и, подняв, погнали обратно в город:

— Идите уж, что ли... У-у... Нету на вас пропасти!!.

НАЦИОНАЛИЗМ

Купец Пуд Исподлобьев, окончив обед, отодвигал тарелку, утирал салфеткой широкую рыжую бороду, откидывался на спинку стула, ударял ладонью по столу и кричал:

— Чтоб они пропали, чертово семя! Чтоб они заживо погнили все! Напустить бы на них холеру какую-нибудь или чуму, чтоб они пооколели все!!

Бледная робкая жена Пуда всплескивала худыми руками и в ужасе широко раскрывала испуганные глаза:

— Кого это ты так, Пуд Кузьмич?

Пуд ожесточенно теребил рыжую бороду.

— Всех этих чертей — французов, американцев и китайцев. Штоб знали!

— Да за что же это ты их так?

— Потому — иностранцы. Потому — не лезь.

Он сладко улыбался.

— У нас в городу француз булочный магазин завел... Взять бы ночью пойти, да сдаля побить ему стекла каменьем. Стекло дорогое, богемское...

— Да ему ж убыток? — задумчиво возражала жена.

— Пусть. Зато и иностранец. Ха-ха-ха! Вчерась я итальянца, который с фигурами, встретил. Ты, говорю, такой-сякой, чтоб тебя градом побило, патент на право торговли имеешь? В церковь ходишь? Да по корзине его! Народ, полиция; с околоточным потом беседовал. Как в романе.

Жена робко моргала глазами и молчала. Ей было жалко и француза булочника, и итальянца, но она сидела тихо, не шевелясь, и молчала.

* * *

Через некоторое время купец Пуд Исподлобьев опять, сидя за обедом, судорожно схватился за свою рыжую бороду и стал кричать:

— Чтоб вас небесным огнем попалило, чтоб вы с голоду все попухли, чтоб вас нутряной червь точил отныне и до века!!

— Французов? — спросила жена.

Пуд Исподлобьев ударил кулаком по ребру стола.

— Нет, брат, не французов! Полячишки эти, жидята, татарва разная... Нет на вас, гадов, праведного гнева Божьего!!

— Да они ж в России живут, — недоумевающе сказала жена.

— Это нам безразлично — все равно! Не наши черти!

Он задумался.

— Вытравить бы их порошком каким, что ли. Или пилюлей. Потому иностранцы.

* * *

Однажды учитель местной гимназии приехал к Пуду Исподлобьеву с подписным листом.

— Что? — угрюмо спросил Пуд.

— Не подпишетесь ли от щедрот своих? Страшное бедствие — голод, болезни, голодный тиф.

— Где? — спросил Пуд.

— В Самарской губернии.

— Ходи мимо, учитель. Пусть дохнут от тифа! Так и надо.

— За что? — изумился учитель.

— Потому — мы рязанские, а они что? Самарцы. Не нашей губернии. Ходи мимо.

— Да что вы такое говорите?! — ахнул учитель. — Разве они не такие же русские, как и мы?

— Нет, — упрямо сказал Пуд. — Не такие. Не пожертвую. Будь еще наши, рязанские. А то какие-то иностранные люди — самарцы.

— Да какие же самарцы иностранные?! Они русские, как и мы с вами.

— Врешь ты, придаточное предложение! Русские, брат, мы — рязанцы!

Учитель внимательно посмотрел на Пуда, покрутил головой и уехал.

* * *

Сидели за чаем.

— Человек пришел, — доложила кухарка. — В дворники найматься.

— Зови, — сказал Пуд Исподлобьев. — Это ты, брат, дворником хочешь?

— Мы.

— А какой ты, тово... губернии?

— Здешней. Рязанской.

— Это хорошо, что Рязанской. А уезда?

— Да уж какого ж уезда? Уезда мы Епифанского.

— Вон! — закричал купец. — Гони его, кухарка! Наклади ему, паршивцу, по первое число.

— За что ты? — спросила подавленно жена после долгого молчания.

— Иностранец.

— Царица небесная! Да какой же он иностранец?! Наш же, рязанский.

— Знаем мы. Рязанский — рязанский, а уезда-то не нашего. Иностранного. Этакий ведь чертяга, убей его громом...

* * *

Если бы изобразить поведение купца Пуда Исподлобьева в виде спирали — было бы ясно, что он со страшной быстротой мчался от периферии к центру. Круги делались все уже и уже, и близко виднелась та трагическая мертвая точка, которой заканчивается внутри всякая спираль.

На другой день после изгнания дворника к Пуду приехал в гости купец Подпоясов, живший от него через две улицы.

Пуд вышел к нему и сказал:

— Ты чего шатаешься зря! Гнать я решил всех вас, иностранцев, по шеям... Нет у меня на вас жалости!

— Пуд Кузьмич! — отшатнулся Подпоясов. — Побойся Господа! Да какой же я иностранец?!

— Бога мы боимся, — сухо отвечал Пуд. — А только раз ты живешь в другом фартале, на другой улице, то есть ты не более, как иностранец. Вот вам Бог, вот — порог... Иди, пока не попало...

* * *

Спираль сузилась до невозможности.

Пуду уже было тесно даже у себя дома. Он долго крепился, но в конце концов не выдержал...

Однажды позвал жену и детей, злобно посмотрел на них и сказал:

— Пошли вон!

Жена заплакала.

— Грех тебе, Пуд Кузьмич!.. За что гонишь?

— Иностранцы вы, — сказал Исподлобьев. — Нету у меня к вам чувства, чтоб вы подохли!

— Да какие ж мы иностранцы, Господи ж? Такие же, как и ты, — Исподлобьевы...

— Нет не такие, — сердито закричал Пуд. — Не такие! Я Исподлобьев, а вы — что такое? Иностранцы паршивые... Вон с моих глаз!..

* * *

В большом пустом купеческом доме бродил одинокий истощенный Пуд... Он уже не ел несколько дней, а когда жена из жалости приносила ему пищу, он бросал в нее стульями, стрелял из револьвера и яростно кричал:

— Вон, иностранка!!

Так он прожил неделю. К началу второй недели спираль дошла до своей мертвой точки. Пуд Исподлобьев увидел, что и он не более, как иностранец...

Висел три дня. Потом заметили, сняли с петли и похоронили.

Хоронили иностранцы.

БОЛЕЗНЬ

Посвящ. А.Н. Шварцу

Начало болезни министра было замечено таким образом: министр позвал своего личного секретаря и сказал ему:

— Составьте циркуляр на имя директоров средних учебных заведений, чтобы они не женились на польках.

— Заведения?

— Нет, зачем же заведения. Директора. Чтоб директора не женились. Так и напишите.

— Слушаюсь.

В тот же день было заседание Совета министров.

— Ну, господа... — сказал председатель. — Рассказывайте, кто что сделал хорошего?

Тот министр, о котором речь шла выше, вскочил и сказал:

— А я директорам гимназий запретил на польках жениться.

Товарищи внимательно посмотрели на него.

— Зачем?

— Да так. Все-таки реформа.

Министры переглянулись между собой и перевели разговор на другое.

— А я еще одну штуку задумал, — усмехнулся министр. — Сделаю распоряжение, чтобы учителей нанимали только блондинов.

— Гм... Странно. Для чего это вам?

— Ну, не скажите... Все-таки реформа.

— Да чем же брюнеты плохие?

— А вдруг евреи?

Председатель побарабанил пальцами по столу и покачал головой:

— Работаете все. Хлопочете. Это страшно утомляет.

— Ничего. Я завсегда готов.

— Поберечь бы себя следовало.

Все сделались задумчивыми.

* * *

— Объявляю заседание открытым, — сказал председатель. — Ну, господа, рассказывайте, кто что сделал хорошего?

— Я! — поспешно сказал министр, о котором речь шла выше.

— Ну?

— Я однажды долго думал, почему наши средние школы стоят не на должной высоте...

— Придумали?

— Да. Все дело в гимназических поясах. Их нужно делать на два пальца уже.

— В чем же тут дело?

— Интереснейшая история! Очень широкий пояс давит своим верхним ребром на грудобрюшную преграду и делает дыхание затрудненным. Появляются судорожные сокращения околосердечных мышц, кои действуют по своей болезнетворности на общую психику учащегося. А угнетенная психика учащихся — вот наш бич!

— Хлопотун вы, — ласково сказал председатель. — Деляга. Работаете всё, и вид у вас утомленный. Наверное, чувствуете себя неважно?

— Нет, благодарю. Я здоров.

— Ну, какое там наше министерское здоровье... Ясно — вы нездоровы. Господа, ведь он нездоров?

— Немножко есть, — подтвердили другие министры.

— Ну, вот. Усиленно советую вам: займитесь вашим здоровьем!!..

Министр побледнел.

— Вы меня пугаете!

— А вы поправьтесь!

Все сделались задумчивыми.

* * *

— Ну, господа... — начал председатель. — Объявляю заседание открытым. Расскажите-ка, кто сделал что-нибудь хоро...

— Я!!

— Ну, рассказывайте вы.

— Ловкую я штуку придумал: издал циркуляр, чтобы родители учеников средних учебных заведений поселились все вместе в большом-пребольшом таком доме! И жили бы там.

— Зачем?!!

— Если все вместе — тогда надзор за учениками легче. И правила выработал для общежития: виновные в курении, ношении усов, бороды, тростей, палок и прочих украшений...

Председатель всплеснул руками.

— Это прямо какой-то святой безумец! Приехал на заседание в то время, когда совсем болен!

— Я... не болен...

— Ну, что вы говорите! На вас лица нет... Ах, Господи! Стакан воды скорее! Ради Бога!..

— Да я не хочу воды...

— Какой ужас! У человека такая температура, такой вид, а он работает... Нет, милый... Если вы о себе не заботитесь, то святая обязанность каждого постороннего человека позаботиться о вас... Вам нужно отдохнуть...

— Ну, я возьму отпуск на 2 недели...

— Ни-ни... Мало. Тридцать лет! За этот срок вы успокоитесь, отдохнете, полечитесь...

— А... как же министерство?..

— Ну, есть о чем заботиться. Тут живой человек болен, а он о бездушном пустяке думает...

Товарищи суетились около захворавшего министра. Один из них сочувственно поглядел на него и подсунул какую-то бумажку...

— Что это?

— Пустяки. Простая формальность. Пустяковое прошеньице.

— О чем?

— Об, этой, как ее... Ну вот... Еще слово такое есть. Да это неважно — вы только подпишите... Там знают.

— Экая досадная штука, болезнь, — вздохнул председатель. — А ведь какой работник был!

— Где моя шляпа? — печально спросил бывший министр.

— Вот она. Не забывайте нас, голубчик. До свиданья. Выздоравливайте. Экая ведь незадача!

Когда бывший министр вышел из дверей, к нему подскочил репортер.

— В отставку уходите, ваше превосходительство? Не можете ли сообщить, по какой причине?

— А вот сейчас посмотрю... У меня есть копия с прошения...

Он вынул из кармана бумагу, развернул ее и сказал:

— Вот сейчас мы и узнаем. Где это? О! Вот оно: «по болезни, связанной с усиленными занятиями»...

«КОЛОКОЛ»

Вспоминая о случае в городишке В., я всегда улыбаюсь: так это было смешно и глупо...

Однажды жарким летом я приехал в городишко В. Сухая серая пыль лениво металась перед глазами, крохотные домишки притаились и дремали с полузакрытыми окнами, будучи не в силах поднять отяжелевшие от душной скуки ставни...

Лениво бродил я по мертвому городку, не зная, чем убить время до поезда.

Неожиданно среди этой мелкой приземистой дряни вынырнула громадная чудовищная вывеска, которая, казалось, царила над всей окрестностью, лезла вперед, ширилась и топорщилась, занимая собою полгоризонта.

Размеры этой вывески были таковы, что дом совершенно исчезал под ней. Как будто бы сделали сначала вывеску, а потом уже пристроили к ней домик.

Вывеска меня заинтересовала.

Я подошел ближе, разглядел одно слово:

«Колокол».

«Что это может быть? — подумал я. — Вероятно, — это литейный завод. Отливают здесь, главным образом, колокола, почему весь завод и назван: «Колокол».

Подошел я еще ближе и разглядел на вывеске, под большим словом «Колокол», два других, помельче: «Страховое общество».

«Вот оно что, — подумал я. — Это, вероятно, общество страхования от пожаров. Где только тут оно может помещаться?»

И только когда я подошел совсем близко к загадочной вывеске, мне бросилась в глаза третья, самая мелкая, строка: «Страхование электрических звонков от порчи».

«Странные люди... — пожал я плечами. — Неужели они для такого маленького предприятия должны были выстроить такую громадину?!»

Инициаторы и владельцы этого странного предприятия не на шутку заинтересовали меня. Я решил полюбоваться на них собственными глазами.

Открыл крошечную калиточку, пролез в нее боком и сейчас же наткнулся на голоногую старуху, кормившую морковью худощавого поросенка.

— Бабка, — сказал я. — А где общество?
— Которое?
— А это вот... «Страхование звонков от порчи».
— Ну?
— Так вот я спрашиваю, — где оно помещается?
— Что?
— Да общество же! Страхования звонков от порчи, под фирмой «Колокол».
— Да вон оно лежит! Ослеп, что ли?
— Что лежит?!
— Да общество же. С утра не продыхнет. Получит пятиалтынный за починку, насосется и валится, ровно колода. Тоже — мастер! Не люблю я чивой-то таких мастеров. Сынок мой.

Я сделал три шага в глубь дворика и действительно увидел под навесом разметавшееся «страховое общество». Было оно лет тридцати, того разнесчастного вида, который бывает у прогоревших мастеровых... Бороденка свалялась, волосы на голове сползли на сторону, и мухи сплошной тучей окружали голову спавшего.

Это и было «Колокол» — «страховое общество для страхования электрических звонков от порчи».

Очевидно, в свое время были у парня деньжонки, но ухлопал он их целиком на свою гигантскую вывеску, и теперь сладкий пьяный сон был для него предпочтительнее жалкого бодрствования...

* * *

Когда при мне теперь говорят:
— «Союз русского народа»?!? Я вспоминаю:
— Страховое общество «Колокол»?!!
И улыбаюсь. Так это смешно и глупо: громадная вывеска, а под ней пьяный человечек.

СЛУЧАЙ С СИМЕОНОМ ПЛЮМАЖЕВЫМ

Симеон Плюмажев был в этот вечер особенно оживлен... Придя ко мне, он засмеялся: подмигнул, ударил меня по плечу и вскричал:

— Хорошо жить на свете!

— Почему? — равнодушно спросил я.

— А вот Рождество скоро. Каникулы... Отдохнем от думской сутолоки. А вы почему... такой?

— Мне тяжело, вообще. Как вспомню я истязания политических каторжников в Зерентуе и их самоубийство — так сердце задрожит и сожмется.

Он протяжно свистнул.

— Вот-о-но что... Да ведь это закона не нарушает.

— Что не нарушает?

— Да что их пороли.

— Послушайте, Плюмажев...

Он потонул в мягком кресле и добродушно кивнул головой.

— Конечно! Статья закона гласит: «За маловажные преступления и проступки каторжникам полагаются розги не свыше ста ударов». Еще недавно по этой же статье до 1906 года полагалось, кроме розог, наказывать плетьми даже за маловажные поступки. Это отменено, о чем я весьма сожалею...

— Что вы такое говорите, Плюмажев?! Стыдитесь!.. Ведь вы же интеллигентный, культурный человек, член Думы...

— Вот именно, потому я и говорю. Раз человек в чем-нибудь виновен, он должен понести наказание. Под влиянием иудейского страха, под влиянием трусости, позорной трусости, многие начальники тюрем отделяли этих политических каторжников от обыкновенных и не приводили в исполнение, не применяли тех кар, которые закон повелевал применять. К счастью, нашелся в вологодской тюрьме, а также в зерентуйской тюрьме истинный гражданин, истинный человек, исполнитель закона, который в надлежащем случае выпорол надлежащее количество негодяев*.

— Плюмажев, Плюмажев! — горестно всплеснул я руками. — Кто ослепил вас? Неужели вы не понимаете, что дело государства — только обезвредить вредные для него элементы, но не мучить их... не истязать!

— Поррроть! — взвизгнул Плюмажев. — Раз он преступник — нужно его пороть!!

Я встал. Прошелся по комнате.

— Значит, по-вашему, всякого преступника нужно пороть?

---

* Подлинные слова Маркова 2-го, сказанные им с трибуны III Госдумы.

Плюмажев ответил твердо и значительно:

— Да-с. Всякого.

— Даже такого, который что-нибудь украл, утаил, присвоил?

Плюмажев замялся немного и потом ответил:

— Даже такого.

Я, пожав плечами, молча позвонил. Вошел слуга.

— Пантелей! Позовите еще Евграфа и дожидайтесь в передней моих приказаний.

— Для чего это он вам? — засмеялся Плюмажев.

Я вынул из ящика письменного стола бумагу и развернул ее перед Плюмажевым.

— Знаете ли вы, Сеня, что это такое?

— Н... нет.

— Это, Сеня, копия с протокола, который составлен на вас за утаивание гербового государственного сбора.

— Ну-ну, — ненатурально засмеялся Плюмажев, — кто старое помянет — тому глаз вон. Порвите эту бумажонку — я вас хорошей сигарой угощу.

— Постойте, Сеня... Вы соглашаетесь с тем, что вы утаиванием гербового сбора обворовывали казну?

— Эко сказал! — засмеялся Плюмажев. — А кто ее нынче не обворовывает?

— Сеня! — торжественно сказал я. — Имели ли вы какое-нибудь наказание за это преступление? Не имели? Так по долгу справедливости вы его будете иметь, Сеня! Я вас сейчас высеку розгами.

— Фома! — вскричал Плюмажев, как мячик вскакивая с кресла. — Ты не имеешь на это права!!

— Сеня! Я имею право, основываясь на твоих же словах: раз человек преступник — надо его пороть.

— Но ведь это же, вероятно, чертовски больно! Фома! Поедем лучше куда-нибудь в ресторанчик, а? Выпьем бутылочку холодненького...

— Нет, Сеня... как я сказал — так и будет. Ты преступник — я тебя и выпорю. Эй, Пантелей, Евграф!..

Едва вошли слуги, как Плюмажев изменил растерянное выражение лица на спокойное, осанистое.

— Здравствуйте, братцы, — сказал он. — Мы вот, того... с вашим барином пари подержали: больно ли телесное

наказание розгами. Хе-хе. Думаете, небось: «Чудят баре!..» Ну, ладно. Если все хорошо будет, на чай получите...

— Никакого пари мы с ним не держали, — хладнокровно сказал я. — А просто я хочу его высечь за то, что он воровал казенные деньги.

— Thomas! — укоризненно вскричал Плюмажев. — Devant les domestiques...*

— Раздевайтесь, Сеня. Сейчас вы узнаете, приятно ли интеллигентному человеку обращение, за которое вы так ратуете...

— Чудак ты, Фома, — покрутил головой Плюмажев. — Вечно ты такое что-нибудь придумаешь... комичное.

Он снял сюртук, жилет, сорочку, погладил себя по выпуклой груди и сказал:

— Что это, как будто сыпь у меня? Ветром охватило, что ли?

Я смотрел на этого человека и диву давался: откуда он брал в эту минуту столько солидности, величавости и какой-то ласковой снисходительности.

— Надеюсь, — сказал он внушительно, — это останется между нами?..

Когда слуги положили его на скамью и дали несколько ударов, он солидно откашлялся и заметил:

— А ведь не особенно и больно... Так что-то такое чувствуешь...

Мне показалось все это противным.

— Довольно! — крикнул я и отошел, уткнувшись лицом в угол.

Так стоял я, пока он не оделся.

Обернулись мы лицом друг к другу и долго стояли, смотря один на другого:

— Нынче летом, — сказал Плюмажев, — видел я в Москве одну девочку итальянку. Актриса, с отцом играет. Можете представить: маленькая, а играет, как взрослая.

— Очень страдает? — спросил я.

— Что такое?

— Ваше самолюбие. Ведь я вас высек сейчас.

Он солидно засмеялся.

— Шутник! А что, Фома, не найдется у вас стаканчика чаю? Жажда смертельная.

---

* Фома!.. Перед слугами... (*фр.*).

Нам подали чай. Я потчевал его вареньем, чаем, а он солидно благодарил, рассказывал думские новости и причмокивал, слизывая с ложечки варенье.

— Да, — вздохнул я после долгого молчания. — Такой человек, как вы, не поймет самоубийства Сазонова.

— Пороть их всех нужно, — машинально сказал Плюмажев.

Потом он что-то как будто вспомнил, побледнел и боязливо посмотрел на меня.

— Сознайтесь, Сеня... — засмеялся я. — Ведь я знаю, о чем вы думаете: разболтаю я о том, что было, или нет? Небось тыеячи рублей не пожалели бы, чтоб молчал.

— Уж и тысяча, — поморщился он. — И на пятистах отъедешь. Сейчас дать?

— Гадина! Пошел вон.

Он засуетился, вскочил, пожал мне руку и озабоченно сказал:

— Да... пора мне! Засиделся. Гм!.. Ну, всех благ. Заглядывайте.

ШИВОРОТ-НАВЫВОРОТ

Маленький уездный (ялтинский) генерал-губернатор Думбадзе в чине генерал-майора распек телеграммой генерал-губернатора всей Финляндии Бекмана, имеющего чин генерал-лейтенанта... (Факт.)

* * *

Департаментский курьер Михеев сидел в полутемной передней и читал газету.

Во время чтения иностранные слова пропускал, к петиту относился с нескрываемым пренебрежением, а из объявлений просматривал только такие, где писалось о колясках, так как сам Михеев до курьерства служил в извозчиках.

Вольнонаемный писец Бутылкин вбежал в переднюю, сбросил калоши и, спустив с одного плеча пальто, внушительно сказал:

— Брось газету! Возьми и повесь!

Михеев солидно взглянул поверх газеты на чиновника и громко проворчал:

— Ты что расскакался, сорока! Много тут вашего брата, чинодралов, ходит. И что это за народ такой охальный пошел... Никакого до сторожов уважения нет.

— Как ты смеешь мне это говорить?! — вспыхнул Бутылкин.

— А что же вы за птица такая, — пожал плечами Михеев. — Видали мы вашего брата! Проходи, пока по затылку не попало... Скорпиён тупоухий!

Бутылкин потупил глаза, пробормотал какое-то извинение и, повесив на вешалку пальто, на цыпочках прошел мимо курьера Михеева.

* * *

Когда писец Бутылкин сел за стол, к нему подошел столоначальник Седалищев и положил на стол пачку бумаг.

— Вот, перепиши, братец.

— Много вас тут найдется братцев, — недовольно сказал Бутылкин.

— Что т-такое? — поднял брови столоначальник.

— Да то и такое! Какой я вам братец! У меня отец был обер-офицер, а ваш отец кто был? Жулик какой-нибудь! Вас когда не подтянешь, так вы на голову готовы сесть! Благодарите Бога, что у меня настроение хорошее... А то бы я вас так разнес, что до зеленых веников помнили бы! Буржуй паршивый!

— Но... — робко начал столоначальник.

— Без всяких но! Уходите вы от меня, пока я вас по третьему пункту не выгнал. На первый раз объявляю выговор, а если подобное безобразие повторится, — без церемонии со службы вышвырну. Ступайте на свое место.

Столоначальник Седалищев тихонько вздохнул и молча поплелся на свое место.

* * *

— Вас его превосходительство господин директор к себе в кабинет требуют, — доложили столоначальнику Седалищеву, после того как он немного успокоился от разноса Бутылкина.

Седалищев нервно встал, уронил стул на пол и, взъерошив волосы, отправился в кабинет директора.

— Звали? — спросил он, садясь на письменный стол, за которым сидел его превосходительство. — Дайте-ка папироску.

— Прежде всего нужно сказать «здравствуйте»... — сухо сказал директор.

— Прежде всего, — перебил его Седалищев, сплевывая в директорскую чернильницу, — прошу без выговоров! И потом, что это у вас за идиотская привычка беспокоить меня и звать к себе! Если вам что-нибудь надо, можете сами прийти и спросить!

— Но... я думал... — начал директор.

— Нужно, молодой человек, — обрезал Седалищев, — думать головой, а не другим каким-нибудь органом! Вы мне действуете на нервы своими оправданиями! Я не потерплю, чтобы у меня на службе были директора департаментов, которые сапоги шьют, вместо служебных занятий!! Не нравится —пожалуйста! На ваше место других найдем, сколько угодно! Шш-то-с? Вы, кажется, забываете, что вы еще генерал, а я уже коллежский советник! Шш-то-с?! Прошу молчать!

Седалищев бросил на директора уничтожающий взгляд и, хлопнув дверью, ушел.

* * *

Директор остался один.

Ему было больно и обидно, что его распекли, как мальчишку, но в то же время он чувствовал свое бессилие.

— Проклятый вертун! — прошептал он. — Эх! Если бы ты был директором, а я столоначальником... Показал бы я тебе.

Он долго шагал по кабинету, не зная, на ком сорвать накопившуюся злость и обиду.

Потом, вспомнив о министре, облегченно потер руки, сел за стол и, почти не думая, написал письмо:

— «Его высокопревосходительству, господину министру!.. Послушайте, милостивый государь... Если вы хотите работать — то работайте, а даром получать министерское жалованье — это извините-с! Я этого не позволю! Вас если не подтягивать, вы совершенно распуститесь... Чтоб этого у меня не было».

И на душе директора сделалось легче. Он подписался, вложил письмо в конверт и отправил министру...

СТРАШНОЕ ИЗДАНИЕ

(*Святочный рассказ*)

Однажды беспартийному гражданину Расхлябину попался в кафе номер «Русского знамени», в котором Расхлябин от нечего делать прочел:

«Есть прекрасный и безобидный способ бороться с заедающим Русь жидовством, которое с помощью своей наглой жидовской печати опутывает всю матушку-Россию, чтобы верней ее погубить. Приближается подписочное время, и если всякий русский здравомыслящий человек не пойдет на обманные широковещательные жидовские объявления, а вместо жидовской газеты подпишется на хорошую правую газету — он получит здоровую пищу для себя и для своей семьи и достигнет в своей жизни благополучия, полного здоровья, покоя и довольства».

«Это хорошо, — подумал Расхлябин. — Если я получу здоровую пищу для себя и для своей семьи — лучшего мне и не надо. А там пойдет благополучие, здоровье, полный покой и довольство... Прекрасная идея — подпишусь на эту симпатичную газету!»

В тот же день Расхлябин подписался на «Русское знамя».

* * *

— Вот, жена и дети!.. — сказал за утренним чаем Расхлябин. — Читайте эту газету! Она несет с собой благополучие, здоровье, полный покой и довольство. А то ишь ты какие вы у меня хилые... Да и я сам...

Расхлябин груетио-иронически погладил ладонью свою впалую грудь и тощие плечи.

— Авось поможет.

* * *

Прошло три дня. Жена и дети Расхлябина, следуя примеру отца, усердно читали «Русское знамя». И странно: прежние горячие споры по разным вопросам между отцом и детьми утихли, все чувствовали себя здорово, благополучно, и покой снизошел под кров нервной, истощенной лишениями семьи Расхлябиных... Расхлябин не мог нарадоваться.

* * *

Теперь лучшим развлечением Расхлябина было — запереться в комнате, раздеться и осматривать свое раздобревшее полное тело, приводившее его в восхищение.

— Телеса-то какие пошли! — умилялся он.

Приводило его в смущение только то, что на всем теле стала появляться странного вида щетинка, которая не только исчезала, но росла все больше и больше.

Однажды, сидя утром за «Русским знаменем», он сообщил жене об этом странном факте, но она пожала плечами и сказала:

— Ничего. У меня то же самое. Да теперь ведь зима — еще лучше! Теплее.

В комнату весело вбежал сын Расхлябиных, гимназист, и с порога закричал:

— Мамочка! А я умею ушами шевелить.

Отец взглянул на него и ахнул: большие висячие уши украшали голову его сына, шлепаясь и раскачиваясь от веселых прыжков мальчугана.

— Как ты смеешь, негодяй! — заревел перепуганный отец.

— Чего ты кричишь на мальчика, — возразила мать. — Иди сюда, мой поросеночек. Тебя не смеет обижать этот старый толстый кабан.

— А что, папа, — весело завизжал ребенок. — Ты остался с пятачком.

— С каким пятачком?

— Да который у тебя на носу! У людей говорят — с носом, а ты...

Отец открыл рот, выставил два страшных клыка и с ревом бросился к сыну...

По дороге он взглянул в зеркало и — остолбенел: нос его вытянулся, заломился кверху и смотрел в потолок темно-розовым плоским кружочком.

* * *

— Пойдем прогуляемся, — сказала madame Расхлябина.

Муж отложил в сторону газету и смущенно сказал:

— Мне трудно так ходить...

— Как — так?

— На двух ногах... Мне бы и на руки.

— Так кто же тебе мешает?

— На улице — неудобно. Скажут: вот этот толстый кабан Расхлябин со своей женой и поросятами идет.

— Так ходи здесь, в столовой.

Расхлябин стал на четвереньки и пошел вокруг стола, тихонько повизгивая от удовольствия. На полу он нашел оброненный кем-то и растоптанный кусок котлеты. Съел его. Валялся на ковре... Когда вошел сын — бросился на него и пытался съесть. Мать едва отняла.

* * *

В столовую вошли кухарка, горничная и с ними двое каких-то людей.

— Мы с вас недорого за них возьмем, — сказала кухарка. — Сам-то стар, зато сама — объеденье. А детишки — все молочные. Молоком кормленные.

— Их можно бы к Рождеству и заколоть, — сказал один человек, по виду мясник.

— Дело колбасное, — кивнул головой другой.

* * *

В ту же ночь два страшных человека резали семью гражданина Расхлябина. Сам Расхлябин долго боролся и даже укусил своего убийцу, а жена его умерла сразу, и последние ее слова были:

— Прощайте, мои поросятки. Дай вам Бог благополучия, здоровья и полного в жизни довольства!

И, испустив дух, не слышала она отчаянных предсмертных воплей последних в роде Расхлябиных.

КЛЕВЕТА

Мы встретились на улице.

— Здравствуйте! — сказал я. — Что новенького?

Гурлянд поморщился и сказал:

— Шарлатаны!

— Кто?

— «Новое время». Читали?

Он вынул из кармана затасканный номер газеты и ткнул пальцем в одну строку.

— О! «Еврейские публицисты из газеты «Россия» гордятся тем...» Как это вам понравится?!

— Что же вас так огорчает?

— Они думают, что в нашей «России» есть евреи. Должен вам сказать, наша «Россия» — это единственная Россия, где нет евреев!

— Неужели?

— Чтоб я так жил! Я их таки этих шарлатанов, конечно, да, понимаю! Им, извините, бельмо на глазу, что есть единственная русская чистая газета, в которой нет этого паршивого племени. Так они же психопаты! У них уже везде грезятся евреи... Они даже меня хотят держать за еврея.

— Неужели?

— А вы что думаете! Когда я им тысячу раз говорил, что я немецкий выходец из Курляндии — так разве они что-нибудь понимают?!..

— Какое же они имеют право?

— Что вы меня спрашиваете? Вы их спросите. Гурлянд? Так они только услышат мало-мальски иностранную фамилию, сейчас ай-яяй!.. Сейчас: Гурлянд? Он еврей! Чтоб они так дыхали, как я им еврей!

— Вы бы взяли какое-нибудь удостоверение, что ли, что вы не еврей...

— Что значит — удостоверение? Говорю же им, что я английский виходец из Шотландии... Так это разве люди, имеющие ушей?

— Из Шотландии? Вы, кажется, говорили — из Курляндии?

— Ну да. Я, собственно, из Шотландии вишел в Курляндию, а оттуда в Россию. Знал бы, что здесь такие шарлатаны, — ни за что бы не виходил!

— Вы, вероятно, не любите евреев?

— Он меня спрашивает! Чтоб вы так же любили свои болячки, как я евреев! Если бы «Новое время» знало, как я их люблю, оно бы не сказало — Гурлянд жид. Ой, молодой человек! Если б вы знали, как тяжело виходцу из Испании, чистейшей воды испанцу — слушать: Гурлянд, ты еврей!

— Разве вы выходец из Испании?

— А то откуда же? Из Норвегии, что ли?

— Вы говорили насчет Шотландии...

— Таки да! Я вишел из Испании, пошел на минуточку в Шотландию и через Курляндию — в Россию.

Мы помолчали.

— Почему вы говорите — виходец, — полюбопытствовал я, — а не выходец?

— Почему? Потому что это от русского слова виход.

Он остановился у какого-то дома и, вздохнув, сказал:

— Вот мне нужно зайти сейчас до портного... Так чтобы вы думали? Он русский? Хороший русский! Форменный еврей! Это, я вам скажу, такой народ, который всюду засовывает своего носа, как выражается русский крестьянин. Зайдем. Я на немножечко.

Мы зашли.

— Хозяин сейчас выйдет, — сказал мальчишка, расставляя на обеденном столе посуду.

— Вот, видите — еврей сейчас будет обедать. Что он будет обедать? Он будет кушать свою щуку. Ой! Вы думаете, я не угадал? Таки действительно, на этом блюде лежит фаршированная щука! Ой! Это форменные психопаты! Как они могут есть такую дрянь?

Он подошел и заглянул в блюдо.

— Как можно кушать это ужасное стряпничество?.. Потому они такие, извините, и жулики, что щук кушают. Ой! Пахнет прямо до ужаса.

Он потянул носом и обратился ко мне:

— Никогда я не пробовал такой штуки... Попробовать разве, как человек может кушать подобную дрянь...

Отщипнув кусочек щуки, он положил ее в рот, пожал плечами и сказал:

— Форменная гадость! А ну-ка — еще кусочек... Нет! Я вас спрашиваю — как можно это кушать? А что же?

— Зачем же вы еще кусок берете? — спросил я.

— Ой! Он меня спрашивает... Вы бы сами попробовали лучше!.. Хотел бы я посмотреть — как вас не затошнит от этого...

— Так и не трогайте ее больше!

— Что значит — не трогайте? Это хорошо сказать — не трогайте... Уй! Что это такое? хвост? Почему такой маленький?

Когда портной вышел к нам, он заглянул в блюдо и печально спросил:

— Предположим, что это господин Гурлянд, а это его знакомый... Хорошо. А где же щука?

НА РАЗНЫХ ЯЗЫКАХ

Житомир. Профессору Краковского университета, директору обсерватории Рудскому не разрешена лекция на тему: «Развитие понятия о строении Вселенной».

В момент запрещения лекции «Развитие понятия о строении вселенной» между житомирским администратором и лектором произошел, вероятно, такой диалог:

Администратор. Это что ж за лекция такая?

Лектор. Развитие понятия о строении вселенной.

Адм. Да какое такое строение?

Лект. Строение вселенной.

Адм. Каменное? Деревянное? Строительный устав знаете?

Лект. При чем тут строительный устав?

Адм. Да на строение-то разрешение нужно или не нужно?

Лект. (не понимая). Разрешение на настроение?

Адм. (раздраженно). Не настроение, а на строение.

Лект. Я... вас... не понимаю...

Адм. А еще лекции беретесь читать! Ну, понимаете: строение! Дом!

Лект. Ну?

Адм. Как же вы будете его строить без разрешения?

Лект. Да зачем же мне дом строить?

Адм. (нетерпеливо). Да лекцию-то где вы будете читать?

Лект. В клубе.

Адм. Так зачем же вам дом понадобился?

Лект. (тоскливо). Мне дом и не нужен.

Адм. Вот видите! (С упреком.) Только даром у людей время отнимаете. Вы кто такой сами будете?

Лект. Директор обсерватории.

Адм. Постыдились бы говорить такое... Тут барышня переписчица сидит, а он выражается.

Лект. Да вы не понимаете: обсерватория — это учреждение, где занимаются наблюдением за небесными светилами, метеорологией и...

Адм. Никогда я у себя в Житомире такой гадости не допущу!

Лект. Ах ты, Господи! Да лекцию-то вы мне разрешите?

Адм. Об чем?

Лект. Да ведь я вам уже говорил: «Развитие понятия о строении вселенной».

Адм. Эк, куда хватил! Нельзя. Небось в трубу смотреть будете, а у нас насчет этого строго.

Лект. (в отчаянии). В какую трубу?

Адм. А на небо-то.

Лект. Господи! Где же в клубе небо? Просто будет демонстрация туманных картин...

Адм. Демонстрация? Нельзя. Обязательное постановление от 12-го сего...

Лект. Ну ладно, ладно. Без демонстрации будет. Просто покажу туманные картины.

Адм. Зачем же туманные? Это нехорошо. Бог его знает...

Лект. Ну, ладно!!! Ясные будут картины. Понимаете? Ясные. С помощью волшебного фонаря.

Адм. Гм... Волшебного?.. Тогда я обязан запросить преосвященного. Сами знаете, волшебное нынче... гм! Как понять...

Лект. (в испуге). Ну ладно, ладно... Без волшебного фонаря. Обойдусь камер-обскурой...

Адм. (с беспокойством). Чего?

Лект. (очертя голову). Это такое... Это ничего... Такое... вроде камер-юнкера... Одним словом, мой помощник.

Адм. Юнкер? Тогда ничего. Юнкер, это можно. Давайте уж афишу... подпишу.

Лект. Вот-с... пожалуйста.

Адм. О чем лекция-то?

Лект. (изнемогая). Да говорил же я: «Раз-ви-ти-е по-ня-ти-я о стро-е-ни-и все-лен-ной»!

Адм. (вслушиваясь). С ума вы, кажется, сошли. «Вселенная»!! Эко, что выдумал! Идите, идите, господин... Пока хуже не вышло.

Вот каким образом у житомирцев понятие о строении вселенной осталось прежнее: именно, что земля держится на трех китах — полицеймейстере Расшибалове, квартальном Держиморде и городовом Сапогове.

ГРАЖДАНЕ

Когда я зашел вчера к Оголтелову, он взглянул в мое лицо и ахнул.

— Что с тобой?

— Беда, брат!

Он вскочил с дивана, на котором лежал, и подбежал ко мне.

— Ты меня пугаешь! Что случилось?

— Вероисповедные законы взяты министерством обратно! Положение Думы шаткое.

Оголтелов лег опять на диван, заложил руки за голову и задумчиво сказал:

— Тебе не случалось замечать, что иногда встречаешься с человеком, знаешь его, даже дружишь с ним и — ничего не подмечаешь. Но вот мелькает в нем какая-нибудь маленькая черточка, микроскопический зигзаг, и сразу осветит его: эге, думаешь... Да ведь ты, братец, дурак!

— Мне не случалось, — отвечал я после некоторого размышления. — А тебе... случалось?

— Да. Не так давно. Сейчас.

— Оголтелов! — сказал я, покачав головою. — Я не дурак... Но мне больно!

— Что тебе больно?

— Что осуществление гражданских свобод все отодвигается и отодвигается.

— И очень тебе больно?

— Чрезвычайно.

— Может быть, ты бы заплакал?

— Мне очень грустно, Оголтелов.

— Ты извини, что я без жилета!

— Почему ты извиняешься?

— Тебе очень важно, чтобы жилет, в который ты сейчас не прочь заплакать, был бы на ком-нибудь надет? Если не важно, достань в шкафу любой из жилетов и плачь на него.

Я печально смотрел в угол.

— И законы о печати отсрочены, потому что не решен вопрос о чрезвычайном положении... А чрезвычайное положение не может решиться без урегулирования законов о печати. И никаких русскому гражданину нет гражданских свобод.

— Они ему не нужны, — лениво улыбнулся Оголтелов.
— Тт... то есть... кккак... не нужны?
— Да так. Ну, посуди сам: ведь ты человек, в сущности, не глупый; ну куда русскому человеку — гражданские свободы?
— Да что же он, не человек, что ли?
— Конечно, не человек.
— А кто ж он?
— Он?
Оголтелов встал с дивана и принялся одеваться.
— Если ты свободен, пойдем прогуляемся. На улице я тебе покажу русского человека.

* * *

Мы вышли на улицу, и Оголтелов, взяв меня под руку, подошел к одинокому извозчику.
— Эй ты!
— Пожалуйте-с!
— Нет, не пожалуйте... А что это у тебя на руках?
— Рукавицы, — отвечал оторопевший извозчик.
— Рукавицы? Ах ты мерзавец! В участок хочешь? В Сибири сгною тебя, подлеца! Брось рукавицы!
— Ваше благородие! Нешто ж можно... Опять же хозяйскую вещь...
— Бррось рукавицы! — истерически закричал Оголтелов. — Тебе говорю — брось! Какой твой номер? Вот мы его сейчас запишем! Ты, негодяй, не знаешь этого, что ли?
Оголтелов, пошарил в карманах и вынул счет от прачки.
— Вот. Не читал? Насидишься ты у меня в тюрьме!
Извозчик, путаясь в армяке, торопливо и неуклюже слез с козел, стащил с головы шапку и стал на колени.
— Батюшка! Не погуби... Чичас брошу, чтоб им пусто было.
— То-то. Учить вас, дураков, нужно. Пойдем, брат.
Оголтелов взял меня под руку и зашагал дальше.
— Видал?
— Слушай... Ты берешь безграмотного, глупого извозчика и строишь на этом...
— Хорошо! Я возьму грамотного, неглупого не извозчика. Эй, молодой человек!

Мимо нас проходил какой-то господин в котелке и золотом пенсне.

— Молодой человек!

— Что вам угодно? — удивленно спросил прохожий, останавливаясь.

— Это вы сейчас узнаете. Не будете ли вы так добры пожаловать под эти вот ворота? На одну минутку.

— Что вам нужно? Отстаньте, я вас не знаю!

— Не знаете? — ядовито засмеялся Оголтелов. — Удивительно! Эй, дворник! Вот этого господина... Позвольте! Вы не вырывайтесь: вам же хуже будет...

— По какому праву вы... — возмущенно начал прохожий, вырываясь.

— Это вы узнаете там, куда я вас предоставлю после результата обыска. Позвольте вас обыскать... Эй, дворник! Что ж ты, осел, стоишь, открыв рот. Помоги мне!

Оголтелов толкнул дворника в грудь, ввел прохожего в арку под воротами и внушительно сказал:

— Если вы добровольно покоритесь — вам же лучше будет. Если при вас ничего подозрительного нет, я вас отпущу. Поднимите руки... Вот так. Это что, паспорт? Ага! Позвольте... жилетный карман. Благодарю вас! Извините, что обеспокоил. Можете идти.

Прохожий испуганно огляделся, застегнулся и быстро зашагал от нас.

— Эй! — закричал ему Оголтелов. — Может быть, вы хотите жаловаться? Может, вы считате меня не имеющим права так поступать? Вы скажите... Желаете пожаловаться?

— Не-ет! — донесся из темноты несмелый голос. — Я ничего не имею...

Оголтелов погрозил дворнику пальцем, взял меня под руку и, отведя в сторону, спросил:

— Нет ли тут поблизости какого-нибудь общественного учреждения: церкви, почты или театра?

— Вот в следующем доме почтовое отделение. А что?

Оголтелов вынул из кармана какую-то большую бумагу и развернул ее.

— Смотри... Видишь — плакат! Самая магическая штука для русского человека. Всего четыре слова: «Вход посторонним строго запрещается». Смотри.

Оголтелов прицепил бумагу к дверям почтовой конторы и отвел меня в сторону.

— Смотри!

Изредка по улице деловито пробегали прохожие. Они добегали до дверей почтовой конторы, хватались за дверную ручку, сейчас же отдергивали руку и, потоптавшись у дверей, уходили медленными, нерешительными шагами.

Один чиновник, с телеграммой в руке, стоял у дверей минуты три, очевидно размышляя про себя:

«Постороннее он лицо или нет?»

Решив, что постороннее, почесался, махнул рукой и пошел обратно.

Я не выдержал.

— Слушайте! — закричал я, догоняя его. — Почему вы не вошли в контору?

— Да там надпись: посторонним нельзя.

— Чудак вы! Ведь это же общественное учреждение: для публики! Разве может кто-нибудь ни с того ни с сего запретить вход на почту?

Он призадумался.

— Бог его знает. А вдруг, может.

Я разозлился.

— Осел вы этакий! Как вы смеете разговаривать со мной, держа руки в карманах. Знаете, кто я такой?! Последнюю телеграмму с лондонской биржи читали? Налог за самовар уплатили? Почему в калошах? О менингите слышали? Вон из этого города! Чтоб духу вашего не было.

В голосе моем дрожали слезы.

Невдалеке стоял Оголтелов и, держась за бока, смеялся до упаду.

Часть II

БУРЬЯН

СТРАШНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ В КАБАКЕ ДЯДИ СТАМАТИ

У наших ног синело прекрасное тихое море. Мы легли на песок животами кверху и повели длинный ленивый разговор.

Следователь сказал мне:

— Я недурно изучил за два года этих чудесных южан. Их можно любить, но уважать их невозможно.

— Почему?

— Потому что у этих людей нет середины. Попробуйте расспросить у кого-нибудь из них: далеко ли до такого-то места? Одному из них расстояние в десять верст кажется очень коротким... И он, размахивая руками, закричит: «Что вы!! Помилуйте!! Два шага... Десять — двенадцать минут ходьбы — и вы там! Близехонько... Если бы нам влезть на эту крышу — я показал бы вам отсюда это место!» Спросите другого южанина, более ленивого, менее подвижного: «О-о, заорет он (они тихо никогда не говорят). Вы туда хотите идти? Пешком? Да я вам скажу: в два дня не дойдете! Автомобиль если — другое дело... В несколько часов доедете. А пешком? Сумасшествие...» Спросите у южанина мнение о его соседе... Если сосед ему мало-мальски симпатичен — он всплеснет руками и закричит: «Кто? Ованес Туташвили? Да это ж святой человек!! Ведь это ж гениальная личность! Он еще не министр... да, спрошу я вас, почему? Да потому, что он сам не хочет! Это ж человек, с которого нужно напечатать портреты и повесить себе на удовольствие везде, где можно! Ованес!! Его на руках нужно носить днем и ночью, этого Ованеса». Но если Ованес поспорит

со своим поклонником из-за подшибленной ноги курицы или взятой без спроса лодки — послушайте, что вам скажут об Ованесе... «Ованес? Вы уверены, что он именно так называется? Идиёт он называется — вот как! Это ж форменный каторжник, босявка! Все добрые люди трясутся от страха, когда это чудовище показывается на улицу. Ведь ему застрелить человека — все равно что стакан вина из-под таракана выпить, накажи меня Бог! Чтоб я так жил!»

— Неужели все такие? — спросил я.

— Все. Раз южная кровь — значит, такой. Возьми ты их купцов... Спроси в любой лавчонке: «Сколько стоит десяток лимонов?» — «Шестьдесят копеек!» Не разговаривая, вынимай кошелек и плати тридцать. Он ничего не возразит и даже не будет удивлен... Он, в сущности, и сам хотел сказать: «Тридцать», да уж как-то оно само сказалось — шестьдесят.

Вдохнув жадной грудью пахучий воздух, следователь мягко улыбнулся и неожиданно закончил:

— А в общем — они чудесный народ!..

* * *

...Послышался топот нескольких тяжелых ног. Мы обернули лица и увидели двух горожан, которые сломя голову мчались на нас, перепрыгивая с камня на камень и яростно размахивая загорелыми руками.

Когда они подбежали к нам и обессиленные, со стоном ужаса повалились на песок, следователь оглядел их и спокойно спросил:

— Здорово, Тулумбасов! Здорово, Кандараки! Что случилось? Не искусали ли вас бешеные собаки?

Тулумбасов зарыл руки в песок и застонал.

— О, г. следователь!! Если бы нас искусали бешеные собаки — мы бы даже не поморщились... Страшное преступление!

Кандараки посмотрел на нас широко раскрытыми глазами, в которых застыл нечеловеческий ужас, и пролепетал:

— Что же это будет, если звери уже вырвались на волю и режут людей, как цыплят?.. Почему бы им не зарезать и меня? И мою жену Марину? И маленького Христу?

— Кто там зарезал? Кого?

— Мы ж говорим — матросы! Два громадных буйвола матроса!! У этих чертей ни жалости, ни милосердия!

— Кого зарезали?

— Весь кабак дяди Стамати они зарезали! Массу людей они зарезали! Двух человек!! Мы сами видели.

Следователь встал и отряхнул песок с платья.

— Стойте! Пусть говорит Тулумбасов. Говорите толком...

— Чего там говорить толком! Нельзя говорить толком! Зарезали, ограбили и убежали. Всё ограбили — весь-весь кабак унесли!

— В чем... унесли?

— В узле. Большой такой. Пудов десять!

— Постойте... Кто же это первый заметил?

— Я первый, — сказал Тулумбасов.

— Первый я, — сказал Кандараки.

— А кто первый из вас двух? — терпеливо спросил следователь.

— Я первее.

— Первее — я.

— А из двух — кто первый?

— Из двух? Он, — с некоторым сожалением указал Кандараки на Тулумбасова.

— Что же вы увидели и каким образом?

— Вот каким. Иду я к Стамати насчет водки из выжимок условиться — он у меня всегда покупает... Вдруг, смотрю, окно кабака раскрывается и оттуда выпрыгивают два матроса с ножами и огромными узлами в руках. Выскочили и убежали. «Э, — думаю, — дело нечистое»... Да подхожу к окну, да как загляну — и свету, матушки мои, не взвидел. Лежат двое: Стамати и еще один на полу с перерезанными горлами, кругом кровь и все перевернуто вверх ногами... Вижу — Кандараки идет — я и ему показал. Посмотрели, да бежать — прямо к вам!

— Какие из себя матросы и куда они побежали?

— Они высокие, черные, широкоплечие... Глаза горят, как у волков. А направились они прямо по дороге на Феодосию... Боже ж мой... что будет, что только будет?..

— Надо осмотреть кабак прежде всего, — сказал следователь.

— Нужно догнать прежде всего убийц, — горячо возразил я, — пока они не убежали... А кабак всегда можно осмотреть.

— Ну что ж... убийц — так убийц, — лениво согласился следователь. — Достаньте нам у Марасьянца двух лошадей — мы с приятелем поедем.

— А войско? — закричал Кандараки.

— Какое войско?

— Как — какое?.. Что же вы думаете — вам удастся вдвоем справиться с этими двумя зверями, с этими бешеными тиграми? Нужен десяток солдат с ружьями.

— Ничего, — сказал следователь. — Справимся и так.

— Что это за люди! — восхищенно зааплодировал Кандараки. — Это ж форменные герои!

— Это ж какие-то мученики идеи! — согласился восторженный Тулумбасов. — Какие-то Жанны д'Арк! Ну, Бог вам на помощь! Живыми не сдавайтесь! А вот и двор Марасьянца!

— Далеко матросы могли убежать? — спросил я.

— Недалеко. Верст десять.

— Или двадцать, — подтвердил Тулумбасов.

— А пожалуй, и двадцать.

— Эй, Марасьянц! Пару лошадей!

* * *

Мы скакали, понукая резвых лошаденок ударами хлыста, уже минут десять.

— Как ты думаешь, — спросил я, — удастся нам нагнать их?

Следователь засмеялся.

— О, будь покоен... Удастся. Эй, мальчик! Стой! Ого-го? Стой, паршивец! А то натреплю тебе уши!!

Слова эти относились к худому мальчишке лет пятнадцати в белой грязной матроске и растерзанных скороходах. Он тихонько брел по краю пыльной дороги, под тенью придорожных деревьев, с маленьким белым узелочком в руках.

— Эй! Остановись, подлый мальчишка.

Мальчик увидел нас, побледнел, опустился на кучу щебня и горько заплакал.

— Кто это? — удивленно спросил я.

— Это? Убийца Стамати и его клиента.

— А где же другой?

— Другого и не было.

— Но они говорили о двух — широкоплечих, черных...

— Мало что! Послушай-ка, малец... Покажи, что у тебя в узелочке?

Мальчишка снова горько зарыдал и трясущимися руками развязал узелок. В нем мы увидели кисет с табаком, перочинный ножик, кусок жареной камбалы и пару сухих, как камень, пряников, которыми обыкновенно заедали вино в кабаке Стамати.

После недолгих расспросов злосчастный мальчишка признался во всем. Они со своим дядькой зашли в кабак дяди Стамати, и немедленно же дядька с хозяином стали пьянствовать, потом танцевали, потом упали на пол и заснули среди разбитых бутылок. Ему надоело смотреть на спящих, и он решил уйти домой, в соседнее село. А так как хозяин, приступив к попойке, предусмотрительно запер дверь и спрятал ключ, то мальчугану ничего не оставалось, как выпрыгнуть в окно.

— А кисет, ножик и рыбу украл? — спросил следователь.

— Я не буду больше, дяденька... Он бы все равно ножик потерял, а на табак у меня своих денег нет. Пустите меня, пожалуйста... Меня мама ждет...

Он снова зарыдал, размазывая по лицу грязь и слезы.

— Ну, ступай, каналья. Да только в другой раз через окна не прыгай — не смущай народ зря...

* * *

Мы возвращались обратно.

— Послушай, — спросил я, нерешительно и смущенно. — Каким образом ты догадался, что этот мальчишка — тот самый?

Он засмеялся.

— Очень просто! Секрет немудрый: когда южанин что-нибудь рассказывает — нужно все данные делить пополам... Он говорит — два матроса — значит, один. Черный, как жук, значит — шатен. Широкоплечий, здоровый — понимай: мальчишка. Такая система объяснит тебе все: и его «громадный узел», и «ножи», и «десять верст», сейчас же превращенные в двадцать (хотя мальчишка пойман только на пятой версте) ...

У околицы нас дожидались Тулумбасов и Кандараки, вооруженные ружьем и целым ворохом веревок.

— Не догнали? — тревожно спросили они.

— Да попробуйте догоните их, — серьезно сказал следователь. — Попробуйте — когда их не двое, а двенадцать человек, двенадцать свирепых здоровяков, вооруженных до зубов, да при них целый обоз с награбленными вещами, да кроме того маленькая пушка и ручные бомбы.

— Видите, дядя Тулумбасов! — торжествующе воскликнул Кандараки. — Я вам говорил, что их больше, чем два! ....

....

ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ

(Из жизни художников)

Художник Семиглазов решил выставить на весенней выставке «Союза молодежи» две картины:

1) Автопортрет.

2) Nu* — портрет жены художника.

Обе картины, совсем законченные, стояли на мольбертах в его мастерской, радуя взоры молодого художника и его подруги жизни.

Изредка художник обвивал любящей рукой талию жены и, подняв гордую голову, надменно говорил:

— О, конечно, критика не признает их! Конечно, эти тупоголовые кретины разнесут их в пух и прах! Но что мне до того! Искусство выше всего, и я всегда буду писать так, как чувствую и понимаю. Ага! как сейчас, вижу я их. «Почему, — будут гоготать они бессмысленным смехом, — почему у этой женщины живот синий, а груди такие большие, что она не может, вероятно, двигать руками? Почему на автопортрете один глаз выше, другой ниже? Почему все лицо написано красным с черными пятнами»... О, как я хорошо знаю эту тупую, напыщенную человеческую пыль, это стадо тупых двуутробок, этот караван идиотов в оазисе искусства!

— Успокойся, — ласково говорила любящая жена, гладя его разгоряченный лоб. — Ты мой прекрасный гений, а они форменные двуутробки!.....................................

....

* Обнаженная (*фр.*).

В дверь мастерской постучались.

— Ну? — спросил художник. — Входите.

Вошел маленький болезненный старикашка. Голова его качалась из стороны в сторону, ноги дрожали от старости, подгибались и цеплялись одна за другую... Дряхлые руки мяли красный фуляровый платок. Только глаза юрко и проворно прыгали по углам, как мыши, учуявшие ловушку.

— А-а! — проскрипел он. — Художник! Люблю художников... Живопись — моя страсть. Вот так хожу я, старый дурак, из одной мастерской в другую, из одной мансарды в другую и ищу, облезлый я, глупый крот, гениальных людей. Ах, дети мои, какая хорошая вещь — гениальность.

Жена художника радостно вспыхнула.

— В таком случае, — воскликнула она, — что вы скажете об этих картинах моего мужа?

— Ага, — оживился старик. — Где же они?

— Вот эти!

Он остановился перед картинами и замер. Стоял пять минут... десять...

Супруги, затаив дыхание, стояли сзади.

Медленно повернул старик голову, заскрипев при этом одеревеневшей шеей.

Медленно, шепотом спросил:

— Это... что же... такое?

— Это? — сказал художник. — Я и моя жена. Эта вот мужская голова — я, а эта обнаженная женщина — моя жена.

Старик изумленно замотал головой и вдруг крикнул:

— Нет! Это не вы.

— Нет, я.

— Уверяю вас — это не вы!

Художник нахмурился.

— Тем не менее — это я.

— Вы думаете, что вы такой?

— Да.

— Смотрите: почему на картине ваше прекрасное молодое лицо покрыто зловещими черными пятнами на красном фоне? Почему один глаз у вас затек, а руки сведены и растут: одна из лопатки, а другая из шеи... Почему: рот кривой?

— Потому что я такой...

— А вы... сударыня... Вы такие? Я не поверю, чтобы ваше тело было похоже на это.

— Разденься! — бешено крикнул художник. — Докажи этому слепому слизняку!

И, не задумываясь, разделась любящая жена и обнажила себя всю. Стояла молодая, прекрасная, сверкая юным белым телом и стройной, едва расцветшей грудью.

— И она, по-вашему, похожа, — прищурился старичок. — У нее синий кривой живот? Красные толстые ноги без икр, зловещие рубцы на шее, переломанные руки и громадные почерневшие груди с сосками величиною в апельсин.

— Да! — торжественно сказал художник. — Она такая.

— Да! — крикнула любящая жена. — Я такая.

Старичок неожиданно упал на колени.

— Ты! — воскликнул он, простирая руки к потолку. — Ты, которому я всегда верил и который обладает силой творить чудеса! Сделай же так, чтобы эта молодая чета имела полное сходство с этими портретами. Сделай их подобными порожденным творчеством этого гениального художника.

Жена взглянула на мужа и вдруг пронзительно закричала: на нее в ужасе глядело искаженное лицо мужа, красное, с черными пятнами, с затекшим глазом и сведенными в страшную гримасу губами... Руки несчастного покривились, как у калеки, и на груди вырос горб, точь-в-точь такой, как художник по легкомыслию изобразил на портрете.

— Что с тобой? — вскричал бешено муж. — О, Боже! Что сделала ты с собой?!

С непередаваемым чувством отвращения смотрел единственный незатекший глаз художника на жену...

Перед ним стояла уродливая, страшная багровая баба с громадными черными грудями и толстыми красными ногами. Синий живот вздулся, и чудовищные соски на прекрасной прежде, почти девственной груди распухли и пожелтели. Это была чума, проказа, волчанка, ревматизм и тысяча других самых отвратительных болезней, сразу накинувшихся на прекрасное прежде тело. И... удивительная вещь: теперь ужасное лицо мужа и отвратительное тело жены — как две капли воды были похожи на портреты...

— Ну, я пойду, — сказал равнодушно старичок, пряча в карман свой громадный платок. — Пора, знаете, как говорится: посидел — пора и честь знать...

— Милосердный боже! — вскричал художник, падая на колени в порыве ужаса и отчаяния. — Что вы с нами сделали?

— Я? —удивился старик. — Я? Подите вы! Это разве я? Это вы сами с собой сделали. Разве вы теперь не похожи? Как две капли воды. Прощайте, мои пикантные красавцы.

Он прищелкнул пальцами и умчался с быстротой, не свойственной его возрасту.

Супруги остались одни. Художник стер слезу с единственного глаза и обвил синий стан супруги искалеченной рукой.

— Бедная моя... Погибли мы теперь.

— Не смей ко мне прикасаться! — крикнула жена. — У тебя глаз вытек и на лице черные пятна.

— Сама ты хороша! — злобно сказал художник. — На двухнедельный труп похожа...

— Ага... Так? — крикнула жена.

Она бросилась, как бешеная тигрица, на свой портрет и во мгновение изорвала его в клочки. И совершилось второе чудо: снова стала она молода и прекрасна. Снова тело ее засверкало белизной.

И, увидев это, с визгом бросился художник Семиглазов на свой «автопортрет». И, растерзав его, сделался он через минуту так же молод и здоров, как и прежде.

От картин же остались жалкие обрывки.

....

Недавно я был на выставке «Союза молодежи». Устроитель выставки сказал мне:

— Да, штуки тут все любопытные. Прекрасная живопись. Но нет гвоздя, на который мы так надеялись. Можете представить — наша слава, наша гордость — художник Семиглазов в припадке непонятного умоисступления изорвал свои лучшие полотна, которые могли быть гвоздем выставки: Nu — портрет своей жены и свой автопортрет.

ГОРДИЕВ УЗЕЛ

Однажды в вагоне второго класса пассажирского поезда толстый добродушный пассажир вынул сигару и закурил.

Глаза у него были маленькие, хитрые, улыбка мягкая, чрезвычайно добрая, а манеры грубоватые с оттенком фамильярного дружелюбия.

Против него сидели три пассажира, сбоку еще два — и все пятеро посмотрели на него с ненавистью, угрожающе,

как только он выпустил изо рта первый залп тяжелого дыма.

— Это вагон для некурящих, — сдержанно заметил рыжий человек.

Толстяк затянулся второй раз и зажмурил глаза от удовольствия.

— Слушайте! Здесь нельзя курить: это вагон для некурящих!

— Ну-у?

— Да вот вам и — ну! Потрудитесь или бросить сигару, или выйти на площадку.

— Да нет... Я уж лучше тут докурю.

— Как — тут? Почему — тут? Ясно вам говорят, что здесь нельзя курить!

— Кто говорит?

— Я говорю. И мои соседи... И все...

— Да почему?

— Мы дыму не переносим!

Курильщик выразил на своем лице изумление, смешанное с иронией.

— Что... Не любите? Дыму испугались? Как же вы на войну пойдете, если дыму боитесь? Эх, публика! Вот оттого-то вас японцы...

Он сделал длительный перерыв, сладко затянувшись сигарой.

— ...И побили... что мы дыму боимся.

— Причем тут японцы? Ясно здесь написано на табличке: «Просят не курить!»

Лицо толстяка выразило искреннюю печаль и огорчение.

— Боже мой! Как в этой фразе, в этих словах выразился весь русский человек — раб по призванию. Весь пресловутый русский дух сидит в этой фразе! Для него «написано», значит — свято. Печатное слово для него жупел, страшилище, и он перед ним распластывается, как дикарь перед строгим божеством.

— Сами вы дикарь!

— Нет, милостивые государи, не дикарь я. Не дикарь я, потому что...

Он затянулся.

— ...Потому что я рассуждаю и этим являю собою высший интеллект.

— Хороший интеллигент! Интеллигент, а поступает, как нахал.

— Извините меня, сударыня, но вы смешали два разных понятия: интеллигент и интеллект. Это именно и подтверждает мою мысль: дикарь — тот, кто слепо преклоняется перед печатными словами, не зная их подлинного смысла.

Рыжий пассажир, ошеломленный этими словами, потряс головой, подумал немного и сказал:

— Куренье вредно для здоровья.

— Вот оно, вот, — страдальчески поморщился курильщик. — Вот с помощью этих понятий вы и воспитываете будущее поколение, хилое, слабое, не обкуренное дымом и не закаленное суровой жизнью!..

— Категорически умоляю вас: бросьте курить! Как не стыдно, право.

— Да чего там просить его, — поднял от газеты голову чиновник. — Заставить надо.

— Что ж... пожалуйста... Заставьте! Конечно, сила на вашей стороне: вас много, а я один. Но не позор ли для нашего века, когда люди не пускают, как оружие, моральную силу убеждения, а пользуются для этого силой физической, кулаком... Чем же после этого будем мы отличаться от наших предков, бродивших с каменными топорами и стукавших ими по голове каждого встречного?

Человек, по виду артельщик, отозвался из угла:

— Склизкий.

Толстяк сделал вкусную, глубокую затяжку и, как Везувий, выбросил целый столб дыма.

— Чего-с? — спросил он равнодушно.

— Склизкий ты, говорю. Между пальцев проворишь.

— Я вас не понимаю, — недоуменно улыбнулся толстяк.

— Вот когда жандарма со станции позовем, тогда поймете.

— Тогда я пойму одно: русскому человеку свобода не нужна, конституция не для него! Посадите ему на шею жандарма, и он будет счастлив, как светская красавица, шея которой украшена драгоценным бриллиантовым...

Снова он затянулся.

— ...колье! Да-с, колье. Настаиваю на этом уподоблении.

— Кондуктор! Кондуктор!!

Толстяк благожелательно усмехнулся и, вынув изо рта сигару, принялся вопить вместе с другими:

— Конду-у-ктор!

Когда явился кондуктор, курильщик снова взял сигару в рот и пожаловался:

— Кондуктор! Почему эти пассажиры запрещают мне курить?

— Здесь нельзя, господин. Видите, вон написано.

— Кто же это написал?

— Да кто ж мог... Дорога.

— А если мне все-таки хочется курить?

— Тогда пожалуйте на площадку.

— Люди! — засмеялся толстый пассажир. — Как вы смешны и беспомощны! Как вы заблудились между трех сосен!! Вы, представитель дороги, приглашаете меня на площадку, а на этой же стене красуется другая надпись: «Во время хода поезда — просят на площадке не стоять». Как же это совместить? Как можно совместить два совершенно противоположных постановления?!

Кондуктор вздохнул и с беспросветным отчаянием во взоре почесал затылок.

— Как же быть? — пролепетал он.

— Да ничего, милый. Вот докурю сигару и брошу ее.

— Нет-с, — крикнул злобно чиновник, комкая газету, — мы этого не позволим! Раз вагон для некурящих — он не имеет права курить! Пусть идет на площадку.

— Я не имею права курить, по-вашему... Хорошо-с. Но я же не имею права и выходить на площадку! Одно взаимно исключает другое. Поэтому я имею право выбирать любое.

Он стряхнул пепел с кончика сигары и взял ее в рот, ласково улыбаясь:

— Выбираю.

— Кондуктор!! — взревел чиновник. — Ведь это незаконно!! Неужели вы не можете прекратить это безобразие?!

Кондуктору очень хотелось прекратить это безобразие. Он стремился к этому всеми силами, что было заметно по напряженности выражения лица и решимости, сверкнувшей в глазах; он имел твердое намерение урегулировать сложный вопрос одним ударом, как развязан был в свое время гордиев узел.

Сделал он это так: коснулся кончиком сапога скамьи, приподнялся и одним движением руки перевернул табличку с надписью: «Просят не курить».

И табличка, перевернувшись, выказала другую свою сторону с надписью: «Вагон для курящих».

Пассажиры выругались, а толстяк покачал головой и окутал себя таким облаком дыма, что исчез совершенно.

И, невидимый, сказал из облака добродушным тоном:

— Всякий закон оборотную сторону имеет.

НА «ФРАНЦУЗСКОЙ ВЫСТАВКЕ ЗА 100 ЛЕТ»

— Посмотрим, посмотрим... Признаться, не верю я этим французам.

— Почему?

— Так как-то... Кричат: «Искусство, искусство!» А что такое искусство, почему искусство? — никто не знает.

— Я вас немного не понимаю — что вы хотите сказать словами: «Почему искусство»?

— Да так: я вот вас спрашиваю — почему искусство?

— То есть как — почему?

— Да так! Вот небось и вы даже не ответите, а то французские какие-то живописцы. Наверное, все больше из декадентов.

— Почему же уж так сразу и декаденты? Ведь декаденты недавно появились, а эта выставка за сто лет.

— Ну, половина, значит, декадентов. Вы думаете, что! Им же все равно.

— Давайте лучше рассматривать картины.

— Ну, давайте. Вы рассматривайте ту, желтую, а я эту.

— Что ж тут особенного рассматривать — вот я уже и рассмотрел.

— Нельзя же так скоро. Вы еще посмотрите на нее.

— Да куда ж еще смотреть?! Все видно как на ладони: стол, на столе яблоки, апельсины, какая-то овощь. Интересно, как она называется?

— А какой номер?

— Сто двадцать седьмой.

— Сейчас... Гм! Что за черт! В каталоге эта картина называется «Лесная тишина». Как это вам понравится?! У этих людей все с вывертом... Он не может прямо и ясно написать: «Стол с яблоками» или «Плоды». Нет, ему, видите

ли, нужно что-нибудь этакое почуднее придумать! Лесная тишина! Где она тут? А потом возьмет он, нарисует лесную тишину и подпишет: «Стол с апельсином». А я вам скажу прямо: такому молодцу не на выставке место, а в сумасшедшем доме!

— Ну, может быть, это ошибка. Мало ли что бывает: типографщик напился пьяный и допустил ошибку.

— Допустим. Пойдем дальше. А это что за картина? Ну... голая женщина, — это еще ничего. Искусство там, натура, как вообще... Какая-нибудь этакая Далила или Семирамида. Какой номер? Двести восемнадцать? Посмотрим. Вот тебе! Я же говорю, что у этих людей вместо головы коробка от шляпы! И это называется «новым искусством»! Новыми путями! Может, скажете — опять типографская ошибка? Нарисована голая женщина, а в каталоге ее называют: «Вид с обрыва»! Нет-с, это не типографская ошибка, а тенденция! Как бы почудней, как бы позабористее на голову стать. Эх вы! Просвещенные мореплаватели!

— Это не англичане, а французы.

— Я и говорю. И я уверен, что вся выставка в стиле «О, закрой свои голубые ноги». Это что? Четыреста одиннадцатый? Лошадки на лугу пасутся. Как оно там? Ну конечно! Они это называют «Заседание педагогического совета»!

— А знаете — это мне нравится. Тут есть какая-то сатира... Гм! Ненормальная постановка дела высшего образования в России. Проект Кассо...

— Нет! Нет! Вы посмотрите! Тут нормальному человеку нужно с ума сойти! Я бы за это новое искусство в Сибирь ссылал! Вы видите? Нарисован здоровенный мужчинище с бородой, а под этим номером творец сего увража в каталоге пишет: «Моя мать»... Его мать! Да я б его... Нет, не могу больше! Я им сейчас покажу, как публику обманывать. Ты, милый мой, хоть и декадент, а тюрьма для декадентов и для недекадентов одинаковая! Эй, кто тут! Вы капельдинер? Билеты отбираете? За что? Может, и у вас новое течение? Посмотрите вашими бесстыдными глазами — кто это может допустить?! Это какой номер? Девяносто пятый? Мужчина с бородой? А в каталоге что? Девяносто пятый — «Моя мать»? Мать с бородой? Юлия Пастрана? Или зарвавшаяся наглость изломанных идиотов, которым все прощается? Я вас спрашиваю! Что вы мне на это скажете?

— Что я скажу? Позвольте ваш каталог... Вы сейчас откуда?

— Мы, миленький мой, сейчас из такого места, которое не вам чета! Там художники хранят святые старые традиции! Одним словом — с академической выставки, которая...

— Вы бы, господин, если так экономите, то уж не кричали бы, ведь у вас каталог-то не нашей, а чужой выставки.

ЗОЛОТЫЕ ЧАСЫ

История о том, как Мендель Кантарович покупал у Абрама Гендельмана золотые часы для подарка своему сыну Мосе, наделала в свое время очень много шуму. Все местечко Мардоховка волновалось целых две недели и волновалось бы еще месяц, если бы урядник не заявил, что это действует ему на нервы.

Тогда перестали волноваться.

Все местечко Мардоховка чувствовало, что и Гендельман, и Кантарович — каждый по-своему прав, что у того и другого были веские основания относиться скептически к людской честности, и тем не менее эти два еврея завели остальных в такой тупик, из которого никак нельзя было выбраться.

— Они не правы?! — кричал, тряся седой бородой, рыбник Блюмберг. — Так я вам скажу: да, они правы. В сущности. Их не обманывали? Их не надували за их жизнь? Сколько пожелаете! Ну, и они перестали верить.

— Что такое двадцатый век? — обиженно возражал Яша Мельник. — Они говорят, двадцатый век — жульничество! Какое там жульничество? Просто два еврея с ума сошли.

— Они разочаровались людьми — нужно вам сказать. Они... как это говорится?.. О! вот как: скептики. Вот они что.

— Скептики? А по-моему, это гениальные люди!

— Шарлатаны!

Дело заключалось в следующем.

Между Кантаровичем и Гендельманом давно уже шли переговоры о покупке золотых часов. У Гендельмана были золотые часы стоимостью двести рублей. Кантарович сначала предлагал за них полтораста рублей, потом сто семьдесят, сто девяносто пять, двести без рубля и, наконец, махнув рукой, сказал:

— Вы, Гендельман, упрямый, как осел. Ну, так получайте эти двести рублей.

— Где же они? — осведомился Гендельман, вертя в руках свои прекрасные золотые часы.

— Деньги? Вот смотрите. Я их вынимаю. Двести настоящих рублей.

— Так что же вы их держите в руках? Дайте я их пересчитаю.

— Хорошо, но вы же дайте мне часы.

— Что значит — часы? Что, вы их разве не видите в моих руках?

— Ну да. Так я хочу лучше их видеть в моих руках.

— Не могу же я вам отдать часы, когда еще не имею денег?

— А спрашивается, за что же я буду платить деньги, когда часов *не имею*?

— Кантарович! Вы мне не доверяете?!

— А что такое доверие? Если бы знали, сколько раз меня уже обманывали: и евреи, и русские, и французы разные. Я теперь уже разверился в человеческих поступках.

— Кантарович!!! Вы мне не доверяете?!

— Не кричите. Зачем делать скандал? Ну, впрочем, ведь и вы мне не доверяете?

— Я доверяю, но только — двестирублевые часы, а?! Вы подумайте!

— Что мне думать? Мало я думал! Ну, давайте так: вы покладите на стол часы, а я деньги. Потом вы хватайте деньги, а я часы.

— Гм... Вы предлагаете так? Кантарович! Вы думаете, меня и немцы не обманывали? И немцы, и... татары всякие. Малороссы. Ой, Кантарович, Кантарович... Я теперь уже ничему не верю.

— Что же вы думаете: что я схвачу и часы, и деньги и убежу?

— Боже меня сохрани! Я ничего не думаю. Но вы знаете, если я потеряю часы и не получу денег — это будет самый печальный факт.

— Ну, хорошо... смотрите в окно: водовоз Никита привез воду. Это очень честный человек. Дайте ему ваши часы, а я деньги. Пусть он нам раздаст потом наоборот.

— Гм!.. Это ваша рекомендация... А не хотите ли моей рекомендации: пойдем к лавочнику Агафонову и он нам сделает то же самое.

— Смотрите-ка! Вы не доверяете водовозу Никите? Так знайте: я торжественно не доверяю лавочнику Агафонову!!

— Так Бог с вами, если вы такой — разойдемся!

— Лучше разойдемся. Только мне очень жаль, что я не получаю этих часов.

— А вы думаете, мне было не нужно этих двухсот рублей? О, еще как!

— Так мы сделаем вот что, — сказал Кантарович, почесывая затылок. — Пойдем к господину уряднику и попросим его посредничества. Он лицо официальное!

— Ну, это еще так-сяк.

Гендельман и Кантарович оделись и пошли к уряднику. Шли, задумчивые.

— Стойте! — крикнул вдруг Кантарович. — Мы идем к уряднику. Но ведь урядник — тоже человек!

— Еще какой! Мы дадим ему часы, деньги, а он спрячет их в карман и скажет: пошли вон, к чертям.

Оба приостановились и погрузились в раздумье.

По улице шли двое: Яша Мельник и старик Блюмберг. Они увидели Кантаровича и Гендельмана и спросили их:

— Что с вами?

— Я покупаю у него часы. Он не дает мне часов, пока я не дам ему денег, а я не даю ему денег, так как не вижу в своих руках часов. Мы хотели эту сделку доверить уряднику, но какой же урядник доверитель, спрашивается?

— Доверьте становому приставу.

— Благодарю вас, — усмехнулся Кантарович, — сами доверяйте становому приставу.

— Это, положим, верно. Можно было бы доверить губернатору, но он как только увидит евреев — сейчас же и вышлет. Знаете, что? Доверьте мне!

— Тебе? Яша Мельник! Тебе? Хорошо. Мы тебе доверим, так дай нам вексель на четыреста рублей.

— Это верно, — подтвердил старый Блюмберг, — без векселя никак нельзя!

— Ой! Неужели я, по-вашему, жулик?

— Вы, Яша, не жулик, — возразил Гендельман. — Но почему я должен верить вам больше, чем Кантаровичу?

— Да, — подтвердил недоверчивый Кантарович. — Почему?

Через час все население местечка узнало о затруднительном положении Гендельмана и Кантаровича.

Знакомые приняли в них большое участие, суетились, советовали, но все советы были крайне однообразны.

— Доверьте мне! Я сейчас же передам вам с рук на руки.

— Мы вам доверяем, Григорий Соломонович... Но ведь тут же двести рублей деньгами и двести — часами. Подумайте сами.

— Положим, верно... Ну, тогда поезжайте в город к нотариусу.

— Нате вам! К нотариусу. А нотариус — машина, что ли? Он тоже человек! Ведь это не солома, а двести рублей!

Комбинаций предлагалось много, но так как сумма — двести рублей — была действительно неслыханная, все комбинации рушились.

* * *

Прошло три месяца, потом шесть месяцев, потом год... Часы были как будто заколдованные: их нельзя было ни купить, ни продать.

О сложном запутанном деле Кантаровича и Гендельмана все стали понемногу забывать... Сам факт постепенно изгладился из памяти, и только из всего этого осталась одна фраза, одна крошечная фраза, которую применяли мардоховцы, попав в затруднительное положение:

— Гм!.. Это так же трудно, как купить часы за наличные деньги.

Часть III

ЦВЕТИКИ В ТРАВЕ

НАЧАЛЬСТВО
(Провинциальные типы)

ГОРОДОВОЙ

Кроткое безответное существо. Выдерживает стужу, жару, дождь и ветер изумительно. Одет в неуклюжую, как будто накрахмаленную шинель и невероятной громоздкости сапоги из гиппопотамьей кожи... В мирное время имеет дело главным образом с извозчиками и пьяными. Разговор у него с извозчиками следующий: «Милый мой, потрудитесь держаться правой стороны... вы меня этим очень обяжете!.. Послушайте, дорогой ломовик! Нельзя въезжать оглоблей в затылок мирного прохожего. Извините меня, но осторожность в данном случае не мешает».

Разговор провинциального городового с пьяным:

— Милостивый государь! Вы, кажется, вышли из равновесия... Потрудитесь опереться о мое плечо. Ничего, ничего... Не смущайтесь.

Провинциальный городовой взяток не берет.

ОКОЛОТОЧНЫЙ

Человек, хотя высшего образования не получивший, но имеющий солидный налет культурности. Избегает употребления спиртных напитков, следит за литературой, не чужд сентиментальности.

В участке ведет с арестованным громилой или карманщиком такой разговор:

— Конечно, до суда я не имею права считать вас виновным, но я думаю, что эти золотые часы и горячий самовар

вы приобрели не совсем легальным способом... Что делать... Я не вымогаю у вас сознание расспросами, но задержать, к сожалению, принужден. Что делать? Dura lex — sed lex...*

Взяток околоточный не берет.

ПРИСТАВ

Нет ничего симпатичнее провинциального пристава. Это весельчак, остроумец, душа общества; говорит хорошо поставленным баритоном, крестит у купцов детишек и всякий раз поднимает неимоверный скандал, когда кто-нибудь по глупости попытается предложить ему взятку.

С арестантами и ворами обращается еще мягче околоточного — даже пересахаривает.

Взяток не бер... Впрочем, мы об этом уже говорили выше.

ПОЛИЦЕЙМЕЙСТЕР

Несмотря на свое высокое положение, полицеймейстер для всех доступен. Всякий, самый последний нищий может искать у него справедливости и защиты. С купцами водит только духовную дружбу, так как вегетарианец, и все эти окорока ветчины, балыки, икра и коньяки — для него звук пустой.

Перед законом преклоняется. Либерал и втайне немного симпатизирует евреям.

Взяток провинциальный полицеймейстер, конечно, не берет.

ПОЗДРАВИТЕЛЬ
(Гримасы быта российского)

Русский поздравитель резко распадается на две части.

I

— Что же это, Иван Семеныч, такое? Не ожидал я от вас, не ожидал!..

— Что такое?

— Да то и такое, что нехорошо. Неблагородно.

— Позвольте...

---

* Закон суров — но это закон (лат.).

— Ничего я вам и позволять не желаю... На прошлой неделе был мой юбилей — хоть бы вы чихнули в мою сторону, не то что поздравили...

— Я, право... не знал. Был занят.

— Ну конечно! Весь мир знал, кроме вас. Весь мир поздравлял меня, а только один Иван Семеныч, изволите ли видеть, был занят! Вся вселенная приносила мне поздравления — Закускин, Пузыревич, Красноухов, свояченица Красноухова и Шаплюгин с теткой, — только Ивану Семеновичу не до поздравлений!

— Я очень извиняюсь... В другой раз...

— Нет-с, при чем тут другой раз. Не в другой раз, потому что, надеюсь, мы и вообще-то с вами после вашего поступка знакомы не будем...

— Гм... как хотите. И не надо. Тоже... поздравлять еще всякого...

— И пошел вон! Чтобы духу твоего не было!

II

— Вам что?

— Поздравлять твоего барина пришли.

— Дома нет.

— Как так дома нет! Который раз приходим — и все нет дома. Пятый, чай, раз приходим.

— Да вам что нужно-то?

— Поздравить хотим.

— Так поздравили и идите. Я передам, когда барин вернется.

— Да он дома. Вон его и шуба висит.

— Он в пальте ушомши. Идите, идите, я передам.

— Нет-с, не пойдем! Ты нам своего барина подай — мы его поздравить желаем!

— Так ежели его нет.

— Нет? А ну, Филька, сыпь в комнатьё! Мы посмотрим! Мы его разышшем. Не отвертится он — поздравим! Это что? Комната? Какое тут такое есть живое существо? Кинарейка одна! К дьяволу кинайреку! Шагай дальше... Посмотри под диваном!.. Нет? А ну, дальше! За двери заглядывайте! Может, он за дверью притулился... Что же это такое, который раз поздравлять приходим — все он прячется. Гляди,

братцы, чей это сапог за занавеской! Есть? Тащи его, тащи... Попался, голубчик? Барин, что ли?

— Он.

— Что вам, добрые люди, от меня надо?

— Поздравить, значит, вас пришли, как говорится, с праздником. С наступающим.

— После, после поздравите. Сейчас некогда.

— Нет, не после, еловая голова! Нам тебя сейчас проздравить нужно, а это «после» мы знаем.

— Да не хочу я ваших поздравлений!..

— Как это так— не хочешь? Уж от этого, брат, не отвертишься. Верно, ребята?

— Уж это так! Вот, стало быть, мы тебя поздравляем и — поздравляем — хоть ты мне черта дай!

— Вот наказание-то... Сколько вас?

— Пятеро.

— Ну, нате — вам.

— Э, нет, барин. Это на троих будет. Трое, значит, только и проздравили, а двое, значит, еще и не проздравляли. Значит, вот мы и хотим все, как есть, вас проздравить.

— А, чтоб вам провалиться, ироды, мерзавцы, хулиганы! Нате, лопайте! Подавитесь!

— Балдарим покорниче! Все, ребята?

— Все. Поздравили...

— Тэк-с! Вали, ребята, следующего проздравлять.

— Проваливайте! Чтоб вам по дороге ноги себе переломать.

— Хо-хо-хо!.. Не любишь?..

УДИВИТЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА

> В течение 4 дней «Новое время» смешало журналиста Бриссона с президентом палаты, его однофамильцем, превратило город Гриммзби в депутата, а Ллойд-Джорджа в город, и заявило. что герцог Бенавенте происходит из рода Веласкеца, в то время когда последним только был написан портрет Бенавенте...

Автор приводит целиком один из ближайших номеров газеты «НОВОЕ ВРЕМЯ».

Передовая

Мы давно уже указывали на необходимость решительных шагов в отношении Финляндии. По слухам, город Михелин глухо волнуется, и начальник красной гвардии Таммерфорс уже выехал в Свинхувуд для свидания с революционными главарями тайного общества «Капля молока» — шведом Росмерсгольм и чухонцем Куоккала.

Телеграммы собств. корр.

Вилла Боргезе. Опасно заболел бывший турецкий султан Магомет-Али. Экстренно вызван знаменитый гинеколог Веласкец.

Тегеран. Бывший главарь персидских революционеров, нынешний полицеймейстер Ефрон выступил с войском против персидского разбойника Брокгауза.

Шемаха. Отсюда сообщают, что отряды Брокгауза и Ефрона соединились.

Берлин. Блестящий прием был устроен германским императором Вильгельмом Теллем испанскому королю Христофору Колумбу. Во время парада беспрерывно звонили пушки и был произведен залп из колоколов.

Брюссель. На похороны бельгийского короля Леопольда-да-Винчи прибыли три его дочери: Эстляндия, Лифляндия и Курляндия.

Рио-де-Жанейро. Морозы в 40° по Робеспьеру. Гвадалквивир стал.

Фельетон

После всей этой современной писательской свистопляски приятно отдохнуть на настоящей старой литературе... На днях мне удалось прочесть знаменитую «Анфису» популярного историка Костомарова, и невольно поражаешься: какая глубина, какая свежесть! Будто бы это не 80 лет тому назад написано, а вчера... И такими жалкими кажутся все эти Леониды Андреевы с их «Саввами Мамонтовыми», и Брюсовы с устаревшими уже календарями того же названия...

Смесь

Как приготовить бульон для выздоравливающих. На тарелку воды берут два фунта говядины, перцу, английской соли, рюмку царской водки и немного серной кислоты.

Склеенные этим составом вещи не дают трещин и, как всякое животное, любящее ласку, они страшно привязываются к своему хозяину. Другие растения можно поливать тем же составом, но гораздо реже...

Редактор М.А. Суворин.

ТЕОРЕТИКИ

Однажды я подслушал разговор двух дураков — моих соседей по ресторанной комнате. Чтобы не смущать их и не спугнуть, я закрылся газетным листом.

Привелось мне услышать вот что:

— Слушайте... Почему это, когда выпьешь, то голова болит?

— Не пей, тогда и болеть не будет.

— Предположим. Ну а если я уже выпил?

— Так тебе и надо. Пусть болит.

— Я не о том. Раз, так сказать, факт совершен, то будем говорить в постфактум.

— Ты бы не в пост об этом говорил, а на масленой. Теперь что ж, после драки кулаками махать...

— Ах, как вы меня не понимаете! Я интересуюсь научной подкладкой, а вы мне обыденные факты.

— Да тебе что надо?

— Я спрашиваю: почему, когда человек выпьет, у него голова болит?

— За свою глупость платить надо.

— Так-с. Это моральная оценка события. А я интересуюсь физиологической стороной.

— Ничего я тебя, братец мой, не пойму.

— Ну вот: берете вы рюмку и вливаете ее в рот, так? Куда она идет?

— Явно — в желудок.

— Хорошо-с. Желудок ведь находится по отношению к голове внизу?

— Ну?

— Так вот меня интересует — почему, если хмель скопляется в желудке, почему — он попадает в голову. Как мы знаем — земное притяжение...

— Дурак ты дурак, как я на тебя посмотрю!

— Почему, разрешите узнать? Как нам известно, земное притяжение...

— Видал ты когда-нибудь живого пьяного?

— Хи-хи... Приходилось.

— Идет эт-то он по улице — песни поет. Язык и горло работают вовсю, а ноги не держат! Почему? Ясно, что водка из живота в ноги просачивается. Голова свежая, а ноги пьяные. И вот, братец ты мой, когда ноги уже окончательно подкосятся — этот человек падает прямо-таки головой вниз на мостовую. Вот — тут-то, когда голова ниже живота, — все ему в голову и переливается... А поэтому: пока человек на ногах держится — он еще ни капельки не пьян...

ЦЕПИ
(*Диалог*)

Посвящается петербургской газете.

Наивный зритель. Г. режиссер! Мне очень странно...

Режиссер. Что вам такое там странно?

— Да вот... Читаю я в газете, что публика на вашем вчерашнем спектакле смертельно скучала, артисты играли пьесу с гримасой отвращения, и премьер был похож на высеченного могильщика, хотя играл самую комическую роль... А я вчера сам видел, как публика хохотала, артисты были в ударе и премьер играл, как никогда. В чем здесь дело? Почему так написано?

— Боже ты мой! Это ясно как день... Потому и написано, что инженер Царапов разошелся со своей женой!

— При чем же здесь инженер Царапов?

— Как при чем? Разойдясь с женой, он сошелся со вдовой Бедровой.

— А что такое — Бедрова?!

— А у Бедровой есть брат — помещик Ляпкин.

— Какое же Ляпкин имеет отношение к театру и газете?

— Ляпкин не имеет отношения. Но у него есть племянница Куксина.

— Какая Куксина?

— Никакая. Просто Куксина. А у этой Куксиной есть зять, сестра которого, Червякова, играла в нашем театре.

— Ну?

— А мы третьего дня уволили ее за полной неспособностью и бездарностью!

— Убейте меня — не пойму, при чем здесь зять Куксиной, Куксина, Ляпкин, Бедрова и Царапов?!

— Это просто, как палец! Царапов — двоюродный брат рецензента, написавшего рецензию. Когда мы увольняли Червякову, то совсем позабыли, что она может пожаловаться зятю, тот Куксиной, та Ляпкину, тот Бедровой, та Царапову, а тот двоюродному брату, рецензенту...

— Какое же ваше мнение об этом?

— Да такое, что не нужно бы Червякову увольнять: пусть бы, черт ее возьми, получала свои сто рублей.

СТИЛЬ – ЧЕЛОВЕК

«Вечерние бержевые ведомости» сообщают данные об отце покойного художника Мясоедова:

Это был человек без вершка сажень ростом и широченный в плечах. Однажды на охоте, уронив случайно в снег кинжал, этот гигант голыми руками задушил крупного медведя.

Судя по слогу, в шубе из этого медведя теперь щеголяет Николай Николаевич Брешко-Брешковский.

Если вы встретите его, читатель, спросите:

— Неужели голыми руками можно задушить крупного медведя?

— Ну, не крупного, — скажет Н.Н., подумавши. — Небольшого роста.

— Задушить руками?!

— Да, руками. Он, конечно, защищался, лаял...

— И его... голыми руками?

— Очень просто. Мяукал, царапался, но — его задушили.

— Руками?!

— А то чем же? Под самым карнизом окна гнездо себе свили, подлецы! Сидят, воркуют, а гигант покойник ка-ак рукой двинет — дух вон. Одной рукой задушил!

— Рукой?

— Ну да. Она села на лоб, а он рукой — трах! Здоровый был старик — не пикнула.

— Кто?!
— Да муха же.
— Да почему же он кинжал в снег уронил? Разве зимой мухи бывают?
— Кинжал? — Брешко задумался. — Да, кинжал он уронил в другой раз.

СОВЕСТЬ

«На местах».
— Кто вы такой?
— Депутат четвертой Думы.
— Да нет, я спрашиваю, чем вы занимаетесь?
— Господи! Да депутат же!
— И вам не стыдно?
— Чего?
— Да так вообще, не стыдно?
— Да чего же мне будет стыдно?
— Нет, вы не виляйте — посмотрите мне прямо в глаза и отвечайте: вам не стыдно?
— Я право... не понимаю...
— Да вы этого не говорите! При чем тут — «понимаю, не понимаю», вы скажите только: вам не стыдно?
Пауза.
— Ну?
— Что?!
— Чего же вы молчите?
— Да что же мне сказать?
— Вам не стыдно? Вы только признайтесь откровенно, вам стыдно или не стыдно?
Пауза.
— Ну, стыдно!
— То-то вот и оно. Оба вздыхают и расходятся.

ЦЕНИТЕЛЬ ИСКУССТВА

— Там спрашивают вас, ваше пр-во.
— Кто спрашивает?
— Говорит: Бакст.

— Жид?

— Не могу разобрать.

— О, Господи! Доколе же... Ну, проси...

— Что вам угодно, молодой человек?

— Я художник Бакст. Здравствуйте. Мне хотелось бы получить право жительства в столицах.

— А вы кто такой?

— Еврей. Художник. Рисовал костюмы для императорской сцены, работал за границей; в Париже и Лондоне обо мне пишутся монографии.

— Монографии? Это хорошо. Пусть пишутся.

Бакст переступил с ноги на ногу, проглотил слюну и сказал:

— Так вот... Нельзя ли мне... право жительства?

— Нельзя.

— Почему же?

Его пр-во встало и сказало значительно, с выражением человека, исполняющего долг:

— Потому что! Правом жительства! У нас! В России! Пользуются! Только! Евреи-ремесленники!

— Ну-с?

— А какой же вы ремесленник?

Снова Бакст переступил на первую ногу; снова проглотил слюну — и, после минутной борьбы с самим собой, сказал:

— Ну, я тоже ремесленник.

Его пр-во прищурилось.

— Вы? Ну что вы! Вы чудесный художник!

— Уверяю вас — я жалкий ремесленник! Ей-Богу! Все мои эскизы, костюмы и картины — жалкое ремесло.

— Ну что вы! Можно ли говорить такой вздор? Милый мой, вы великолепны! Вы гениальный рисовальщик и колорист. Какое же это ремесло?

— А я все-таки чувствую себя ремесленником. Возьмите мои костюмы для Шопенианы, мои эскизы для Шехеразады — ведь это самое ничтожное ремесленничество.

Его пр-во потрепало Бакста по плечу.

— Оставьте, оставьте. Я, милый мой, тоже кое в чем разбираюсь и люблю искусство. Ваши эскизы — это откровение! Это подлинное, громадное искусство!! Вам нужно памятник поставить.

— Значит... я могу надеяться на право жительства?

— Вот именно, что не можете!! Будь вы ремесленник — тогда, пожалуйста. Вот, например, если бы Бодаревский, или Штемберг, или Богданов-Бельский были евреями — пожалуйста. Им — хоть три права жительства! Где угодно. А вы, мой милый... Нет, это было бы оскорблением святому искусству. Что? Вот ваша шляпа... До свиданья!

Усталый, Бакст поплелся домой.

Вошел в мастерскую. Чудесные, ласкающие глаз рисунки и эскизы смотрели на него вопросительно. В их причудливых линиях и пятнах читался вопрос:

— Дали?

В ответ на это Бакст погрозил им кулаком и бешено заревел:

— Будьте вы прокляты! Из-за вас все!!

ЭНТУЗИАСТ

На благотворительном концерте.

— Прелестно, прелестно!.. Вы, сударыня, сейчас очаровательно спели... Это прямо преступление!..

— Что такое?

— ...Что вы не учитесь серьезно, не развиваете свой голос!..

— Но...

— Нет, нет — без всяких «но»! Господи! Да ведь это целое богатство!.. Вы могли бы даже петь со временем в опере...

— Да, позвольте...

— Ни-ни! Ничего не могу позволить!.. Еще раз повторяю: учиться и учиться! Обратить самое серьезное внимание...

— Позвольте! Это совершенно излишне...

— Сударыня, сударыня!.. Знаю заранее все, что вы скажете: что вы смотрите на это как на пустяк, что не придаете этому значения — все знаю! И как вы будете не правы! Если бы вы серьезно занялись своим голосом...

— Черт возьми! Дайте же мне слово сказать...

— Говорите! Но только последний раз повторяю: обратите серьезное внимание на ваши данные... учитесь!

— Господи! Да ведь я, поймите вы, Долина! Певица Долина — заслуженная артистка императорских театров.

МОСКОВСКОЕ ГОСТЕПРИИМСТВО

— А! Кузьма Иваныч!.. Как раз к обеду попали... Садитесь. Что? Обедали? Вздор, вздор! И слушать не хочу. Рюмочку водки, балычку, а? Ни-ни! Не смейте отказываться... Вот чепуха... Еще раз пообедаете! Что? Нет-с я вас не пущу! Агафья! Спрячь его шапку. Парфен, усаживай его! Да куда ж вы? Держите! Ха-ха... Удрать хотел... Не-ет, брат... Рюмку водки ты выпьешь! Голову ему держите... вот так! Рраз!.. Ничего, ничего. На вот, кулебякой закуси. Что? Ничего, что поперхнулся... Засовывайте ему в рот кулебяку. Где мадера? Лейте в рот мадеру! Да не рюмку! Стакан! Что? Не дышит? Ха-ха! Притворяется... Закинь ему голову, я зубровочки туда... Вот так! Парфен! Балыка кусок ему. Да не весь балык суй, дурья голова. Видишь — рот разодрал... Не проходит? Ты вилкой, вилкой ему запихивай. Место очищай... Так. Теперь ухи вкатывай... Что? Из носу льется? Зажми нос! Осетрину всунул? Пропихивай вилкой! Портвейном заливай. Ха-ха. Не дышит? А ты вилкой пропихни. Что?.. Ну, возьми подлиннее что-нибудь... Так... Приминай ее, приминай... Что? Неужто же не дышит? (Пауза.) Мертвый! Ах ты ж оказия! С чего бы, кажется... Ну, как это говорится: царство ему небесное в селениях праведных... Упокой душу. Выпьем, Парфен, за новопреставленного!

ЗАКОННЫЙ БРАК

(*Стихотворение в прозе*)

На берегу суетилась кучка людей...

Я подошел ближе и увидел в центре группы женщину, которая лежала, худая, мокрая, в купальном костюме, с закрытыми глазами и сжатыми тонкими губами.

— В чем дело? — спросил я.

— Купалась она. Захлебнулась. Насилу вытащили.

— Нужно растереть ее, — посоветовал я.

На камне сидел толстый отдувающийся человек. Он махнул рукой и сказал:

— Не стоит. Все равно, ничего не поможет.

— Да как же так... Попробуйте устроить искусственное дыхание... Может, отойдет.

— Мм... не думаю. Не стоит и пробовать, — сказал толстяк, искоса поглядывая на захлебнувшуюся.

— Но ведь нельзя же так... сидеть без толку. Пошлите за доктором!

— Стоит ли, — сказал толстяк. — До доктора три версты, да еще, может, его и дома нет...

— Но... попытаться-то можно?!

— Не стоит и пытаться, — возразил он. — Право, не стоит.

— Я удивляюсь... Тогда одолжите нам вашу простыню: попробуем ее откачать!

— Да что ж ее откачивать, — сказал толстяк. — Выйдет ли толк? Все равно уж... Будем считать ее утонувшей... Право, зачем вам затрудняться...

— Вы жалкий, тупой эгоист! — сердито закричал я. — Небось, если бы это был вам не чужой человек, а жена...

Он угрюмо посмотрел на меня.

— А кто же вам сказал, что она не жена? Она и есть жена... Моя жена!



КОММЕНТАРИИ



сорные травы



В настоящий том входят произведения писателя, созданные главным образом в 1912–1914 гг. и вошедшие в книги, выпущенные в 1914 г.

Дешёвая юмористическая библиотека «Нового Сатирикона» Выпуск 15 (1914)

Все рассказы, вошедшие в данный сборник, публиковались впервые. Рассказ «Три случая» впоследствии вошел в сборник «Отдых на крапиве» (1924), а рассказ «Муха» — в сборник «Рассказы циника» (1925).

Современный роман (типа 1913 года).

С. 15. *Управляющий государственной канцелярией Крыжановский...* — Сергей Ефимович Крыжановский (р. 1861) — товарищ министра внутренних дел (т.е. заместитель) (с 1906 г.), автор избирательного закона 1907 г., сенатор, государственный секретарь (с 1911 г.).

С. 17. *...П.Д. Боборыкин... использует эту схему для большой вещи в «Вестнике Европы».* — Петр Дмитриевич Боборыкин (1836–1921) — один из самых плодовитых русских писателей XIX–XX вв., автор романов, повестей, пьес, многотомных мемуаров, книг публицистики; стремился откликнуться на все значимые события своего времени. «Вестник Европы» (1866–1921) — художественно-публицистический ежемесячный журнал, проводивший взгляды либеральной русской буржуазии; издавался в Петербурге.

С. 22. *«Русское слово»* — либерально-буржуазная газета; издавалась в Москве в 1895–1917 гг.

Румынский флот.

С. 28. *...прейскурант фирмы Виккерс...* — Виккерс — имеется в виду английский военно-промышленный концерн Vickers Limited.

Рождество в Петербурге.

С. 29. *Бедным малюткам-витмеровцам посвящаю...* — В 1912–1917 гг. в Петербурге существовала межученическая организация — витмеровцы; некоторые называли ее революционным союзом. Однако у этой организации не было ни четкой программы, ни определенной цели. Единственное требование витмеровцев: чтобы к ним относились как к полноправным членам общества. Происхождение названия связано с тем, что в декабре 1912 г.в частной женской гимназии Витмер состоялась конференция учащихся средних учебных заведений Петербурга. Участников этой конференции, арестованных во время налета полиции (по доносу провокатора), впоследствии и назвали витмеровцами.

С. 30. *Над...сона читали.* — Семен Яковлевич Надсон (1862–1887) — поэт и критик; его стихи, проникнутые гражданской скорбью и осуждающие серую действительность, призывавшие к борьбе за светлое будущее, пользовались огромной популярностью. Его книга «Стихотворения» (1885) получила Пушкинскую премию и выдержала десятки изданий до революции. Чехов называл его лучшим поэтом 1880-х годов. В рассказе приводится много фрагментов из стихотворений Надсона.

...Огарки? — В 1906 г. писатель Скиталец (наст. имя Степан Гаврилович Петров, 1868–1941) выпустил повесть «Огарки. Типы русской богемы», где опоэтизировал анархию, стихийный бунт люмпен-пролетариев. Повесть высоко оценил А. Блок. Однако большинство критиков отнеслись к ней враждебно. Популярность ее была велика. Распространились слухи о собраниях молодых людей, которые при свете свечей устраивали оргии. Дошло до того, что даже П. Столыпин дал указание расследовать случаи разгула и оргий учащихся, которые вместо игры в революцию перешли к распутству, пьянству и разврату. Слово «ога-

рок», означавшее в повести «бедняга», приобрело значение «распутник».

Это что такое «факсимиле»? — Факсимиле (лат.) — точное воспроизведение каким-либо способом документа, фотоснимка, рукописи, чьей-либо подписи.

...«собственность литературного фонда». — В 1859 г. в Петербурге было основано Общество для пособия нуждающимся литераторам и ученым. К 1910 г. число членов равнялось 400, а общая сумма капиталов достигла 700 тыс. рублей. Кроме того, Фонду принадлежала недвижимая собственность на 150 тыс. руб. и права собственности на произведения некоторых авторов. Все издатели были обязаны перечислять Фонду некоторый процент доходов от издания литературных и научных книг. Благодаря этому Фонд имел возможность на свои средства осуществлять издания произведений многих авторов и пополнять тем самым свой капитал. В частности, в данном случае имеется в виду книга Стихотворения С.Я. Надсона. С портр., факсимиле и биографическим очерком. Изд. 18-е. Спб., 1900.

С. 31. *Мне душен мир разврата...* — цитируется стихотворение Надсона «О, если там...» (1878).

С каждым шагом вперед... — цитируется не вполне точно первая строфа стихотворения Надсона «С каждым шагом вокруг все черней и черней...» (1881).

«Вы жертвою пали в борьбе роковой»... — Первая фраза революционной песни рабочих, написанной неизвестным автором середины 1870-х годов. Существует несколько вариантов.

С тех пор как я прозрел... — цитируется начало стихотворения Надсона 1883 г.

С. 32. *...как будто специально для лиги свободной любви...* — В первое десятилетие XX в., в России в среде интеллигенции распространилась проповедь свободной любви, снятия всяческих табу с половых отношений, создавались и общества, где проповедовались свободные взгляды на отношения между полами.

О любви твоей, друг мой, я часто мечтал... — Начало стихотворения, датированного Надсоном 20.09.1881 г.

Постой, говорил он, моя дорогая... — Начало стихотворения Надсона 1880 г.

...что такое вакханки? — Вакханка — участница оргии, дикого разгула, название произошло от древнеримского праздника в честь Вакха — бога вина и веселья.

С. 33. ...заманчивая обложка «Приключений капитана Гатерраса» — популярный роман «Путешествия и приключения капитана Гаттераса» французского писателя Жюль Верна (1825–1905). Написан в 1886 г.

Из Художественно-юмористического календаря-альманаха на 1914 год.

Художественно-юмористический календарь-альманах на 1914 год был выпущен в издательстве «Новый Сатирикон» в начале 1914 года. Его авторами были писатели и художники, сотрудники журнала.

В основном материалы печатались здесь впервые.

Хозяйственные советы (Как составлять смесь).

Впервые: Синий журнал, 1913. № 8. Печатается по первой публикации.

С. 40. *...ученый в штате Миссури (Арканзас)* ... — И Миссури и Арканзас являются совершенно самостоятельными штатами в составе США.

Статистические данные о России.

С. 47. *Огюст Конт сказал... У Прудона есть такое место... Миклуха-Маклай говаривал...* — Огюст Конт (1798–1857), французский философ, основатель позитивизма; Пьер Жозеф Прудон (1809–1865), французский политический деятель, философ, социолог, экономист; Николай Николаевич Миклухо-Маклай (1846–1888), русский путешественник, этнограф. Разумеется, приписанные фразы, этим деятелям не принадлежат. Однако интересно то, что вполне могли быть ими произнесены. Здесь проявляется удивительная проницательность и эрудиция Аверченко.

Об анекдотах.

С. 51. *...А вы знаете анекдот о человеке, которого соблазнила жена яблоком...* — Имеется в виду библейский рассказ о Еве, которая предложила съесть Адаму плод с дерева познания добра и зла (Бытие, гл. 3, ст. 6).

Пасхальные сны.

С. 55. *Где Мечников? Где доктор Ру? Где Маркони?* — Называются самые известные в ту пору имена первопроходцев в своей области. Илья Ильич Мечников (1845–1916) — один из основоположников сравнительной патологии, эволюционной эмбриологии, иммунологии; совместно с Н.Ф. Гамалеей основал первую в России бактериологическую станцию. В 1908 г. удостоен Нобелевской премии (совместно с П. Эрлихом). Эмиль Ру (1853–1933) — французский микробиолог, разработал антидифтерийную сыворотку. Гульельмо Маркони (1874–1937) — итальянский радиотехник и предприниматель, первый получил патент (в 1897 г.) на изобретение радиоприемника. Создал акционерное общество по выпуску радиоаппаратуры. Нобелевская премия (1909, совместно с К.Ф. Брауном).

О немцах и прочем таком (1914)

Книжка вышла в Дешевой юмористической библиотеке «Нового Сатирикона» без указания номера выпуска в 1914 г. Все фельетоны, собранные в ней, публиковались впервые.

Книжка носит явный антинемецкий характер что, разумеется, сказывается на качестве юмора.

В настоящем издании воспроизводится по указанной публикации.

Салопница.

С. 64. *Когда у Германии с Англией произошел разрыв дипломатических сношений, император Вильгельм II... написал...* — Вильгельм II (1855–1941), германский император и король Пруссии (1888–1918), во внешней политике придерживался стремлений к экспансии, к переделу мира в интересах Германии.

С. 66. *Тут у нас завязалось нечто войны с Францией...* — В данном фрагменте рассказа Аверченко, хотя и с некоторыми неточностями, излагает начало Первой мировой войны. Исторически последовательность событий происходила следующим образом: 15 (28) июля1914 г. Австро-Венгрия, использовав в качестве предлога убийство эрцгерцога Франца Фердинанда, объявила войну Сербии. 19 июля (1 августа) Германия объявила войну России, 21 июля (3 августа) — Франции.

22 июля (4 августа) Великобритания объявила войну Германии; 10 (23) августа на стороне Антанты (союзного блока Англии, Франции и России, созданного еще в 1904–1907 гг.) вступила в войну и Япония. 16 (29) октября 1914 г. на стороне германо-австрийского блока вступила в войну Турция. 10 (23) мая 1915 г. к Антанте примкнула Италия. 1 (14) октября 1915 г. на стороне германо-австрийского блока выступила Болгария.

Молоко нужно с эмсом пить. — Эмс — курорт в прусской провинции Гессен-Нассау, славился своими щелочно-соляными источниками минеральной воды. Минеральная вода эмс пользовалась большой популярностью.

Союзник.

С. 70. *Hoch*! (нем.) — Ура!

Все младотурки раскрали. — Младотурки — европейское название националистической организации «Единение и прогресс», основанной в 1889 г. и возглавившей борьбу против феодального абсолютизма. В результате руководимой ими Младотурецкой революции 1908 г. пришли к власти, но не изменили феодально-клерикального строя Османской империи, не разрешили аграрных и национальных вопросов, способствовали подчинению Турции Германии. После поражения Турции в Первой мировой войне самоликвидировались.

Луч света во тьме.

С. 71. *...я им еще устрою Аустерлиц...* — 2 декабря 1805 года Наполеон одержал победу над австрийской и русской армиями. Эта победа считалась одним из важнейших военных достижений Наполеона.

Может быть, Виктория? — Виктория (1819–1901), королева Великобритании в 1837–1901 гг.

С. 72. *Как там зовут президента? — Вильсон.* — Вудро Вильсон (1856–1924) — американский политический деятель, президент США в 1913–1921 гг. На стороне Антанты США выступили лишь в апреле 1917 г.

Корсиканец.

С. 85. *«В мои годы Александр Македонский завоевал весь мир».* — Эта фраза принадлежит не Наполеону, а Юлию Цезарю, о чем сообщает римский историк Плутарх в книге «Жизнеописания двенадцати государей».

«После меня хоть потоп». — Эта фраза ошибочно приписывается французскому королю Людовику XV, она принадлежит его фаворитке маркизе Помпадур.

Возьмет какой-нибудь Алкивиад... — Алкивиад (ок. 450–404 до н.э.), афинский стратег (военачальник) с 421 г. в период Пелопоннесской войны, неоднократно переходил на вражескую сторону Спарты, в 411 г. поддерживал олигархические правительства в Афинах. Выиграл несколько морских сражений в 411–408 гг.

С. 85–86. *Высечет Ксеркс плетями море...* — Ксеркс (ум. в 465 до н.э.) — царь государства Ахменидов с 486 г. до н.э. Согласно легенде, во время войны с греками буря разрушила мосты через Геллеспонт, тогда Ксеркс высек Геллеспонт, и буря успокоилась.

С. 86. *Сорок веков смотрят на вас с высоты этих пирамид!* — Существует несколько вариантов этой фразы, с которой обратился генерал Бонапарт к солдатам перед сражением при египетских пирамидах 21 июля 1798 г.

С. 87. *...остается перевести вас на остров св. Елены...* — Остров св. Елены — небольшой остров вулканического происхождения в южной части Атлантического океана, колония Великобритании. Здесь в 1821 г. умер в ссылке Наполеон.

Цель, которая оправдывала средства.

С. 88. *Сказал «Петербург» вместо «Петрограда»!* — С началом Первой мировой войны Санкт-Петербург (название явно германского происхождения), был переименован в Петроград (явно русское название). Это название сохранялось до 1924 г., когда в честь В.И. Ленина (после его смерти) город был назван Ленинградом. В 1992 г. в порыве борьбы с советским прошлым городу вновь было дано первоначальное название — Санкт-Петербург.

С. 91. *Крестовского перечитываю.* — Всеволод Владимирович Крестовский (1840–1895) — автор многочисленных повестей и романов, написанных по шаблону французских авантюрных романов. Наиболее известен его роман «Петербургские трущобы» (1864–1867), где он достаточно убедительно и ярко показал городские контрасты. В романах «Панургово стадо» (1869) и «Две силы» (1874) он выступил против революционных настроений молодежи, в защиту существующего строя и идей монархизма и православия.

Заимствовал у Помяловского... — Николай Герасимович Помяловский (1835–1863) — писатель-реалист. Наиболее известны его произведения «Очерки бурсы» (1862–1863), повести «Мещанское счастье» (1862) и «Молотов» (1861), где он создал яркие образы разночинцев.

О хороших, в сущности, людях (1914)

Сборник впервые вышел в 1914 г. в Петербурге. При жизни автора многократно переиздавался.

Печатается по изданию: *Аверченко А.* О хороших, в сущности, людях. Изд. 6-е. Пг., 1915.

Юмор для дураков.

Впервые: Новый Сатирикон, 1913. № 18.

Бельмесов.

Впервые: Новый Сатирикон, 1913. № 6.

С. 101. «Вив ля Франс!» (фр. «Vive la France!») — Да здравствует Франция!

...да по Нотр-Даму и катается... — Автор утрированно подчеркивает глупость Бельмесова, ибо Нотр-Дам де Пари — это собор Парижской Богоматери, а не бульвар, площадь или улица.

Мнемоника в обиходе.

Впервые: Новый Сатирикон, 1913. № 19.

С. 105. *Мнемоника* (греч.) — искусство запоминания; иначе — мнемотехника — искусство запоминания каких-либо фактов, событий, чисел по закону ассоциаций.

С. 107. *...в слове «бенедектин» всего одиннадцать букв.* — В соответствии со старой орфографией одиннадцатой буквой был твердый знак.

Мопассан (*Роман в одной книге*).

Впервые: Новый Сатирикон, 1914. № 3.

Наслаждение жизнью.

Впервые: Новый Сатирикон, 1913. № 2.

С. 124. *...нельзя сказать, чтобы у амфитриона был вид беззаботного... кутилы...* — Амфитрион — согласно греческой мифологии внук Персея и приемный отец Геракла; он жил в городе Фивы и славился своим богатством, открытостью и хлебосольством. Здесь имя Амфитриона употреблено в нарицательном смысле для обозначения человека широкой натуры.

Одиннадцать слонов.

Впервые: Новый Сатирикон, 1913. № 1.

Женщина в ресторане.

С. 132. *Она кокетливо куталась в меховое боа...* — Боа (лат. — змея) — женский шарф из меха или перьев, напр. страусовых.

С. 134. *Скушайте дупеля...* — Дупель — болотная птица, из бекасов.

Секретарь из почтового ящика.

В журнале «Сатирикон», а затем и в «Новом Сатириконе» одним из самых ярких отделов был «Почтовый ящик», где печатались некоторые письма читателей и авторов в редакцию и ответы редакции. Иногда авторы писем подписывали их всевозможными псевдонимами. Один из таких эпизодов и послужил основой для рассказа. Вполне возможно, что в рассказе в несколько измененном виде воспроизведен реальный случай из жизни журнала.

С. 138. *Кто спрашивает? — Царь Эдип.* — Царь Эдип в греческой мифологии сын фиванского царя Лайя и его жены Иокасты, впоследствии сам ставший царем Фив. Судьба Эдипа с момента рождения была трагической. Его отец, страшась предсказания Дельфийского оракула, приказывает вывезти младенца в горы и там бросить. Ребенка все же спасают. Став взрослым, он однажды на дороге встречает отца и случайно убивает его. Попав в Фивы, он женится на Иокасте, не зная, что она его мать. Когда слепой прорицатель Тересий открывает истину, Иокаста кончает жизнь самоубийством, а Эдип ослепляет себя и уходит из города в сопровождении верной спутницы Антигоны — дочери Эдипа и Иокасты. Судьба Антигоны была тоже трагичной. После смерти отца с ней происходит много несчастий и в конце

концов она гибнет, заточенная в подземелье. Судьба Эдипа и Антигоны стала сюжетом самых знаменитых трагедий Софокла «Эдип-царь» и «Антигона».

Выбором псевдонима Аверченко подчеркивает примитивность и наглость персонажа рассказа.

С. 141. — *Короленко пишет?* — Владимир Галактионович Короленко (1853–1921) — писатель и публицист, почетный академик Российской АН. В 1879 г. был арестован по подозрению в связях с революционерами; в 1881–1884 гг. находился в ссылке в Якутии. Его произведения проникнуты гуманистическими и демократическими идеями. Писатель пользовался огромным авторитетом как у читателей, так и у собратьев по перу; его называли совестью русской литературы. Долгое время был редактором журнала «Русское богатство».

Барышня, «Русское богатство»! — «Русское богатство» — один из наиболее авторитетных русских толстых журналов, отражавших проблемы политики, истории, литературы. Основан в 1876 г. в Москве, затем издание переведено в Петербург. Выходил до 1918 г.

С. 142. — *Попросите к телефону Владимира Игнатьевича.*
— *Галактионовича, — поправил я.* — Редактором журнала в год публикации этого рассказа был Владимир Галактионович Короленко.

Фат.

Впервые: Новый Сатирикон, 1913. № 14.

Сельскохозяйственный рассказ.

Впервые: Новый Сатирикон, 1913. № 13.

Экзаменационная задача.

Впервые: Новый Сатирикон, 1913. № 16

С. 154. *Фраза... была украдена из какого-то романа Майн Рида...* — Томас Майн Рид (1818–1883) — английский писатель, автор многочисленных приключенческих романов; в 1839 г. переселился в Америку, много путешествовал, участвовал в войне с Мексикой; вернувшись в 1849 г. в Англию и поселившись в Лондоне, он посвятил себя литературной деятельности. Борьба за независимость и страдания угнетаемых народов Северной Америки — вот основная тема его

сочинений. Его романы «Белый вождь» (1855), «Квартеронка» (1856), «Оцеола, вождь семинолов» (1858), «Всадник без головы» (1866) и другие были сразу же переведены в России и пользовались огромной популярностью. Гуманизм и увлекательность сюжетов до сих пор делает романы писателя познавательным, актуальным и привлекательным чтением.

С. 156. *...забегали лошади, неся на своих спинах... вакэро и испанцев, владельцев далеких гациенд...* — Вакеро (исп.) — пастух. Гациенда (гасиенда) (исп.) — поместье.

С. 157. *...этот честный скваттер... креол в плаще.* — Скваттеры (*англ. squatter*) — фермеры, самовольно захватывавшие свободные земли; существовали до конца XIX в. в США, Австралии, некоторых других странах. Креолы (*исп. criollo*) — потомки первых колонизаторов в странах Латинской Америки, преимущественно испанского происхождения.

— *Каррамба!* — бормотал Вильям... — Caramba! (исп.) — Черт возьми!

Актриса.

Впервые: Новый Сатирикон, 1913. № 21.

Встреча.

Впервые: Сатирикон, 1909. № 41.

Новогодний тост (*Монолог*).

Впервые: Новый Сатирикон, 1914. № 1.

Рассказ впоследствии вошел в сборник пьес и монологов писателя.

Дебютанты (*Пасхальный рассказ*).

С. 181.. *Несть... ни эллина, ни иудея!* — Фраза из Послания апостола Павла к Галатам (гл. 3, ст. 28). Выражение вошло в поговорку. Смысл его: перед Богом все люди равны.

С. 183. *...светлый образ леди Годива...* — Леди Годива — легендарная покровительница города Ковентри в Англии. В 1040 г. ее супруг наложил тяжкие повинности на горожан, обещав отменить их, если его жена проедется через весь город обнаженной на коне. Прикрыв длинными волосами нескромные места, она проехала через город. Повинности были отменены. С тех пор ежегодно горожане отмечают это событие праздником.

О шпаргалке (*Трактат*).

Впервые: Сатирикон, 1910. № 20.

Упомянутые в рассказе исторические лица, разумеется, к шпаргалкам никакого отношения не имеют. Плиний Старший (23 или 24–79) – римский ученый и писатель, Плиний Младший (61 или 62 – ок. 114) – римский писатель, государственный деятель; Мальтус Т.Р. (1766–1834) – английский экономист, автор научно несостоятельного «естественного закона народонаселения»; Гейне Г. (1797–1856) – немецкий поэт и публицист; Гельмгольц Г.Л. Ф. (1821–1894) – немецкий ученый.

С. 185. *...вызвали знаменитый по своей жестокости закон Мальтуса.* – Мальтус Томас Роберт (1766–1834), английский политэконом и демограф в своем труде «Опыт о народонаселении...» (1803) изложил концепцию, согласно которой население имеет тенденцию расти в геометрической прогрессии, потенциально удваиваясь каждые 25 лет, а средства для его существования могут расти лишь в арифметической прогрессии вследствие законов убывающего плодородия почвы и убывающей производительности капитала. Теория Мальтуса оказала известное влияние и на ученых (в частности, Дарвина) и на политиков. Однако на деле она не отражала всего богатства взаимоотношений природы, человека, социальных явлений и опровергнута самим фактом бурного роста производительных сил во всех сферах и сдержанного роста населения. Хотя в известной мере принцип искусственного ограничения рождаемости принимается во внимание в большинстве цивилизованных стран.

Нянька.

С. 191. *...продать «блатокаю» награбленное...* – Блатокай (тюремно-блатной жаргон) – скупщик краденого.

С. 192. *Кто же это ее пришил?* – Пришить – на тюремно-блатном жаргоне означает «убить».

С. 193. *«Пожалуй тут будет фарт».* – На блатном жаргоне «фарт» – удача, счастье.

С. 196. *Не пассажир должен сначала прятаться...* – Пассажир (тюремно-воровской жаргон) – намеченная жертва преступления.

Рождественский день у Киндяковых.

С. 200. *Книга... «Дети капитана Гранта».* — «Дети капитана Гранта» (1867–1868) — один из самых популярных приключенческих романов Жюля Верна (1828–1905).

С. 204. *Такие паршивые печи... хоть на грубке пеки...* — Грубка — украинское название печки с лежанкой.

С. 205. *...сейчас макарон получишь.* — Макароны (блатной жаргон) — плеть, нагайки, хлыст.

Смерть африканского охотника.

С. 207. *Меня, десятилетнего пионера в душе...* — Здесь слово «пионер» (*англ.* pioneer) имеет первоначальное, основное значение — первопроходец, тот, кто осваивает новые территории.

Я допускал тоговлю кошенилью... — Здесь, очевидно, имеется в виду торговля краской, добываемой из насекомых, которые так и называются — кошениль (*исп.* cochinilla), обитающих главным образом в Мексике. До конца XIX в. Эта краска (кармин) широко использовалась, потом ее заменили анилиновые краски. Однако и по сей день кошениль применяется в некоторых отраслях промышленности (парфюмерной, пищевой и др.).

...в которых ездят южноафриканские боэры... — Боэры (боеры) — так называли в конце XIX – начале XX в. буров — потомков голландских колонистов в Южной Африке. Недовольные политикой английского правительства, они в 1836 г. переселились с побережья во внутренние области Африки, создав республики Трансвааль и Оранжевой реки. В 1902 г. в результате англо-бурской войны были покорены Англией.

С. 208. *...поглощаю двух своих любимцев: Луи Буссенара и капитана Майна Рида.* — Луи Анри Буссенар (1847–1910) — французский писатель, автор многочисленных приключенческих романов, действие которых разворачивается в экзотических странах.

...я вынимаю... бутылку бузы... — Буза — самодельное пиво из каши из смешанных круп (гречневой, пшенной, овсяной, ячневой и др.), залитой кипятком и подправленной цветками хмеля.

С. 209. *Кто оценит симфонию звуков хриплого аристона...* Аристон — небольшой ручной орган, в котором цилиндрический вал заменен круглой металлической пластинкой

с прорезями. Каждой музыкальной пьесе соответствует одна такая пластинка.

Я — как адвокат.

С. 214. *Testis unus testis nullus...* — Единственный свидетель — не свидетель (лат.).

Телеграфист Надькин.

Рассказ высмеивает апологетов популярной в те годы философии эмпириокритицизма и сторонников эгоцентрической морали, проповедовавшейся в годы политической реакции многими литераторами и философами.

В примечании к стихотворению В. Воинова «Одинокая душа» (Новый Сатирикон. 1913. № 10) говорится: «Телеграфист Надькин действительно существует. В прежнее время он часто присылал свои произведения, пытаясь проникнуть в печать — то под псевдонимом «Крестьянин», то «Юный Шиллер». Неоднократно был изловлен, изобличен и пристыжен».

Фома Опискин. Сорные травы (1914)

Сборник вышел в Петербурге в 1914 г. и больше не переиздавался. Очевидно, сам автор считал, что большинство составляющих его рассказов и фельетонов слишком привязаны к определенному отрезку российской истории и потому вряд ли сохранят интерес для новых поколений читателей, хотя и признавал (в предисловии), что такие рассказы, как «Грозное местоимение», «Виктор Поликарпович», «Новые правила», войдут в хрестоматию нашей политической и общественной жизни. Многие рассказы и фельетоны сборника обрели сегодня новую актуальность, ибо те явления, которые Аверченко высмеивал и бичевал почти век назад, расцвели пышным цветом именно в наши дни.

Текст сборника воспроизводится по первому и единственному изданию.

Он был выпущен под псевдонимом Фома Опискин (таково имя героя повести Ф.М. Достоевского «Село Степанчиково и его обитатели», моралиста-резонера. Этим псевдонимом

Аверченко подписывал некоторые свои публикации в «Сатириконе»). Однако в сборник помимо этих публикаций вошли рассказы, миниатюры и фельетоны, подписанные NN, Фальстаф и другими псевдонимами писателя.

Былое (Русские в 1962 году).

Рассказ написан в жанре антиутопии. Герой вспоминает былое — губернаторов-самодуров, губернаторов-антисемитов, период так называемой чрезвычайной охраны, разгул цензуры — как нечто давно забытое и навсегда ушедшее из российской жизни. Однако в начале XXI века многое возвращается из небытия. И потому рассказ актуален и сегодня.

С. 232. *...начнем с вятского губернатора Камышанского.* — Камышанский П.К. — прокурор петербургской судебной палаты. В 1910 г. — вятский губернатор.

И Толстой был тенденциозен, и Достоевский в своем «Дневнике писателя»... «Дневник писателя» (1873, 1876–1881) — своеобразное, обширное по охвату проблем современности и глубокое по своему содержанию произведение Ф.М. Достоевского, в котором он в публицистическо-художественной форме выразил свои взгляды на актуальнейшие вопросы российской действительности.

С. 233. *Муратова тамбовского тоже помню...* — Н.П. Муратов — тамбовский губернатор в 1912 г.

Какую книжку? Мопассана? «Бель-Ами»? — «Бель-Ами» («Bel-Ami») — «Милый друг» (фр.) — один из самых известных романов Ги де Мопассана (1850–1893).

«... Недаром многих лет свидетелем Господь меня поставил»... — цитата из монолога Пимена (А.С. Пушкин. «Борис Годунов», сцена «Ночь. Келья в Чудовом монастыре»).

Толмачева одесского тоже хорошо помню — Толмачев И.Н. — одесский генерал-губернатор (1907–1911), известный своим административным самодурством и антисемитизмом.

Эрлих? Жид? — Эрлих Пауль (1854–1915) — крупный немецкий врач, бактериолог и биохимик, основатель химиотерапии, лауреат Нобелевской премии (1908). В 1909 г. создал противосифилитический препарат сальварсан (он был 606-м по счету из испытанных препаратов, отсюда его второе название — «606»).

..Думбадзе тоже помню... — И.А. Думбадзе (1851–1916) — генерал-черносотенец; с 1916 г. градоначальник г. Ялты,

терроризировал население, вмешивался в судебные дела, в 1910 г. был уволен, но вскоре опять назначен градоначальником.

Редактор «Собакиной жизни».

С. 236. *Робеспьер выискался... Буланже!* — Буланже Жорж Эрнест (1837–1891) — французский генерал; в конце 1880-х гг. хотел совершить военный переворот в пользу монархии, был разоблачен, бежал в Бельгию, где покончил жизнь самоубийством.

«Аллон занфан». — Allons, enfants de la patrie (франц.) — Вперед, сыны отечества. Начальные слова «Марсельезы», французской революционной песни, национального гимна Франции; слова и музыка написаны в 1792 г. в Страсбурге Руже де Лилем (1760–1836).

Под сводом законов.

С. 237. *...партийный человек — кадет...* — Кадет — член Конституционно- демократической партии (сокращенно к. — д., кадеты), созданной в России в середине октября 1905 г. на съезде земцев-конституционалистов и членов «Союза освобождения». Партия кадетов занимала главенствующее положение в I и II Государственных думах, находясь там в оппозиции к царскому самодержавию. Партия выражала главным образом интересы либеральной буржуазии, стремившейся к дележу власти с царизмом.

Корибу.

Впервые: Сатирикон, 1910. 315. Подпись: Ave.

Проверочные испытания (*Схема*).

Впервые: Сатирикон, 1910. № 20.

С. 244. *...в котором году было положено основание династии карловингов?* — Карловинги или Каролинги — короли и императоры, принадлежащие к династии Карла Великого, или, вернее, прадеда Карла Великого — Пипина, графа Геристальского. Во Франции эта династия царствовала с 751 до 987 гг.

Сон в зимнюю ночь.

С. 247. *Сейте, как сказал поэт, разумную, добрую, вечную мяту...* — В рассказе высмеивается опошление строк

Н.А. Некрасова из стихотворения «Сеятелям» (1877), обращенного к «сеятелям знанья на ниву народную». «Сейте разумное, доброе, вечное», где подразумевалось, конечно же, просвещение народа, приобщение его к подлинным знаниям. В либеральной же журналистике, в выступлениях вождей псевдо-прогрессивных партий под разумным и вечным подразумевалась всевозможная чепуха, которая могла отвлечь народ от революционных устремлений: от мятных лепешек до зубочисток, нюхательного табака и пр.

Грозное местоимение.

Впервые: Сатирикон, 1912. № 17.

С. 252. *...стрельбу в рабочих на Ленских приисках...* — Событие, произошедшее 4 апреля 1912 г. на Ленских золотых приисках, расположенных на притоках Лены — реках Олекме и Витиме. Рабочие, возмущенные руководством англо-русского акционерного общества, направились к прокурору, чтобы вручить жалобу на действия хозяев и властей. Мирное шествие рабочих было встречено оружейными залпами. Было убито 270 рабочих и 250 ранено. Расстрел послужил толчком к усилению революционного подъема в России.

Его пр-во — бывший глава министерства... — Главой министерства торговли и промышленности В.И. Тимирязев был назначен летом 1906 г.

Виктор Поликарпович.

Впервые: Сатирикон, 1910. № 30. Подпись: Фальстаф.

Простой счет.

Впервые: Сатирикон, 1911. № 2. Подпись: Фома Опискин.

Кустарный и машинный промысел.

Впервые: Сатирикон, 1912. № 20. Подпись: Фома Опискин.

С. 260. *То сей, то оный набок гнется...* — цитата из стихотворения Ивана Ивановича Дмитриева (1760–1837) «Ермак» (1794), в котором описывается поединок казачьего атамана Ермака Тимофеевича (ум. 1585) с Мегмет-Кулом.

С. 261. *...меньшиковским нудным жидоедством...* — Из статьи в статью постоянный автор «Нового времени» Михаил Осипович Меньшиков (о нем см. комментарий в т. 1) повторял, что во всех бедах России виноваты евреи.

С. 262. *...думает, что публикации от такого же слова, как и ее занятие.* — Имеется в виду публичная женщина, т.е. проститутка. Здесь Аверченко еще раз намекает на то, что не зря журналистику считают второй древнейшей профессией (первой, по исторической традиции, считается проституция).

Буренину до них забота или господину Астолыпину? — В.П. Буренин — плодовитый публицист «Нового времени», своими взглядами близкий М.О. Меньшикову. Астолыпин — Александр Аркадьевич Столыпин, сотрудник редакции «Нового времени», публицист, брат Петра Аркадьевича Столыпина.

Отцы и дети.

Впервые: Новый Сатирикон, 1914. № 44.

С. 267. *Нас... на десять дней распустили...* — Государственная дума, ограниченное в правах представительное учреждение в России, созданное царским правительством в ходе буржуазно-демократической революции 1905–1907 гг., периодически разгонялась (распускалась). I Государственная дума (27 апреля — 8 июля 1906 г.) была разогнана 8 июля 1906 г. II Государственная Дума (20 февраля — 2 июня 1907 г.) была распущена 3 июня 1907 г. III Государственная Дума (1 ноября 1907–9 июня 1912 г.) распускалась на несколько дней. Во время работы IV Государственной Думы (15 ноября — 25 февраля 1917 г.) был произведен арест и суд над членами большевистской фракции в Думе.

С. 268. *...Годнев получил отметку...* — Годнев И.В. (1856–?) — член III и IV Государственных дум, октябрист: с марта по июль 1917 г. — контролер в составе Временного правительства.

...обыски делали... У депутата Петровского. — Петровский Григорий Иванович (1878–1959) — активный участник революционного движения в России: в 1912 г. избран членом IV Государственной думы от рабочей курии Екатеринославской губернии. В ноябре 1914 г. вместе с другими депутатами-большевиками был арестован, осужден и сослан в Туруханский край. После революции занимал ответственные государственные посты.

Человек-зверь (Материалы для нижегородской истории).

С. 269. *В приемной нижегородского губернатора Хвостова сидел мещанин...* — Алексей Николаевич Хвостов (1872–1918), (племянник Александра Алексеевича Хвостова, министра

юстиции и внутренних дел в 1915–1916 гг.), нижегородский губернатор в 1910–1912 гг., черносотенец, один из лидеров правых в IV Государственной Думе, министр внутренних дел (сент. 1915 – март 1916); расстрелян при советской власти.

Новое о Чехове.
Впервые: Сатирикон, 1910. № 4.

Жвачка.
Впервые: Сатирикон, 1910. № 6.

Душевная драма Феди Зубрякина.
Впервые: Сатирикон, 1909. № 8.
С. 278. *Новый курский депутат Пуришкевич...* — Владимир Митрофанович Пуришкевич (1870–1920) — крупный помещик, один из инициаторов создания Союза русского народа, депутат II–IV Государственных дум, участник убийства Г. Распутина. Хулиганское поведение во время заседания дум было отмечено многими современниками.
Аверченко утрированно рисует портрет В.М. Пуришкевича.

Кавказская история.
Впервые: Сатирикон, 1909. № 27.

Новые правила.
Впервые: Сатирикон, 1912. № 37. Подпись: Фома Опискин.

Первый весенний выход Меньшикова.
Впервые: Сатирикон, 1909. № 18.

Записки трупа.
Впервые: Сатирикон, 1910. № 21.
С. 295. *Гегечкори там разный, или Гучков...* — Гегечкори Евгений Петрович (1881–1954), депутат III Госдумы, один из руководителей грузинских меньшевиков. С 1921 г. эмигрант. Александр Иванович Гучков (1862–1936) — крупный фабрикант, председатель III Государственной думы; военный и морской министр в первом составе Временного правительства в 1917 г., после Октябрьской революции 1917 г. — эмигрант.

Дешевая жизнь.

Впервые: Сатирикон, 1910. № 49.

С. 297. *Сим победиши...* — Согласно легенде, изложенной в книге Евсевия Памфила (263–340) «Жизнь царя Константина», римский император Константин Великий в 312 г. накануне сражения с Максенцием увидел на небе крест с греческой надписью над ним: «Сим знаменем победиши». Константин одержал победу, прекратил преследовать христиан и сделал христианство государственной религией. С тех пор это выражение стало употребляться как утверждение уверенности в правильности избранного пути.

С. 300. *...из утренних газет матинэ...* — *Матинэ* (фр. matinée — утро, утреннее платье) — утренняя женская домашняя одежда в виде широкой и длинной блузы из легкой ткани.

С. 301. *...эта «Речь» на животе выглядит очень мило.* — «Речь» («Наш век») — газета, центральный орган партии кадетов, выходила в Петербурге (1906–1917).

Глупые и умные.

Впервые: Сатирикон, 1913. № 10.

С. 302. *Лермонтов-то... Умер 27-и лет...* — В действительности М.Ю. Лермонтов умер в возрасте 26 лет, не дожив нескольких месяцев до двадцатисемилетия.

С. 305. *...акцизное ведомство нарочно отравляет спирт...* — Акциз (фр.) вид косвенного налога на продукты массового потребления, уплачиваемый государству продавцами товаров и перекладываемый на население путем повышения цен. Акцизное ведомство в дореволюционной России следило за исправной уплатой акциза государственной казне. В современной России вновь ввели структуру, аналогичную дореволюционному акцизному ведомству.

Конец журналиста (*Сказочка*).

С. 307. *...навстречу ему Брешко-Брешковский идет.* — Николай Николаевич *Брешко-Брешковский* (1874–1943) — прозаик и журналист, до революции много публиковался в газетах и журналах, где вел отдел светской хроники; его называли классиком бульварного жанра. Автор более 40 романов (свыше тридцати из них написаны в эмиграции).

...олеография с картины Юлия Клевера... — Юлий Юльевич Клевер (1850–1924) — русский живописец-пейзажист, академик с 1878 г.; лучшие картины в Третьяковской галерее, Русском музее и др. Художник, повторяя одни и те же сцены и виды (например, «багровые закаты»), порой впадал в шаблонность.

Кремень.

Впервые: Сатирикон, 1909. № 30.

С. 308. *...сидела пожилая толстая иоаннитка...* — Иоанниты — религиозная секта, сложившаяся из последователей и почитателей Иоанна Кронштадтского (в миру Иоанн Ильич Сергиев, 1829–1908). Иоанн Кронштадтский, протоиерей, приобрел большую популярность среди простого народа России своими проповедями и благодаря слухам о происходивших по его молитвам чудесах. Он собирал огромные средства от жертвователей, употреблял их на благотворительные дела, первым в России организовал работные дома.

Случай с ревизором.

С. 315. *...выбрали Митю Глазкина-альфонса...* — Альфонсом (по имени героя драмы («Господин Альфонс» (1873) А. Дюма-сына, (1824–1895) называют мужчину, живущего на средства своей любовницы.

Хлопотливая нация.

Впервые: Сатирикон, 1910. № 18.

С. 321. *Лекцию о радии прочесть — нужно похлопотать, а на «Веселую вдову» пойти — не нужно... Почему просто «О радии» — нельзя, а «Радий в чужой постели» — можно?* — «Веселая вдова» (1905) — одна из лучших оперетт венгерского композитора Ференца Легара (1870–1948). «Радий в чужой постели» — в «Сатириконе» за 1911 г. в разделе «Волчьи ягоды» Аверченко писал: «Наша соотечественница знаменитая г-жа Кюри, открывшая радий, живет во Франции. Встретившись с семейным человеком, она полюбила его.

Этого было достаточно, чтобы галантные французы подняли бурю по поводу безнравственности происшедшего, украли из бюро г-жи Кюри интимную переписку и опубликовали ее.

Существует такой фарс — «Радий в чужой постели».

Очевидно, этот второй радий ближе французскому сердцу, чем радий, открытый г-жой Кюри.»

Подлинные слова Маркова второго — Марков 2-й Николай Евгеньевич (1866–1945), глава фракции крайне правых в III и IV Госдуме. С 1920 г. в эмиграции.

Тяжелое занятие.

С. 321. *...евреев бить можно и нужно — я удивляюсь, как этого не понимают?! (Подлинные слова, сказанные Марковым вторым с трибуны III Госдумы)* — Марков Николай Евгеньевич (1866 – после 1931) — крупный помещик, член III и IV Государственных дум, руководитель «Союза русского народа». — Сноска принадлежит самому Аверченко.

С. 322. *...«Речь» — газета такая есть.* — «Речь» — центральный орган партии кадетов, выходила в Петербурге (1906–1917).

...речь короче — в ней четыре буквы, а в разговоре девять. — Девятой буквой в конце слова разговор по старой орфографии был твердый знак.

Болезнь.

Впервые: Сатирикон, 1911. № 10. Подпись: Волк.

С. 330. *Посвящ. А.Н. Шварцу.* — Александр Николаевич Шварц (1848–1915) — министр народного просвещения в 1908–1910 гг. В 1905 г. по указанию Николая II под давлением революции был введен устав об автономии университетов. Однако со спадом революционного движения этот устав был сведен на нет, и в 1910 г. Шварц внес проект нового университетского устава, уже без всякой автономии.

«Колокол».

Впервые: Сатирикон, 1910. 346. Подпись: Фома Опискин.

Шиворот-навыворот.

Впервые: Новый Сатирикон, 1914. № 17.

Страшное издание (*Святочный рассказ*).

Впервые: Сатирикон, 1909, № 52. Подпись: Фальстаф.

С. 341. *...попался в кафе номер «Русского знамени»...* — *«Русское знамя»* (1905–1917) — черносотенная газета, орган «Союза русского народа», выходила в Петербурге.

Клевета.

С. 344. *...Еврейские публицисты из газеты «Россия»...* — *«Россия»* — газета полицейско-черносотенного направления, издавалась в Петербурге в 1905–1914 гг., с 1906 г. — официальный орган министерства внутренних дел России.

...я немецкий выходец из Курляндии... — Курляндия — до 1917 г. официальное название латвийской провинции Курземе.

Граждане.

Впервые: Сатирикон, 1909. № 44.

Страшное преступление в кабаке дяди Стамати.

Впервые: Сатирикон, 1911. № 3. Впоследствии рассказ был включен в сборник «Шалуны и ротозеи».

Изумительный случай (Из жизни художников).

Впервые: Сатирикон, 1911. № 18.

С. 357. *...они форменные двуутробки! — Двуутробки* — сумчатые крысы, семейство сумчатых млекопитающих: по внешнему виду напоминают крыс.

Гордиев узел.

Впервые: Сатирикон, 1910. № 34.

С. 360. — *Гордиев узел* — узел, которым согласно древней легенде было привязано ярмо к дышлу колесницы Гордия в храме Зевса в городе Гордиуме (Галатия). Оракул предсказал, что тот, кто распутает этот узел, будет владеть Малой Азией. Александр Македонский решил задачу просто — разрубил узел мечом.

На «Французской выставке за 100 лет».

Впервые: Сатирикон, 1912. № 8. Подпись: Фома Опискин.

В 1911–1912 гг. в России с большим успехом проходила выставка французской живописи.

С. 365. *Какая-нибудь этакая Далила или Семирамида.* — Далила — персонаж Библии, филистимлянка, возлюбленная древнееврейского богатыря Самсона, выдавшая его врагам. Миф о Самсоне и Далиле воплотился многими художниками и скульптурами прошлого.

Семирамида — царица Ассирии в конце IX в. до н.э. С ее именем связаны висячие сады в Вавилоне — одно из семи чудес света.

...выставка в стиле «О, закрой свои голубые ноги»... — Обыгрывая знаменитую строчку В. Брюсова («О, закрой свои бледные ноги»), Аверченко иронизирует по поводу современных ему направлений живописи — импрессионизма, кубизма и др. Так, некоторые художники этих направлений (Эдгар Дега «Голубые танцовщицы»; Пабло Пикассо «Акроботы», «Девочка на шаре» и другие произведения «голубого» периода) отдавали предпочтение голубой цветовой гамме.

Проект Кассо... — Лев Аристидович Кассо (1865–1914) — министр народного просвещения России с 1911 г., крайний реакционер. По его проекту предписывалось запретить преподавание ряда дисциплин, усилить внешний надзор за учащимися. В знак протеста против реакционных мероприятий Кассо из Московского университета ушло 130 преподавателей, в том числе К.А. Тимирязев, П.Н. Лебедев, Н.Д. Зелинский, В.И. Вернадский.

...творец сего увража... — Ouvrage (фр.) — произведение.

Юлия Пастрана? — Юлия Пастрана — «Бородатая женщина», ее лицо и шея были покрыты волосами; найдена якобы в горах Мексики в обезьяньем стаде. В 1850-е гг. ее показывали во многих городах Европы.

Золотые часы.

Впервые: Сатирикон, 1910. № 36.

Удивительная газета.

В фельетоне пародируется безграмотность и путаница в некоторых материалах газеты «Новое время».

С. 374. *...город Михелин глухо волнуется...* — В действительности Лео Михелин являлся крупным финским политическим деятелем.

На этой странице вообще идет сплошная каша из абсурдной путаницы названий городов, исторических лиц, географических местностей и т.д.

Так, Таммерфорс — это город в Финляндии, Пер Эвинд Свинхувуд (1861–1944) — крупный финский политический деятель, неоднократно избиравшийся председателем парламента: Брокгауз и Ефрон — название энциклопедии, Куоккала — дачная местность.

Веласкец (Веласкес) — великий испанский художник, а не гинеколог, Вильгельм Телль — герой средневековой швейцарской легенды и т.д., и т.п.

Теоретики.
Впервые: Сатирикон, 1912. № 7.

Цепи (Диалог).
Впервые: Сатирикон, 1909. № 42. Подпись: Зритель.

Стиль — человек.
С. 377. *...данные об отце покойного художника Мясоедова.* — Григорий Григорьевич Мясоедов (1834–1911) — живописец; один из создателей Товарищества передвижников; правдиво изображал крестьянскую жизнь, обращался также к историческим темам.

Ценитель искусства.
С. 378. *Говорит: Бакст.* — Лев Самойлович *Бакст* (1866–1924) — крупный художник, член художественного объединения «Мир искусства»; много работал для театров.

С. 380. *...если бы Бодаревский или Штамберг, или Богданов-Бельский были евреями...* — Из названных художников лишь Николай Петрович Богданов-Бельский (1868–1945) был живописцем мирового уровня, он учился у В.Е. Маковского, И.Е. Репина, участвовал во многих выставках. С 1921 г. он жил за границей; похоронен на православном кладбище в Берлине.



Содержание

Дешёвая юмористическая библиотека «Нового Сатирикона» (Выпуск 15) (1914)

Из «Художественно-юмористического календаря-альманаха на 1914 год»

О немцах и прочем таком
(1914)

О хороших, в сущности, людях
(1914)

Фома Опискин. Сорные травы (1914)

АРКАДИЙ АВЕРЧЕНКО
Собрание сочинений

Том 5

СОРНЫЕ ТРАВЫ

Редактор Е.Б. Егорова
Художественный редактор И.А. Шиляев
Технический редактор Т.В. Иванникова

Подписано в печать 10.10.2012.
Гарнитура «Petersburg». Формат 84×108 1/32
Печать офсетная. Усл. печ. л. 21,84.
Тираж 1000 экз. Заказ № 7617.

ООО «Издательство «Дмитрий Сечин»
Ул. Ирины Левченко, 2. Москва, 123298, а/я 33.
Тел. 8(985)995-79-70
E-mail: sechinbook@mail.ru

Отпечатано в ОАО «Первая Образцовая типография»,
филиал «Дом печати — ВЯТКА» в полном соответствии
с качеством предоставленных материалов
610033, г. Киров, ул. Московская, 122
Факс: (8332) 53-53-80, 62-10-36
http://www.gipp.kirov.ru
E-mail: order@gipp.kirov.ru

ISBN 978-5-904962-21-0

